

Олдос Хаксли

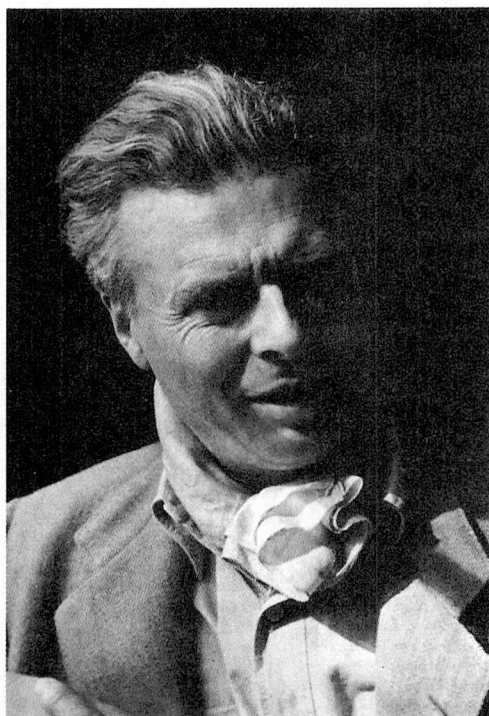
Серое
Преосвященство



КУЛЬТУРА ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИЯ



**Московская школа
политических
исследований**



Олгос Хакели

Олдос Хаксли

Серое Преосвященство

эпюг о религии и политике

Перевод с английского
В. Голышева и Г. Дашевского



Московская школа
политических исследований

Москва 2000

Культура политика философия

Серия основана в 2000 году Московской школой политических исследований и издается под общей редакцией Ю.П. Сенокосова

Издание осуществляется при поддержке ГК КАСКОЛ

Хаксли О.

X 16 Серое Преосвященство: этюд о религии и политике. (Перевод осуществлен по книге: Aldous Huxley/Grey Eminence: a study in religion and politics; Chatto & Windus, London, 1942) — М.: Московская школа политических исследований, 2000. — 320 с.

Впервые переведенная на русский язык книга замечательного английского писателя Олдоса Хаксли (1894–1963), широко известного у нас в стране своими романами («Желтый Кром», «Контрапункт», «Шутовской хоровод», «О дивный новый мир») и книгами о мистике («Вечная философия», «Врата восприятия»), соединила в себе достоинства и Хаксли-романиста и Хаксли-мыслителя. Это размышления о судьбе помощника кардинала Ришелье монаха Жозефа, который играл ключевую роль в европейской политике периода Тридцатилетней войны. Политика и мистика; личное благочестие и политическая беспощадность; возвышенные цели и жестокие средства — вот центральные темы этой книги, обращенной ко всем, кто размышляет о европейской истории, о соотношении морали и политики, о совместимости личной нравственности и государственных интересов.

ББК 84.4 Вл

© Гольшев В., перевод, 2000

© Дашевский Г., перевод, 2000

© Московская школа

политических исследований, 2000

ISBN 5-93895-004-X

Олдос Хаксли*

В середине и конце 1920-х годов средняя и старшая ступень восьмого — классического и исторического — класса в школе Сент-Пол отличались удивительной прогрессивностью. Дело было не в преподавателях — людях добропорядочных, сентиментальных, без воображения (за вычетом одного скромного, эксцентричного, преданного поклонника Литтона Стрейчи). Даже самые культурные из них рекомендовали нам Шоу, Уэллса, Честертона, Гильберта Марри, Флекера, Эдварда Томаса, Сэссуна и «Лондонский Меркурий», а мы читали Джойса, Фербэнка, Эдварда Карпентера, Уиндхэма Льюиса, «Логику» Шиллера, Хэвлока Эллиса, Элиота, «Крайтерион» и — под влиянием Артура Калдер-Маршала, чей старший брат жил тогда в Америке, — книги Г. Л. Менкена, Карла Сэндберга, Шервуда Андерсона; нас увлекали Кокто, *transition*, ранние сюрреалисты. Мы смотрели свысока на «Жизнь и литературу» — журнал, издававшийся Дэсмондом Маккарти и казавшийся нам слишком робким и банальным. В число главных раскрепостителей нашего сознания входили Д. Б. С. Холдейн, Эзра Паунд, Олдос Хаксли.

О себе я не могу сказать, что кто-то меня освободил; если молодым я был в оковах, то остаюсь в них и поныне.

* Эссе И. Берлина впервые опубликовано в кн.: «Aldous Huxley», London, 1965.

Но подобно тому, как в XVIII веке литераторы — под предводительством Вольтера, главы гильдии, — пришли на помощь множеству угнетенных; как затем помогали людям жить Байрон и Жорж Санд, Ибсен и Бодлер, Ницше, Уайльд и Жид, а может быть, даже Уэллс и Рассел, — так и моим ровесникам помогли обрести себя романисты, поэты и критики, занятые центральными проблемами эпохи. Иногда гражданское и нравственное мужество действует на современников сильнее, нежели новая эстетика или природная одаренность. Одному из моих сверстников, человеку исключительно честному, умному и совестливому, которого сковывали и угнетали неопределенность его социального положения и суровое пуританство отца, нравственную свободу принесли (как другим — Анатолю Франсу, или психоанализ, или жизнь среди арабов) книги Хаксли — прежде всего «Контрапункт» и некоторые рассказы. Темные углы осветились, запретное было высказано, интимный опыт, один намек на который возбуждал прежде у моего товарища панику и чувство острой вины, был подробно и без умолчаний описан. С этого момента началось его интеллектуальное развитие — он стал одним из самых известных и плодовитых ученых нашего времени. Однако сильнее всего моих сверстников привлекал не этот терапевтический эффект, а то, что Хаксли (наряду еще с несколькими авторами) — при всей своей пресловутой неспособности создавать характеры — играл с идеями так вольно, весело и виртуозно, что восприимчивый читатель, приученный к прозрачности Шоу и Честертона, приходил в замешательство и восторг. Основой для блистательных пассажей служили сравнительно немногочисленные и простые моральные принципы. Хоть и заслоненные блеском технического совершенства, они были прочны, понятны и, словно монотонный, настойчивый, непрерывный *бассо остинато*, неумолимо звучащий за изоцирченной интеллектуальной игрой, проникали в сознание семнадцати- и восемнадцатилетних юношей, сохранявших по большей части энтузиазм и

нравственную впечатлительность, сколь бы сложными и декадентскими они — по своей наивности — себе ни казались.

В поздних романах эта действенность, по-моему, ослабела. *Бассо остинато* — простые аккорды нравственной и духовной философии Хаксли — становился все навязчивее и разрушал бодрую, восхитительно дерзкую, «современную», неоклассическую мелодию, которая одна и придавала его романам блеск. Серьезный, благоразумный, гуманный, терпимый Хаксли сороковых и пятидесятих годов был окружен всеобщим уважением и восхищением, но преобразующей силой — действенностью — обладал другой Хаксли: ранний, «циничный», отрицающий Бога, пугавший и раздражавший родителей и учителей порочный нигилист, искренние и сладко-сентиментальные тирады которого — особенно о музыке — с восторгом проглатывали юные читатели, воображавшие при этом, что предаются одному из самых опасных и экстравагантных наслаждений иконоборческой послевоенной эпохи. Хаксли был одним из великих культурных героев нашей юности.

Перед первой встречей с ним в 1935 или 1936 году в кембриджском доме нашего общего друга — лорда Ротшильда — я ожидал, что увижу человека, привыкшего к поклонению, а может быть, и высокомерного. Но он со всеми присутствующими держался очень вежливо и очень любезно. За ужином общество — чуть ли не в каждый перерыв между блюдами — играло в интеллектуальные игры. Все наперебой блистали остроумием и эрудицией; Хаксли явно нравилась эта гимнастика ума, но он играл без задора, доброжелательно, спокойно. Когда с играми наконец было покончено, он заговорил — по-прежнему монотонно и тихо — о людях и идеях: казалось, он смотрел на них отрешенно, как на какие-то диковины, странные — но не страннее многого другого в нашем мире, который он считал чем-то вроде кунсткамеры или энциклопедии. Он говорил спокойно, с располагающей искренностью, очень просто. В его словах не было слышно

ни злости, ни умышленной иронии — лишь самая мягкая и добрая насмешка самого невинного рода. Ему нравилось рассказывать о пророках и мистагогах — и даже таким персонажам, как граф Кайзерлинг, Успенский и Гурджиев, которых он не очень жаловал, воздавалось должное и более чем должное; даже о Мидлтоне Мерри говорилось милосерднее и серьезнее, чем в «Контрапункте». Говорил Хаксли очень хорошо; ему были необходимы внимание и тишина, но он не упивался собой, не царил — и очень скоро все присутствующие покорились его мягкому гипнотизму; из атмосферы ушла лихорадочная страсть поражать и блистать, всеми овладели спокойствие, серьезность, заинтересованность, умиротворенность. Боюсь, что нарисованная мной картина может внушить мысль, будто Хаксли, при всех своих достоинствах, был (подобно некоторым очень хорошим людям и талантливым писателям) то ли педантом, то ли проповедником. Но этого о нем никак нельзя сказать — по крайней мере, по моим с ним встречам. Он обладал огромным нравственным обаянием и цельностью — именно эти редкие качества (как и у Дж.Э.Мура, в остальном на него не похожего), а не блеск или оригинальность в полной мере искупали бесцветность и известную водянистость равномерно лившихся слов, которые все мы слушали охотно и почтительно.

Вторая мировая война практически уничтожила общество, о котором писал Хаксли, и центр его интересов сместился от внешней жизни к внутреннему миру человека. К своему новому предмету он подходил строго эмпирически — с неизменной опорой на опыт конкретных людей, о котором сохранились устные или письменные свидетельства. Метод его был спекулятивным и творческим лишь постольку, поскольку Хаксли полагал, что человеческий опыт часто загоняли в слишком тесные рамки; что отвергнутые современностью гипотезы и идеи об отношениях человека к человеку и к природе объясняли так называемые пара- или сверхнормальные феномены лучше,

нежели традиционная физиология и психология, основанные, как ему казалось, на неадекватных моделях. У него было дело, которому он служил. Этим делом было открыть глаза читателям — как специалистам, так и профанам — на до сих пор как следует не изученные и не описанные связи между искусственно разделенными сферами: между телесным и психическим, между чувственным и духовным, между внутренним и внешним. Он был гуманистом в самом буквальном и достойном смысле этого страшно затасканного слова; предметом его интереса и заботы был человек как природный объект — в том же смысле, что и для *philosophes** XVIII века. Свои надежды он возлагал на прогресс самопознания. Он боялся, что человечество погибнет от перенаселения или насилия; спасти людей от гибели, по его мнению, могло только самопознание — то есть познание тесной взаимосвязи психических и физических сил, познание места и роли человека в природе. Пониманию этих наиважнейших проблем, он считал, много как пользы, так и вреда принесли и наука и религия.

Он скептически относился к тем, кто пытался свести в единую систему проблемки истины, дарованные мистикам и визионерам, в которых он видел необычно восприимчивых, или талантливых, или удачливых людей, взрастивших и расширивших свою восприимчивость с помощью усердной и самоотверженной практики. Он не верил в сверхъестественную благодать. Он не был теистом, тем более — ортодоксальным христианином. Во всех своих сочинениях — вдохновляли ли их мальгузианские кошмары, или ненависть к насилию и жестокости, или вражда к тому, что он называл идолопоклонством, — то есть к слепому преклонению перед единственной ценностью или организацией, не подлежащими рациональной критике и обсуждению, — или классики индуизма и буддизма, или западные мистики и наделенные психологическим и духовным ясновидением писатели: Мэн де Биран, Кафка, Брех (у

* *Философов (франц.)*. — Здесь и далее примечания переводчиков.

Хаксли было превосходное чутье на оригинальные таланты), — или композиторы, скульпторы, художники, или поэты, писавшие на всех тех языках, на которых он читал, — какими бы ни были его непосредственная задача и настроение, он всегда возвращался к той единственной теме, которая оставалась для него центральной в поздние годы жизни: к участи человека в XX веке. Раз за разом он противопоставлял, с одной стороны, беспрецедентный в истории человечества прогресс: технические изобретения поразительной силы и красоты, высокий уровень жизни, невиданно широкие и блестящие перспективы — и, с другой стороны, угрозу взаимного уничтожения и всеобщей гибели, обусловленную невежеством и рабством у иррациональных идолов и разрушительных страстей — то есть у тех сил, которые каждый человек в принципе способен контролировать, как это уже удалось отдельным людям в прошлом. Наверно, после Спинозы никто с такой страстью, последовательностью, полнотой не верил в тот принцип, что освобождает лишь знание — не просто знание физики или истории, физиологии или психологии, но намного более широкая панорама потенциального знания о тех явных и тайных силах, сведения о которых Хаксли, бесконечно памятный и всеядный читатель, находил повсюду, исполняясь то страха, то надежды. Его поздние произведения — и романы, и трактаты (четкую границу между ними можно провести не всегда) — вызывали всеобщее уважение. Уважение — но не энтузиазм. Те, кто считал его современным Лукианом или Пикоком, сетовали на то, что куда-то делись остроумие, виртуозность, жонглирование фактами и идеями, сатирический взгляд; на то, что живущий в Калифорнии печальный, мудрый, добрый человек — всего лишь благородная тень того писателя, который обеспечил себе прочное место в истории английской словесности. Одним словом, считалось, что он сделался очередным проповедником без рьясы, которого (как и многих других поэтов и пророков) покинул дух и у которого (как у Ньютона и Роберта Оуэна,

Вордсворта и Суинберна) в результате немного осталось за душой, но который серьезно, достойно, утомительно твердит это немногое тающей на глазах аудитории. Подобные критики ошибались по крайней мере в одном принципиальном отношении: если он и был пророком, то не метафорически, а буквально. Подобно тому, как Дидро в «Le Rêve de d'Alembert»* и в «Supplément au Voyage de Bougainville»** (особенно в первой книге) предвосхитил биологические и физиологические открытия XIX и XX века и в виде смелых догадок сформулировал некоторые из основных естественнонаучных достижений современности, так и Олдос Хаксли, с той особой чуткостью к очертаниям будущего, которой иногда обладают объективные художники, вышел на передний край человеческого самопознания и сумел заглянуть в будущее. Он был провозвестником того, что безусловно станет одним из главных достижений текущего и следующего столетия, — провозвестником новой психологии, открытий в той сфере, которую сейчас за неимением лучшего термина мы называем психофизической проблемой; в той области, где современные работы о мифе и ритуале, о психологических корнях социального и индивидуального поведения, о соотношении физиологических и логических оснований языка, равно как и о паранормальных психических феноменах, психотерапия и т.п. — лишь самые первые, пробные шаги.

Хаксли все это прекрасно понимал. Он знал, что стоит на грани между закатом астрологии и рассветом астрономии в науках о человеке; и поэтому, когда его упрекали за измену первоначальному рационализму ради туманного мистицизма, за прискорбное обращение к иррационализму как к прибежищу от личных несчастий и тяжелых житейских обстоятельств, за малодушный отказ от прежней веры в ясное, точное, осязаемое и переход к уютной невразумительности расплывчатых, поверхност-

* «Сне Даламбера» (франц.)

** «Дополнению к Путешествию в Бугенвиль» (франц.)

ных, псевдорелигиозных спекуляций — он сносил эти упреки с бесконечной кротостью и терпением. Он прекрасно понимал смысл этих упреков: он сам, если бы захотел, лучше всякого другого сочинил бы шарж на ту самую позицию, за которую его упрекали. Он упорствовал не потому, что размягчился его некогда алмазный ум, а потому, что верил: именно в избранной им области человечеству предстоят самые грандиозные и эпохальные открытия.

При последней нашей встрече он говорил — по крайней мере, на публике — исключительно о воссоединении того, что слишком жестко разделено как в науке, так и в жизни: о восстановлении контакта между личностью и безличной природой, об исправлении перекосов в эволюции человека, которая пошла в сторону наблюдения, критики, теории, отказавшись от гармоничного развития всех чувств, «вегетативной души», всего того, что объединяет человека с животными и растениями. Говорил об этом не только он. Широкий современный протест против отчуждения вызван не только отсутствием социальной гармонии и общих целей, но и чувством оторванности от природных процессов. Но Хаксли, очевидно, не верил, что дело можно поправить изменениями в социальной структуре — неважно, реформистскими или революционными; и даже одной лишь психотерапией, хотя он и придавал ей большое значение. Он верил, что в мире есть уголки — среди первобытных народов и в неевропейских культурах, — где сохранились или хотя бы не до конца исчезли те формы жизни, возврат к которым открыл бы людям более короткий и надежный — поскольку указанный опытом и традицией — путь, нежели парламентские акты, или социальные революции, или технические изобретения, или даже педагогическая реформа, которую он считал необходимой. Многие из того, что он говорил, когда-нибудь, наверное, в свете новых знаний покажется неточным или нереалистичным. Многие, наверное, окажется иллюзией или фантазией — это частый удел первопроходцев и тех, кто

интуитивно предчувствует грядущее. Но должен сказать: по-моему, он был абсолютно прав, обратив свой превосходный интеллект к проблемам психофизических отношений и к управлению психическими — или, как он бы сказал, духовными — факторами, в чем, по его мнению, индусы — и древние, и современные — далеко опередили Запад.

Его предостережения — будь то в «Дивном новом мире» (безусловно, самом известном современном свидетельстве разочарования в техническом прогрессе) или в других романах и статьях — и его предупреждения (даже самые банальные и нехудожественные) оказались достаточно талантливы, чтобы создать новый жанр — пессимистическую, страшную утопию, картину непредвиденных последствий той (если использовать благодушную фразу Э.Х.Карра) «старомодной веры в прогресс», которую до сих пор питают многие бездумные либералы и марксисты. Эти романы пробуждали неподдельную тревогу, так как затрагивали самый нерв (больной нерв, сказал бы Хаксли) современной западной жизни. Он говорил о серьезном и всеобщем недуге, против которого — как он справедливо полагал — слишком многие современные противоядия были и остаются бессильны, поскольку они слишком практичны и потому слишком близоруки — или поскольку они опираются на те представления, которые слишком поверхностны, слишком грубы и эфемерны, слишком вульгарны и оскорбительны для человеческой природы, особенно для тех — пока что скрытых и незамечаемых, а для самого Хаксли первостепенных — ее сил, о которых он писал. Он видел эту роковую неадекватность повсюду — в современной политике, социологии, этике. В его произведениях нет целостной доктрины, нет систематического изложения взглядов. Но, по моему убеждению, у него было ясное представление о том, в чем люди нуждались и нуждаются, и предощущение того пути, по которому пойдет человечество, если вообще уцелеет. Если я прав, то когда-нибудь будет воздано должное тем самым его страницам, над ко-

торыми сейчас даже его поклонники качают головами — иные с сожалением, иные покровительственно.

Я был очень рад встретить его в Индии в 1961 г., когда мы оба оказались делегатами одного и того же конгресса в Нью-Дели. Он говорил на свою обычную тему: поэт как *vates**, как человек, видящий то, чего не видят другие, как пророк в буквальном смысле слова. В этой стране, с которой он так сблизился благодаря своим интересам и убеждениям, его, разумеется, принимали с огромным почтением. Мы — Хаксли, американский делегат Луис Унтермейер и я — участвовали во встрече с шестью- или семьюстами студентов, которые собрались в знак уважения к Хаксли и ради его автографа. Серьезный и смущенный, он стоял, глядя поверх голов. Наступила мертвая тишина. Ее нарушил какой-то иронически настроенный юноша, сказавший примерно следующее: «После покойного господина Ганди Тадж-Махал — безусловно, самое драгоценное достояние индийского народа. Почему же вы, господин Хаксли, в вашей книге "Насмешливый Пилат" отзываетесь о нем так пренебрежительно? Могу ли я узнать, сэр, остаетесь ли вы при вашем неблагоприятном мнении?» Хаксли вопрос позабавил и слегка выбил из колеи. Он сказал, что, наверное, отозвался о Тадж-Махале с излишней резкостью, что не хотел задеть ничьи чувства, что эстетика — область зыбкая, что вкусы несравнимы, и затем от этой опасной темы постепенно перешел к своей центральной толстовской идее — неестественной жизни современного человека. Но после встречи со студентами он все же решил выяснить, не был ли он действительно несправедлив, и мы решили съездить в Агру.

Мы поехали раздельно: он и его жена — с известным индийским романистом Малком Раджанандом; я с женой — в другой машине. В Агре мы встретились и пошли к Фатепур-Сикри, мертвому городу Акбара. Хаксли его обожал.

* Пророк (*лат.*)

Он шел неторопливой, уверенной, слегка шаркающей походкой сомнамбулы: его серьезность и сосредоточенность производили трогательное и очень приятное впечатление.

По дороге в Фатепур-Сикри он описывал свой приезд в Индию в двадцатые годы, когда он останавливался, как и в этот раз, у своего оксфордского однокашника, ныне индийского сенатора. Он описывал отца Джавахарлала Неру, Мотилала, который, по словам Хаксли, имел изысканную внешность и манеры, а стирать свои сорочки посылал в Париж; он принадлежал к той богатой и властолюбивой аристократии, которая пыталась использовать Ганди в своих целях; но Ганди их перехитрил, попытки обуздать ту колоссальную силу — или по крайней мере ту лавину народных эмоций, — которую Ганди вызвал к жизни, провалились, и в итоге, вопреки своим ожиданиям, сами аристократы оказались орудием в руках Ганди. Хаксли описывал отношения между Ганди и этими утонченными и властными браминами с благожелательной иронией — невозмутимой, несуетливой, чрезвычайно забавной. Потом он стал подробно перечислять все уловки и хитрости, к которым прибегал — и в Калифорнии, и в Индии, — спасаясь от досаждавших ему зануд. Он говорил очень просто, очень спокойно, с ним было очень легко. То обстоятельство, что за несколько недель до конгресса в пожаре погиб его дом вместе со всей библиотекой, нисколько, казалось, его не огорчало; и ни единым намеком он не показал, что знает о своей смертельной болезни: он жаловался на глаза, на свой старый, привычный недуг, — но ни словом не обмолвился о раке, который потом свел его в могилу.

Увидев наконец Тадж-Махал, Хаксли смягчился и решил, что это не уродливое, как он думал раньше, а, напротив — если отвлечься от похожих на дымоходы минаретов, которые он по-прежнему считал ошибкой, — вполне приличное сооружение. Вечер мы провели вместе; насколько помню, какое-то время с нами был и Геенно, французский писатель. Геенно, личность меланхолическая, ин-

тересная, возвышенная, был не тем человеком, который мог — или хотел — кому-нибудь поднять настроение; свет в гостинице горел очень тускло из-за хронических неполадок на электростанции. Можно было ожидать, что вечер пройдет в крайнем — пусть и благопристойном — унынии. Вышло иначе. Хаксли держался просто, естественно, непринужденно; всё, что он говорил, было необычно и абсолютно подлинно. В нем всё было так искренне и интересно, что вечер оказался сплошным удовольствием и внушил — по крайней мере мне — прочную привязанность и граничащее с преклонением уважение к Хаксли.

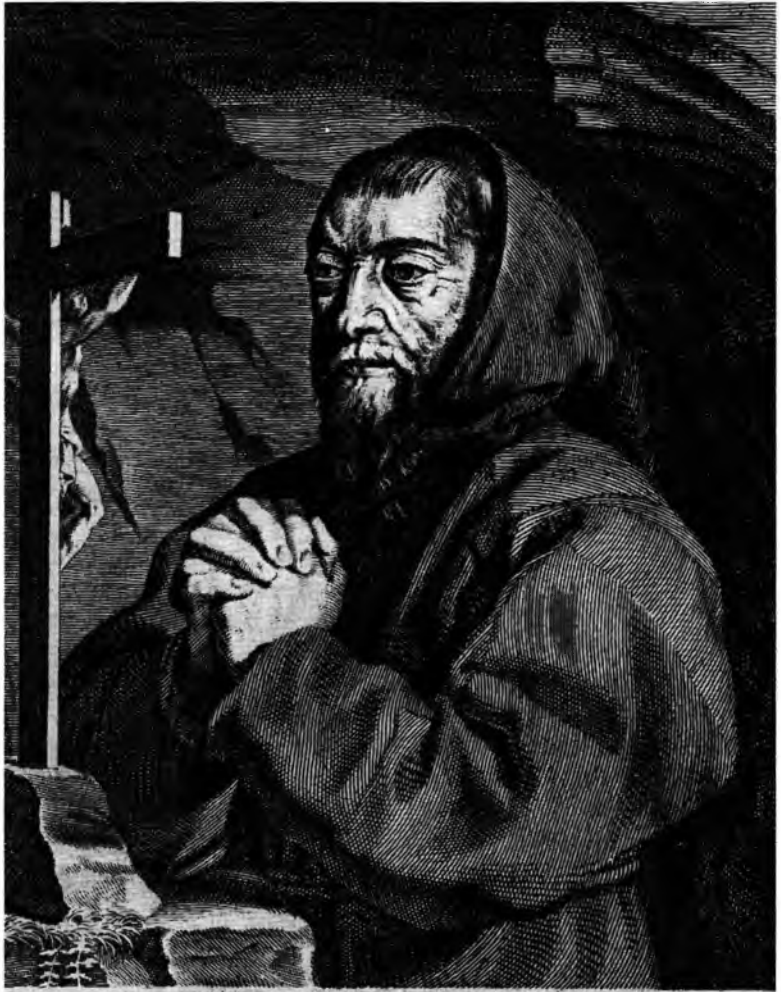
Большую часть времени Хаксли проводил за собиранием фактов; он намного больше любил узнавать факты, чем мнения — мнения он мог составить и сам. Но несмотря на это, он — вопреки расхожим представлениям о нем — не был похож на говорящую энциклопедию. Точно так же в его разговоре никогда не проявлялась та ненависть к плоти, та пуританская складка, та аскетическая одержимость скатологическими деталями, которые иногда заметны в его книгах; он не щеголял разнородными обрывками абстрактных теорий; никогда не держал себя как писатель, сознающий свое величие. Он был вежлив, серьезен, любезен, его жесты и слова отличались сдержанным достоинством и гуманностью, которые совершенно не вязались с его репутацией в двадцатые годы. Он казался более интересным, а его мысль — несмотря на обстоятельность — более прямой, живой и гибкой, более личной и подлинной, чем его произведения, в которых — даже в самые удачные моменты — всегда было что-то механическое и вторичное. Но у меня в памяти до конца дней сохранится образ идеально воспитанного, доброго и совестливого человека, человека самой высокой пробы.

Исайя Берлин



Vraie effigie du R.P. Joseph de Paris predicateur Capucin, Provincial de Touraine superieur des missions estrangeres et de Poitou fondateur des Religieuses de Calvaire A rendu lespit entre les mains de ses superieurs le 18 decembre 1638.

Отец Жозеф
Гравюра Мишеля Лана



Vraie effigie du R. P. Joseph de Paris predicateur Capucin, Provincial de Touraine superieur des missions estrangeres et de Poitou fondateur des Religieuses de Caluaire A rendu lespnit entre les mains de ses superieurs le 18 decembre 1658.

Отец Жозеф
Гравюра Мишеля Лана

Олдос Хаксли

**СЕРОЕ
ПРЕОСВЯЩЕНСТВО
этюд о религии и политике**

Глава 1

По дороге в Рим

Монах шел, подвязав рясу, и голые ноги его были заляпаны грязью до колен. Весенние дожди превратили дорогу в болото. Он вспомнил, что в прошлый раз здесь было, как в печи для обжига извести. Вспомнил стихотворение, написанное им в одном из путешествий.

Quand a plus chaud du jour l'ardente canicule
Fait de l'air un fourneau,
Des climats basanés mon pied franc ne recule,
Quoy que je coule en eau.*

В то лето 1618-го года они втроем шли в Испанию. Бедный брат Зенон из Генгана умер от солнечного удара в Тулузе. А неделей позже под Бургосом отца Романуса свалила дизентерия, и через три дня его не стало. Он приковывался в Мадрид один. И теперь один должен был идти в Рим. Отца Ангелуса так замучила лихорадка, что он не мог сделать ни шагу. Да вернет ему Бог поскорей здоровье!

Ni des Alpes neigeux, ni des hauts Pirenées
Le front audacieux

* Когда в самый знойный час палящая звезда
Превращает воздух в толку,
Ноги мои не страшатся загорелой земли,
Хотя я обливаюсь потом (франц.)

N'a pu borner le cours de mes grandes journées
Qui tendent jusqu'aux cieux.

Cher Seigneur, si ta main m'enfonca la blessure
De ce perçant dessein,
J'ay droit de te montrer ma tendre meurtrissure
Et descouvrir mon sein.*

«La blessure de ce perçant dessein»,** — повторил он про себя. Особенно удачная фраза. Почти латинская по своей нагруженности — похожа на фразу из Пруденция.

Капуцин глубоко вздохнул. Рана эта все еще открыта, и, подгоняемый пронзительным замыслом, он все еще шагает со скоростью пятнадцать лье*** в день по земле Европы. Когда будет исполнен этот замысел? Когда новому Готфриду Бульонскому дано будет взять приступом Иерусалим? Не сейчас еще, по-видимому, — не раньше, чем закончится война, не раньше, чем усмирена будет Австрийская династия и Франция усилится настолько, чтобы повести народы в новый Крестовый поход. Когда же, Господи, когда?

Он опять вздохнул, и грустные мысли омрачили его лицо. Это было лицо человека средних лет, обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого умного лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, даже пристально. Орлиный нос мощно выдавался вперед. Длинная, неухоженная рыжеватая борода, уже с проседью, скрывала щеки и подбородок, но по полным, ре-

* Ни заснеженных Альп, ни высоких Пиренеев

Гордое чело

Не прервало моих долгих странствий,

Устремленных к небу.

Господи, если Твоя рука уязвила меня

Сим пронзительным замыслом,

Я имею право показать Тебе мою болезненную рану

И обнажить мою грудь (франц.)

** Сим пронзительным замыслом (франц.)

*** Лье — 4,83 км

шительной складки губам можно было догадаться, что под нею — такая же твердая, основательная челюсть. Это было лицо сильного человека, человека могучего ума и крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.

Босой — сандалии он снял и нес в руке — монах шел по грязи, погрузившись в меланхолические раздумья. И вдруг, опомнившись, сообразил, что он делает. Кто он такой, чтобы обсуждать пути Господни? Печаль его — укор Провидению, вызов воле Божией, быть послушным которой — единственная цель его жизни. И послушание это должно быть охотным, чистосердечным, радостным. Печаль — грех, а значит — препятствие между его душой и Богом. Он остановился и больше минуты стоял посреди дороги, закрыв лицо руками. Губы его шевелились, он молился о прощении.

Он зашагал дальше в покаянном настроении. Природный человек, ветхий Адам, — какую неусыпную враждебность к Богу несет в себе ум человеческий и тело! Какую постоянную склонность к греху! И какую изобретательность в искусстве грешить, какую сноровку — одолев одно искушение, найти другое, предаться еще более утонченному злу. Нет средства от этого, кроме постоянной бдительности. Всегда выставлять караул, оберегаясь от козней врага. *Timeo Danaos et dona ferentes.** Но есть и великий союзник — божественный друг, без чьей помощи гарнизон неизбежно погибнет. О, призови его! Открой ему ворота! Подмети улицы и укрась город цветами!

Из-за облаков вышло солнце. Капуцин посмотрел вверх и по его положению в небе определил, что сейчас начало третьего. Рим был еще в трех лье. Остановливаясь некогда. Уничтожением своего «я» в сущностной воле он займется на ходу. Но это ему не впервой.

Он прочел молитву Господню медленно и вслух, затем приступил к начальной стадии упражнения — акту

* Боюсь данайцев, даже дары приносящих (*лат.*)

чистого намерения. Исполнить волю Божью, внешнюю волю, внутреннюю волю, сущностную волю. Сделать это ради одного Бога, невзирая на то, чего желает он сам, на что надеется, что может обрести в этом мире или в ином... Уничтожить себя во всем, что он думает, чувствует или делает, так чтобы не осталось ничего кроме орудия Божьей воли и души, соединенной Божьей милостью с этой божественной субстанцией, которая тождественна божественной сущностной воле. В полной сосредоточенности он прошел шагов двести или больше. Потом слова вернулись. Открыть себя Богу, приготовить душу к Его пришествию, внимательно и с благоговением. Обратиться — отринув все планы, все чувства, мысли, воспоминания — к такому сиянию божественной любви и знания, какие Бог соблаговолит дать. И если даже Он соблаговолит не дать мне ничего, если будет Его воля оставить меня без света и утешения, все равно обратиться к Нему благодарно и с полной верой. *Qui adhaeret Deo, unus spiritus est.**

Прилепиться, — повторял он, — прилепиться.

От акта чистого намерения он перешел к акту поклонения и смирения. «Бог ради Него Самого, без всякой мысли о себе.» Ибо что такое он сам? Ничто — но деятельное ничто, способное грешить и потому способное отрезать себя от Всего. Деятельное ничто, которое надо уничтожить в пассивном ничто, если должна исполниться воля Божья.

Он усердно трудился, чтобы уничтожить это деятельное ничто, и Бог не обошел его своими милостями: дал ему силу справляться хотя бы с низменнейшими проявлениями природы, дал разумные утешения, видения и откровения и временами позволял подойти к окраинам божественного присутствия. Но при всем этом его деятельное ничто еще не сдалось; он еще не избавился от нерадивости и несовершенства, и от подлинного греха — са-

* Кто прилепился к Богу, един с Ним духом (*лат.*)

модовольства при воспоминании о своих трудах и о благодеяниях, оказанных ему Богом. Ветхий человек в нем умел воспользоваться даже его стараниями истребить в себе ветхого человека и, гордясь этими стараниями, способен был загубить их результаты и усилить свое сопротивление Богу. Нет, если душа не настороже все время, даже милость Божью можно превратить в камень преткновения, источник тяжких грехов и несовершенств. Сын Божий, воплощенный источник благодати — как Он объявил о своей божественности? Смирением, благоговением, любовью к Богу.

«Любовь, любовь, любовь, — повторял капуцин, — смирение и любовь, да смирится ничто перед Всем, да исполнится ничто любовью ко Всему и благоговением».

Босые ноги монаха, закрученные, как у дикаря, от хождения по земле Европы, шлепали по лужам, бестрепетно наступали на камни в такт повторяемым словам.

«Любовь, любовь Христова...» Говорили, что кардинал-племянник был оскорблен поведением посла Его Католического Величества. «Любовь Христова, любовь Христова...» Эти испанцы вечно сами себя губят своим глупым высокомерием. «Любовь, любовь, любовь...» Что ж, тем лучше для Франции. Вдруг он осознал, что слова, которые он все еще повторяет про себя, отделены от его мыслей, что пламя, которое он пестовал в себе, погасло.

«Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно».

Он отогнал кардинала-племянника и испанского посла и восстановил связь между своими мыслями и словами. «Любовь, любовь, любовь Христова...» Огонек вновь разгорелся, и он усердно поддерживал его на протяжении четверти мили. Затем наступило время действия — отказа от отвлекающих мыслей и решительного изгнания их из ума.

Кардинал-племянник и испанский посол... Больше четверти века прошло с тех пор, как отец Бенет из Кан-

филда научил его молиться. Больше четверти века, а сознанием своим он до сих пор не овладел окончательно, отвлекающие бесы по-прежнему сильны и порой вторгаются даже в святилище молитвы. Ничто не исцелит от этого, кроме милости Божьей. А пока что можно только изгнать отвлекающие мысли каждый раз, когда они прорвутся сквозь оборону. Если быть упорным в такой борьбе, если трудиться усердно и терпеливо, это, без сомнения, зачтется ему как заслуга. Богу ведомы твои слабости и твои старания их преодолеть.

Навстречу ему из города, звякая бубенчиками, медленно двигалась вереница вьючных животных. Погонщики мулов прервали разговор и почтительно сняли шапки. Полуслепой от долгих бдений над книгами и документами монах воспринял это как смутное движение на фоне неба. Догадавшись о его значении, он поднял руку, благословляя погонщиков, и вернулся к молитве.

В той форме молитвы, к которой он привык, словесной медитации предшествовали подготовительные упражнения. Сегодня совершенством, которое он выбрал в качестве темы, была любовь. Следуя установившемуся порядку, он прежде всего обратился к Богу как к источнику любви. *Pater noster, qui es in coelo. Qui es in coelo.** Бог, Вечное и Бесконечное Существо. Но когда конечное существо отдается Бесконечному Существо, Бесконечное постигается как Любовь. Таким образом, Бесконечное Существо — в то же время Отец любящий — но детей, настолько непокорных и неблагодарных, что они всегда и всеми силами стараются оградиться от Его любви. Ограждают себя от Его любви и этим отрезают себя от счастья и спасения.

«Никакая праведность и добродетель, — шепотом повторял капуцин, — и даже вечное благо, которое есть Бог, не сделают человека добродетельным, праведным или счастливым, покуда они вне его души».

* Отче наш, Сущий на небесах! Сущий на небесах (*лат.*)

Он на миг поднял голову. В голубом разрыве неба, омытого дождем, сияло солнце. Но если опустишь веки на свету, тогда ты слеп, идешь во тьме. Бог есть любовь, но понять это вполне может лишь тот, кто сам любит Бога.

Эта мысль служила мостом между первой стадией медитации и второй, между Богом как источником любви и изъянами его собственной любви к Богу.

Он любит Бога недостаточно, потому что недостаточно отрешен от мира тварей, где должен совершать свой труд. *Factus est in pace locus ejus.** Вполне любить Бога может только сердце, освященное божественным присутствием, а Бог присутствует только в том сердце, где царит мир. Он же, монах, не допущен из-за беспокойства, даже когда беспокоится о трудах Божьих. Божий труд должен быть исполнен; но если он исполнен не в покое полной отрешенности, он заберет душу от Господа. К этой полной отрешенности монах был ближе всего в те дни, когда был занят проповедью и духовным наставлением. Но теперь Бог призвал его для более трудной работы в мире больших событий, и достигнуть отрешенности становилось все труднее. Пребывать в сущностной воле Божьей, ведя переговоры с герцогом Лермским, например, или принцем Конде, весьма затруднительно. Однако переговоры эти необходимы; это его долг, их требует внешняя воля Божья. От этих дел уклоняться нельзя. И если душевный мир покидает его, когда он ими занят, — то лишь по причине его слабости и несовершенства. Высшая степень молитвы — активное уничтожение своего «я» и всех тварей в сущностной воле Божьей — ему все еще недоступна. И нет другого средства от этого, кроме милости Божьей, нет другого способа сподобиться ее иначе как постоянной молитвой, постоянным смирением, постоянной любовью. Только так войдет в него Царство Божие, исполнится Божья воля.

* И было в мире место его (*лат.*)

Пора было переходить к третьей фазе медитации — размышлению о деяниях Спасителя и Его страстях в связи с Божьей любовью. *Fiat voluntas tua.** Когда-нибудь в мировой истории воля Божья сбудется, полностью и окончательно; ибо Бога любил и поклонялся Ему Тот, кто, будучи сам божественным, способен был на преданность, соизмеримую с ее предметом.

Перед монахом возник образ Голгофы — образ, преследующий его с тех пор, как маленьким ребенком он услышал о том, что сделали злые люди с Иисусом. Картина, стоявшая перед его мысленным взором, была реальнее и ярче того, что он действительно видел на дороге под ногами. «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Жалость, любовь, обожание наполнили все его существо, словно физическое тепло, которое в то же время было болью. Сознательным усилием он изменил направление мыслей. Еще не настало время для этого акта любви и воли. Он должен еще обдумать в словах, для чего так страдал Спаситель. Он подумал о грехах мира и своих в том числе, о том, как он помогал тесать крест и ковать гвозди, плести бич и терновый венец, точить копье и рыть могилу. И все же, несмотря на это, Спаситель любит его и, любя, страдал, страдал, страдал. Страдал, чтобы оплачен был адамов грех. Страдал, чтобы на Его примере дети Адама научились побеждать зло в себе. «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Любящий прощен; прощенный сам способен прощать; прощая, он может открыть душу Богу; открыв душу Богу, он может любить еще сильнее; и так душа может подняться чуть выше по восходящей спирали, которая ведет к полному соединению. *Ama, et fac quod vis.***

«Да будет любовь», — повторял он, переводя молитву из медитации в Любовь, преобразуя акт рассуждающе-

* Да будет воля Твоя (*лат.*)

** Люби [Бога], и делай, что хочешь (*лат.*)

го разума в акт любящей, самоотверженной воли. «Да будет любовь». И свою безлюбовь, злобнодеятельное ничто, которое было им, он принес в жертву все소жжения, дабы поглотил его огонь Божьей любви.

Лишиться жизни, чтобы спасти ее. Умереть, дабы жизнь могла быть сокрыта со Христом в Боге. Умереть, умереть, умереть. Умереть на кресте смирения, умереть в непрерывном и добровольном отказе от себя, в пассивном и активном уничтожении своего «я».

Умереть, умереть, умереть, умереть... В акте искреннего раскаяния он попросил прощения у Бога за то, что еще остается собой, Жозефом Парижским, еще не вполне орудием Божьей воли, которое, даже действуя, должно пребывать в покое и оставаться отрешенным в суматохе мирских дел.

Умереть, помоги мне умереть, помоги мне любить, так чтобы можно было помочь мне умереть. Он возложил безлюбовь на внутренний алтарь и молился, чтобы ее сожгло, чтобы из пепла ее заново родилась любовь.

Его нагнал рысью молодой всадник с ярким плюмажем, в седле, украшенном серебром, с двумя кобурами, из которых торчали резные рукояти прекрасных пистолетов. Всадник перестал насвистывать и приветливо поздоровался. Монах не ответил, даже не поднял склоненной головы.

«Он что, глухой?» — крикнул всадник, поровнявшись с капуцином. И только теперь разглядел лицо под серым капюшоном. Эти опущенные веки, губы, беззвучно и едва заметно произносящие молитву, сосредоточенное спокойствие лица смутили молодого человека и заставили умолкнуть. Он пробормотал извинения, приподнял шляпу, словно перед придорожной святыней, и перекрестился; затем пришпорил лошадь и ускакал, предоставив монаху без помех завершить акт самоотречения.

Как осмотрительно должна быть принесена эта жертва! Мягко, легко, без надсады! Бывали случаи, когда Царство Небесное брали приступом. Но это не тот случай.

Насильственное уничтожение своего «я» не достигнет цели, ибо такое насилие — принадлежность всего лишь человеческой воли, и прибегать к нему — значит укреплять свою волю в противовес Божьей. В акте самоотрицания человек должен действовать без усилий; вернее, должен быть пассивен, должен позволить, чтобы на него действовала воля божественная.

В вопросе о Валтеллине, конечно, Его Святейшество имеет больше оснований опасаться сближения Испании с Австрией, нежели сердиться на французов, вытеснивших папский гарнизон. Кардинал-племянник, вероятно, будет...

Монах снова почувствовал, что мысли о Божьих трудах затмевающим облаком встали между ним и Богом. Одолев первое побуждение страстно укорить себя — что только усугубило бы это затмение, он плавно сменил фокус внутреннего зрения, глядя мимо кардинала-племянника, мимо Валтеллине, Испании, Франции — в сторону чистой воли Божьей, которая над ними, за ними и в них. Облако отплыло; свет снова стал доступен. Терпеливо, мягко он открывал себя очищающему и преобразующему сиянию.

Шло время, и наконец настал момент, когда ему показалось, что он готов перейти к следующей стадии созерцания. Зеркало его души очистилось, пыль и туманы, обычно повисавшие между зеркалом и тем, что оно должно было отражать, улеглись и растаяли. Если теперь он обратит свою душу к Христу, божественная форма отразится ясно и без кощунственных искажений; образ распятого Спасителя будет в нем, отпечатается на его воле, его сердце, его разуме — божественный образец для подражания, дух, воодушевляющий и наполняющий жизнь.

Он цепко держал возлюбленный образ за полуопущенными веками; на этот раз он позволил себе счастье обожания, острое до боли — это безграничное блаженство и муку сострадания, от которого он должен был отвернуться на более раннем, словесном этапе упражнения.

Страдания, страдания... Глаза его наполнились слезами. Страдания Сына Божьего, самого Бога, воплотившегося в человеке. Страдания, которые претерпел любящий Спаситель всех грешников, в том числе — и его, самого беспросветного грешника. *Recede a me, quia homo peccator sum.** Однако Спаситель пришел и обнял этого прокаженного, и встал на колени перед ним, и омыл ему ноги. *Tu mihi lavas pedes?**** Эти ноги, что ходили во зле, покрытые грязью греха и невежества? Да, и не только омывает ему ноги, но ради грешника позволил, чтобы Его схватили, судили, насмехались над Ним, били Его кнутом и распяли. В сердце своем он вернулся к Голгофе, к мучениям, к мучениям его Бога. И уничтожение «я», к которому он стремился, как будто совершилось в восторге преданности и сострадания, любви и боли. Он растворился в блаженном соучастии и в страданиях воплощенного Бога — воплощенного, а значит, в то же время чистого, сущностного Божества, из которого произошел Богочеловек. Это тело на кресте было невидимое, ставшее видимым. Голгофу омывал, озарял нетварный свет, единосущный с ней. Распятый Христос, поглощенный его источником и основой, исчез в свете, и не осталось ничего, кроме сияющего восторга любви и страдания. Потом, словно сгустившись, свет снова принял форму распятого Христа, и новое преобразование снова приняло в себя Голгофу и славу, осиявшую ее.

Продолжая шагать, тело монаха отмеряло босыми ногами метры и минуты, часы и мили. Душа его достигла окраин вечности и в экстазе обожания и муки созерцала тайну воплощения.

Закричал осел; всадники, сопровождавшие карету, затрубили в рога, кто-то крикнул, и послышался женский смех.

* Выйди от меня, потому что я человек грешный (*лат.*)

** Тебе ли умывать мои ноги? (*лат.*)

Под капюшон монаха все это проникало смутно. Вечность отступила. Время и «я» незаметно вернулись и заняли свое место. Капуцин неохотно поднял голову и огляделся. Близорукие глаза его различили дом и движение людей и животных впереди на дороге. Он снова опустил взгляд, чтобы смягчить шок этого внезапного перехода из одного мира в другой, и вернулся к словесному размышлению о Слове, ставшем плотью.

На мосту была выставлена стража, проверявшая путников с севера. Капуцин отвечал на вопросы бегло, но с иностранным акцентом, и это вызвало подозрения. Его забрали в караульное помещение для допроса. При появлении монаха офицер, начальник стражи, дотронулся до шляпы, но не встал и не снял со стола ног, обутых в сапоги. Стоя перед ним и скрестив на груди руки, путник объяснил, что его зовут отцом Жозефом, что монастырь его в Париже и что он послан начальниками на собрание капитула своего ордена. Офицер слушал, ковыряя в зубах серебряной с позолотой зубочисткой. Когда капуцин кончил, он снова дотронулся до шляпы, рыгнул и сказал, что, хотя и не имеет оснований сомневаться в правдивости слов преподобного отца, некоторые злодеи, некоторые разбойники, некоторые (он выразительно взмахнул зубочисткой), некоторые враги Бога и человека не стесняются скрывать свою преступность под рясой францисканца, а потому он вынужден попросить у преподобного отца документы. Капуцин замешкался, а потом в знак согласия наклонил голову. Открыв рясу на груди, он залез во внутренний карман. Пакет, который он вынул оттуда, был завернут в синюю камку и перевязан белой шелковой лентой. Принимая пакет, офицер поднял брови и улыбнулся. Он развязал ленту и весело заметил, что в былые дни носил в таком свертке любовные письма своей подруги. Но теперь, когда в постели ревнивая жена и теща прямо поселилась в доме... Вдруг улыбка на его толстом лице сменилась удивлением, а оно, в свою очередь, — настоящей тре-

вогой. Предметом, который он вытащил из свертка, было письмо, запечатанное королевским гербом Франции и адресованное с великолепными росчерками Его Святейшеству Урбану VIII. Он опасливо посмотрел на монаха, а потом снова на грозную надпись и устрашающую печать; потом с грохотом и звоном сбросил ноги со стола, вскочил и, сняв шляпу, отвесил глубокий поклон.

— Простите, преподобный отец, — сказал он. — Если бы я знал... Если бы вы сразу объяснили...

— Там еще письмо Его Преосвященству кардиналу-племяннику, — сказал капуцин, — и еще одно, если вы потрудитесь взглянуть, — послу Его Христианнейшего Величества. И наконец, мой паспорт, подписанный Его Преосвященством Первым министром...

При каждом имени офицер отвешивал поклон.

— Если бы я знал, — повторял он, пока монах складывал письма, — если бы я знал... — Оборвав себя, он бросился к двери и сердито закричал на солдат.

Когда капуцин покинул караульное помещение, по обеим сторонам моста уже была выстроена рота папских мушкетеров. Он остановился на мгновение, смиренно принял приветствие офицера, благословил его, а затем, скрестив руки на груди и опустив голову, не глядя ни налево, ни направо, босой, бесшумно и быстро зашагал между двумя рядами пик.

Глава 2

Детство и юность

Условиями, определяющими любое событие в любой части вселенной, являются предыдущие и одновременные события во всех частях вселенной. Однако, занимаясь исследованием причин того, что происходит вокруг нас, люди обычно игнорируют подавляющее большинство одновременных и предшествующих событий. В каждом конкретном случае, доказывают они, практическое значение имеет лишь небольшое число условий. Там, где речь идет о простых событиях, это, в общем, справедливо. Вот, например, кипящий чайник. Мы хотим выяснить, почему он кипит. Мы смотрим, обнаруживаем зажженную газовую конфорку, делаем опыты, которые как будто доказывают, что между кипением и подъемом температуры есть неизменная связь. И тогда мы утверждаем, что «причина» кипения в чайнике — близкий источник тепла. Это объяснение приблизительное, но для большинства практических целей достаточное. В случае простого события мы можем игнорировать все определяющие условия, кроме одного или нескольких, и при этом достаточно хорошо понимать его для того, чтобы управлять им в практических целях.

Однако в случае сложных событий это не так. Здесь практическую важность имеет гораздо большее число определяющих условий. Самые сложные события, с какими

нам приходится иметь дело, — это события человеческой истории. Если мы хотим, например, установить определяющие условия войны 1914–1918 гг., нам придется — даже для таких чисто практических целей, как выработка будущей политики, — рассмотреть огромное множество «причин», прошлых и современных, местных и отдаленных, психологических, социологических, политических, экономических. Определить полный список практически важных причин, их относительную важность, природу их взаимодействия — задача крайне трудная. Настолько трудная, что она непосильна для человеческого сознания на нынешней ступени его развития. Но, увы, неразрешимость проблем никогда не мешала мужчинам и женщинам уверенно предлагать решения. Метод всегда используется один и тот же — чрезмерного упрощения. Игнорируется все, кроме того, что непосредственно предшествовало событию, и с историей обращаются так, как будто она началась только вчера. При этом все смущающие сложности отбрасываются. Люди сводятся к удобным абстракциям. Многообразие темпераментов, талантов и мотиваций уплощается до единообразия. В результате событие представляется настолько простым, что его можно объяснить всего лишь несколькими причинами, а то и одной. И этот теоретический вывод становится руководством к дальнейшим действиям. Неудивительно, что результаты разочаровывают.

Чрезмерное упрощение фатально, но полностью и точно определить все практически значащие причины сложных событий невозможно. Так неужели мы обречены на то, что никогда не сможем понять нашу историю, а следовательно, извлечь уроки из прошлого опыта? Ответ таков: хотя понимание, вероятно, никогда не будет полным, все же мы можем понять достаточно хотя бы для некоторых практических целей. Например, мы, вероятно, можем достаточно разобраться в причинах наших недавних катастроф, чтобы выработать (если того пожелаем) политику

хотя бы чуть менее самоубийственную, чем та, какую мы проводили в прошлом.

Нет такого эпизода в истории, который не имел бы никакого отношения к каждому из последующих эпизодов. Но в практическом смысле некоторые события оказывают на дальнейшее больше влияния, чем другие. Этот монах, например, которого мы только что оставили на мосту, — видит Бог, он как будто бы достаточно далек от наших современных забот. Но на самом деле, если мы присмотримся к его биографии чуть пристальнее, то обнаружим, что его мысли, чувства и желания существенно повлияли на состояние мира, в котором мы живем сегодня. Дорога, по которой ступали его босые огрубелые ноги, непосредственно вела в Рим Урбана VIII. В отдаленном смысле она привела к августу 1914 года и к сентябрю 1939-го. В длинной цепи преступлений и безумий, которая связывает современный мир с прошлым, одним из самых важных и роковых звеньев является Тридцатилетняя война. Многие потрудились, чтобы выковать это звено; но никто не усердствовал больше, чем этот сотрудник Ришелье, Франсуа Леклер дю Трамбле, в церковной истории известный как отец Жозеф Парижский, а в популярной истории — как Серое Преосвященство. Но это — отнюдь не единственное, чем он нам интересен. Если бы отец Жозеф был всего лишь мастером политических игр, не было бы причины выделять его из множества партнеров и конкурентов. Мир этого монаха был не таков, как мир обычных государственных политиков, то есть не был исключительно здешним миром. Не только умственно, но и непосредственно из живого опыта он знал кое-что о мире ином, мире вечности. Он страстно стремился стать и в какой-то мере, частью своего существа, действительно был гражданином Царствия Небесного. Единственный из государственных политиков, отец Жозеф был способен извлечь из глубин своего опыта безусловный, объективный критерий, по которому можно оценивать его политику.

Он был одним из тех, кто ковал одно из самых важных звеньев в цепи нашей злополучной судьбы; одновременно он был одним из тех, кому дано было знать, как можно избежать изготовления таких звеньев. Вдвойне поучительная с точки зрения и политической, и религиозной, его жизнь интересна еще и как удивительная психологическая загадка — загадка человека, страстно желавшего познать Бога, приобщенного к высшим формам христианского гнозиса, пережившего, как минимум, предварительные стадии мистического единения — и в то же время вовлеченного в придворные интриги и международную дипломатию, занятого политической пропагандой и всецело посвятившего себя политике, чьи непосредственные результаты — смерть, нищета, нравственная деградация — отчетливо проявились в каждом уголке Европы семнадцатого века и от чьих отдаленных последствий мир страдает по сей день.

В ту весну 1625 года отец Жозеф шел в Рим уже третий раз. Цель его похода была дипломатическая и религиозная. От имени французского правительства ему предстояло вести переговоры о Валтеллине и проходах, соединявших испанские владения в Италии с империей Габсбургов за Альпами. Для своего ордена он должен был получить разрешение на организацию нескольких миссий. Сам же он лично хотел обсудить с папой и кардиналом-племянником свой заветный план крестового похода против турок. Куда бы он ни явился в Риме, он будет говорить авторитетно и будет выслушан с вниманием и почтением. Этот босоногий монах был доверенным советником и правой рукой кардинала Ришелье. И задолго до того, как Ришелье пришел к власти, он был доверенным лицом и агентом Марии Медичи и некоторых других персон, почти столь же влиятельных. Ришелье возглавляет Государственный совет всего год; а отец Жозеф Парижский известен Римской курии и уважаем ею уже больше десяти. Сейчас, в 1625 году, ему сорок восемь лет, и впер-

ди у него еще тринадцать — тринадцать лет, в течение которых его политическая власть будет непрерывно возрастать. Не пройдет и половины этого срока, как он займет место среди пяти или шести самых влиятельных людей в Европе — и среди двух или трех самых проклинаемых. Но прежде чем проследить последние этапы этой странной карьеры, вернемся к ее началу.

Франсуа Леклер дю Трамбле, старший сын Мари де Лафайетт и Жана Леклера, начальника канцелярии и заведующего приемом прошений во дворце герцога Алансонского, родился четвертого ноября 1577 года. По отцовской линии он происходил от династии выдающихся юристов и администраторов. Семья матери принадлежала не к дворянству мантии, а к землевладельческой знати. Ее отец, Клод де Лафайетт, владел четырьмя баронскими поместьями, и одно из них он завещал своему внуку Франсуа, который во время его недолгого пребывания при дворе был известен как барон де Маффлие. Клод де Лафайетт и его жена, Мари де Сюз, были кальвинистами; но, обремененные шестью дочерьми и, несмотря на четыре баронских титула, располагая небольшим капиталом, они воспитали Мари в католичестве, с тем, чтобы можно было сдать ее в монастырь и не тратиться на приданое. Заметим кстати, что подобные сделки во Франции того периода были не редкостью. Религиозные войны шли своим чередом, гугенотов временами резали, временами терпели, но французские семьи своего шанса в любом случае старались не упустить. Так, в тех областях страны, где католиков и протестантов было примерно поровну, родители растили дочерей вне определенного вероисповедания. Когда появлялся подходящий поклонник, девушку можно было спешно обучить и подтвердить в той вере, которую исповедовал ее будущий муж. Не слишком «героический» способ разрешения религиозных противоречий в смешанном обществе; но во всяком случае он действовал, способствовал миру и спокойствию.

Одно время модно было считать, что причины раздоров — как правило, экономические. Это далеко от истины. Многие из них имеют чисто идеологическое происхождение. В этих случаях соображения экономической выгоды нередко вмешиваются самым благоприятным образом и снижают градус теологической ненависти.

Дочку де Лафайеттов спасла от монастыря дальняя родственница ее матери, бывшая фаворитка Франциска I Анна, герцогиня Этампская. Эта отставная любовница короля была теперь благожелательной старой дамой лет семидесяти и добрым другом Леклеров. Она устроила брак своей молодой родственницы с Жаном Леклером, и она же пополнила небогатое приданое Мари значительной суммой из собственного кошелька. Брак, оказавшийся счастливым, заключили в 1574 году, а первый ребенок родился, как мы видели, в 1577-м и получил имя Франсуа. (Не был ли вложен в это тонкий комплимент старой герцогине? Кто знает?) Через год появилась на свет его сестра Мари. Шарль, младший из трех детей Леклеров, родился лишь в 1584 году.

Уже в раннем детстве Франсуа показал себя странным и замечательным ребенком. Шустрый и в то же время задумчивый, он был деятелен, но любил оставаться в одиночестве и думать о чем-то своем. В обществе он держался особняком, и мир, в котором он обитал, был другим недоступен. Эта скрытность, однако, не означала отсутствия сильных чувств. Он горячо любил отца и мать; был очень привязан к дому, к слугам, собакам и лошадям, голубям, домашним уткам, соколам. Бурные порывы, приступы не только страстной любви, но и ненависти, и гнева, были важным элементом его потаенного мира; но даже в детстве они существовали за железной стеной самообладания, сознательной сдержанности, не выражаясь ни в словах, ни в тех бесчисленных мелких поступках, посредством которых экспансивная натура так легко дает выход своим чувствам. Франсуа «давал себе волю» только в тех ситуациях, когда

лично и непосредственно это не затрагивало других людей. Он мог испытывать горячий энтузиазм по поводу каких-то вещей и идей; но всякое выражение эмоциональной близости с людьми ощущал как неприличие и избегал его.

В умственном отношении мальчик был развит необыкновенно. Когда Франсуа было десять лет, учителя поручили ему произнести часовую речь памяти Ронсара поллатыни перед большой и блестящей аудиторией. Если бы большая блестящая аудитория поняла его, он мог бы произнести не менее эффектную речь на греческом языке, который он выучил почти в таком же раннем возрасте, как Джон Стюарт Милль, и по той же разговорной методике, по какой Монтеня обучали латыни.

Не только интеллектуально он был развит не по годам, но и в религиозном отношении далеко опережал свой возраст. Однажды, рассказывают нам, когда его родители принимали важных гостей, его, четырехлетнего, пригласили к обеденному столу. Попробуем воссоздать эту сцену на основе беглого телеграфного описания, данного первым биографом отца Жозефа, и рассказать о ней языком, более подходящим случаю.

Рядом с гордой, но несколько обеспокоенной матерью сидит маленький мальчик в миниатюрном костюме взрослого покроя; он выглядит до неприличия «мило» в бордовом камзоле и накрахмаленных брыжжах. С другого конца стола отец велит ему подняться, и он повинуется с младенческой серьезностью, которая всех приводит в восторг. Его спрашивают, кем он намерен стать, любит ли он свою малышку-сестру и скоро ли будет учиться ездить верхом. Затем магистрат задает ему двусмысленный вопрос. Наивность ответа вызывает смех, ребенку совершенно непонятный. В глазах у него слезы; мать сажает его на колени и целует. Гости возвращаются к еде, мальчика пересаживают на табурет и дают ему конфету, которую он ест молча. О нем забыли. И вдруг, когда в общей беседе наступает пауза, он кричит через стол отцу: можно, он что-то

расскажет? Мари пытается его остановить; но Жан Леклер снисходителен — пусть Франсуа рассказывает, если хочет. Мальчик встает на табуретку. Улыбающиеся гости готовятся перебивать и аплодировать. Но после первых слов лица у взрослых становятся серьезными, они глубоко расстроены и внимают молча. Мальчик рассказывает им то, что недавно услышал от одного из слуг — рассказывает о страстях Христовых. Рассказывает о бичевании, о терновом венце. Когда он доходит до распятия, голос у него начинает дрожать, и он раздражается рыданиями. Мать берет его на руки и пытается утешить; но горе его безутешно. В конце концов она вынуждена унести его из зала.

Ребенок — отец мужчины. Этому маленькому мальчику, горящему о смерти его Спасителя, суждено было стать основателем, а затем, в течение многих лет, опекуном и духовным руководителем нового реформированного монашеского ордена кальварианок, чей духовной труд посвящен был страдающей матери у подножия креста. Также ему суждено было стать государственным деятелем, вовлеченным в опаснейшую политику и, по-видимому, совершенно безразличным к ужасным страданиям, этой политикой порожденным. Мальчик, оплакивающий Иисуса, взрослый мужчина, созерцающий и других обучающий созерцать страдания на Голгофе, — неужели они были отцом и братом сотруднику Ришелье, человеку, который делал все возможное, чтобы продлить Тридцатилетнюю войну? Это — вопрос, на который мы в надлежащем месте попытаемся найти ответ. А пока что вернемся в шестнадцатый век, к его детству.

В возрасте восьми лет Франсуа дю Трамбле отправили в Парижскую школу-интернат. Вернее, он отправился туда по собственной воле — он действительно попросился из дому на том основании, что его балует мать, qui en voulut faire un delicat*. Опять-таки, ребенок — отец муж-

* Которая хотела сделать из него неженку (франц.)

чины. Этот маленький спартанец вырос в воинствующего капуцина, умерщлявшего себя всеми способами и сверх необходимого, — а затем в босоногого политика с тонзурой, который даже в зените своей власти, даже одолеваемый крайней усталостью и болезнями, упорно отказывался от каких-либо послаблений в том, что предписывалось правилами францисканского ордена.

В Коллеж де Бонкур Франсуа совершенствовался в греческом и латыни и, без сомнения, подвергался побоям, терпел притеснения от старших и плохо питался, как и все мальчики в закрытых школах того времени.

Среди его соучеников и друзей в Бонкуре был тот, о ком нам придется еще много узнать в одной из последующих глав этой книги — Пьер де Берюль, будущий кардинал, основатель Оратории и влиятельнейший представитель французской школы мистицизма, расцвет которой приходится на первую половину семнадцатого века. Как и Франсуа, Пьер был не по годам серьезен. С раннего детства набожность его была пламенной и вместе с тем интеллектуальной, стихийной и ученой. В двенадцать лет, как рассказывает нам молодая дама-протестантка, впоследствии ставшая кармелиткой, он мог рассуждать о теологии, как доктор Сорбонны. В восемнадцать он был таким сильным и острым полемистом, что гугенотские священники боялись вступать с ним в публичную дискуссию.

Пьер был на два года старше Франсуа и еще более развит интеллектуально. Кроме того, как и младший, он уже был глубоко религиозен. Это была дружба двух будущих богословов и мистиков. Можно вообразить себе этих странных детей, сидящих в сторонке, в углу школьной игровой площадки, обнесенной стеной. Остальные ребята играют в мяч или обмениваются обычными глупыми шутками, которые кажутся мальчишкам бесконечно смешными. Серьезно и страстно два дисканта, Пьер и Франсуа, обсуждают глубочайшие проблемы метафизики и религии.

Когда Франсуа было десять лет, произошло событие, которое, вероятно, дало пищу для многих таких дискуссий о смысле жизни и природе Бога и человека. В 1587 году умер Жан Леклер дю Трамбле. Франсуа любил отца со всем жаром своей страстной, глубокой и скрытной души. Горе его было велико; и когда первый приступ прошел, у него осталось дремлющее в обычное время, но всегда готовое выйти на поверхность неотступное ощущение тщетности, временности, безнадежной шаткости всякого чисто человеческого счастья.

Это недетское убеждение, что наш мир — падший, подтверждалось всем, что слышал и видел вокруг себя Франсуа. По всей Франции члены Священной лиги и гугеноты с помощью своих иностранных союзников старательно пытались сделать со своей несчастной страной то, что сделали поколением позже лютеране и сторонники императора при поддержке своих союзников с Германией. По ряду причин Лиге и гугенотам не удалось разрушить Францию так, как впоследствии сумели разрушить Германию политические друзья отца Жозефа. Пятнадцати лет мира и разумного управления при Генрихе IV было достаточно, чтобы вернуть страну к процветанию, — чтобы откормить ее, как рождественскую индейку, к приходу мытарей Ришелье. Но пока продолжались религиозные войны, Франции пришлось пережить все ужасы резни и грабежей, голода и эпидемий, беззакония и политической анархии. Те, кто уцелел в этом кровавом хаосе, оценили преимущества порядка и института монархии, который только и мог тогда этот желанный порядок обеспечить. В то же время присутствие иностранцев — испанцев, немцев, англичан, ведущих войны на французской земле и пользующихся слабостью Франции, — способствовало усилению французского патриотизма. В годы гражданских войн и иностранной интервенции Франсуа Леклер и стал тем, кем оставался до конца жизни, — убежденным сторонником абсолютной монархии и ярым националис-

том. Политические убеждения у него были детально обоснованы теологически, и это основание придавало им дополнительную силу; но всегда надо помнить, что источником их была не какая-то абстрактная теория, а грубые факты его раннего опыта.

В 1585 году жизнь в Париже стала настолько опасна, что мадам Леклер решила переехать с семьей в Ле Трамбле, близ Версаля, где у нее был укрепленный дом и целый отряд арендаторов и работников для защиты. Здесь Франсуа продолжил свое образование с частным учителем, которому дал любовно-уважительное прозвище — Минос. Теперь в круг его занятий вошли иностранные языки, в особенности испанский и итальянский, на которых он впоследствии научился писать и говорить почти так же хорошо, как на родном, начатки древнееврейского, философия, юриспруденция и математика. В перерывах между занятиями он учился ездить верхом и стрелять из аркебузы, с удовольствием бродил один по лесу и предавался чтению. Книг в Ле Трамбле было немного; но среди них — перевод «Жизнеописаний» Плутарха и жития — по большей части отшельников. Эти две книги он читал и перечитывал. Плутарх развил его природный вкус к героизму и деятельной жизни; а под влиянием отшельников подспудное ощущение мирской тщеты усилилось настолько, что вдохновило его на написание небольшого трактата о преимуществах религиозной жизни. Франсуа закончил трактат незадолго до своего двенадцатилетия, и стилем его восхищались. Ни у кого, даже у матери, не достало прозорливости понять, что существенным в его отроческом опусе была не вымученная, нелепая эlegantность письма, старательно подражавшего известным образцам, а раннехристианское содержание. В этом довольно претенциозном абстрактном труде ребенок неявно выразил желание посвятить себя религии. Через два с половиной года, когда ему было четырнадцать, он сделал первую — преждевременную — попытку это желание осуществить.

Этот очень важный эпизод восемь лет спустя был описан самим Франсуа, когда ему, послушнику-капуцину, начальство велело рассказать историю своего призвания. Документ этот, под занятным названием «Discours en forme d'Exclamation»* сохранился до наших дней. Вот как, вкратце, там описаны эти события 1591 года.

Мадам Леклер уехала по делам, оставив троих детей на попечение одного из соседей-помещиков. Дом был веселый, шумный, с целой стаей девочек. Одна из них, сверстница Франсуа, все сильнее привлекала его внимание. Он знал ее с детства (возможно, она была дальней родственницей), но до сих пор ни она, ни другие девочки не вызывали у него особого интереса. Теперь все изменилось. На покаянном языке его автобиографии, «его вождедения утрастились» и, «трепеща от смущенной радости, он увидел эту девушку глазами иными, нежели те, какими обладал прежде». Это была юношеская всепоглощающая страсть, восторг, над которым глупо насмеваются взрослые, называя его «телячьим», хотя ничего столь же бурного, мучительно-напряженного в дальнейшей жизни, возможно, и не будет. Когда любила и умерла Джульетта, ей было столько же, сколько Франсуа во время его первых и последних сердечных терзаний, — четырнадцать лет.

«Все ее лицо, — писал послушник-капуцин в своем "Рассуждении в форме восклицания", — все ее лицо сияло, ее взгляды метали молнии». Вскоре Франсуа уже «ничего не видел, кроме нее; уши его были глухи ко всякой речи, кроме ее; он отдал ей все сердце и, кроме нее, нигде не находил покоя».

С самого начала это была стесненная страсть, омраченная чувством вины. Герои Плутарха всегда были готовы напомнить ему, что любовь — враг высоких устремлений; отшельники свидетельствовали о тщете человеческих желаний; а когда он молился, прежняя связь между

* «Рассуждение в форме восклицания» (франц.)

его душой и ее Богом и Спасителем не действовала. Это преображенное лицо, это молодое роскошное тело, запах ее волос, бешеный стук собственного сердца — они стояли на пути его молитвы, заполняли все поле внутреннего зрения, затмевая Бога. Но однажды что-то произошло. Он играл в карты со всей компанией — полудюжиной *jeunes filles en fleur**, среди которых была его любимая, «смеялся и шутил, не закрывая рта», как вдруг, ни с того ни с сего подумал: чем он занят? — и с ужасающей ясностью осознал всю бессмысленность своего занятия. Он был в ужасе. Большинству из нас, я думаю, приходилось пережить нечто подобное — очнуться от сна повседневной жизни и вдруг осознать себя и природу окружающего.

«Вечеринка ли это в гостиной?
Люди теснятся, как на земле теснились,
Кто пунш отхлебывает, кто чай,
И все безмолвны,
Все немые и обречены.»**

Вдруг осознать, что ты сидишь, обреченный, среди других обреченных, — весьма обескураживающее переживание; настолько обескураживающее, что большинство из нас под его влиянием еще увлеченнее предается своему разрушительному занятию в надежде — как правило, оправдывающейся — хотя бы на время заслониться от беспощадного прозрения. Франсуа был одним из тех, для кого подобное поведение невозможно. Сокрушительное понимание того, чем он занят, почти сразу сменилось ощущением присутствия Бога — ощущением, которое доставило ему настолько сильную радость, что тут же, за карточным столом, он чуть не лишился чувств. Сидевшие рядом заметили его бледность и поспешили вывести его на воздух. Когда они вышли в сад, колокола звонили к вечерне. Франсуа сразу предложил всем идти в церковь.

* Девушек в цвету (*франц.*)

** У. Вордсворт, «Питер Белл».

Стоя на коленях перед алтарем, он ощутил тягу двух несовместимых сил — любви земной и любви небесной. Рядом на коленях стояла девушка, чье красивое личико, преображенное его страстью, сияло, как лицо человека, узревшего Бога; перед ним над алтарем была фигура распятого Спасителя. Внутренняя борьба закончилась тем, что Франсуа уже не видел ничего, кроме «ног Христа, прибитых к кресту и будто ждавших его, рук Христа, распростертых, чтобы принять его». Перед этим образом страданий он поклялся полностью посвятить себя служению Богу. Вернувшись в дом, он немедленно стал готовиться к бегству в Париж. Он выскользнет ночью, поменяется одеждой с первым же бедным мальчиком, встреченным на дороге, он пройдет двадцать миль до города и попросится в тот картезианский монастырь, который часто посещал ребенком, пять или шесть лет назад. Это был безрассудный план, и слуга, которому он открыл его в тот вечер, так ему сразу и сказал. Франсуа, чья природная порывистость всегда сдерживалась здравым смыслом, понял, что выполнять свою клятву тайком не годится, и решил не убегать. На другой день ему представилась возможность вступить в Божью битву со своими желаниями. Соседи устраивали большой праздник и пригласили всю молодежь. Будут танцы, конечно, и музыка, вино, огни — увеселения тем более пьянящие, что они так редки у детей, выросших за городом. И ночью, конечно, по дороге домой, в колышащемся экипаже, для утомленных весельем — сколько возможностей пошептать, тайком подержаться за руки, прикоснуться друг к другу. Влюбленному такой случай нельзя упускать ни за что; вот почему, даже с риском показаться невежей и бирюком, юный Франсуа решил уклониться от участия. В тот день он много молился, прося дать ему сил, и, когда девушки нарядились и карета уже была у дверей, он сумел устоять перед их уговорами, даже перед уговорами возлюбленной. Уехали без него. Это была победа — но победа, за которой последова-

ло через несколько дней поражение. Не прошло и недели, как Франсуа снова был поработан своей страстью. Только теперь он еще больше страдал от укоров совести.

Это мучительное положение сохранялось четыре месяца. Но затем случились два происшествия, которые послушник-капуцин мог объяснить только Провидением. Играя аркебузой, Франсуа едва не убил свою мать. (Мадам Леклер вернулась, и они снова жили в Ле Трамбле.) И почти в то же время банда солдат-мародеров, проходившая мимо дома, выбросила из сумок среди прочих ненужных трофеев потрепанную книгу под названием «Варлаам и Иосаф».

Благодарный за спасение матери, чуть не погибшей из-за его неосторожности, Франсуа повторил свои обеты. На этот раз решение было бесповоротным. С такой яростью порвал он путы предыдущих месяцев, что «едва мог смотреть» на девушку, чьих ласк страстно желал еще недавно. При этом в нем поселился настоящий ужас перед женщинами вообще и перед плотской любовью. Этот ужас он пронес через всю жизнь. Он мог забыть о нем, конечно, но в миру, без божественного присутствия, это отвращение преследовало его. В зрелые годы отец Жозеф избегал прямых и слишком близких контактов даже со своей сестрой. «Я не хочу, — говаривал он, — я не хочу видеть их пол (это любопытное наименование женщин, принятое в семнадцатом веке, должно быть, доставляло ему особое удовольствие) иначе как запертым и скрытым от глаз, подобно многим тайнам, взирать на которые можно только с ужасом». Другими словами, приемлемой для него была только женщина в монастыре, переносимым общение с ней — только через решетку исповедальни или приемной монастыря. В остальном «посещать их можно только как диких зверей, которых предпочтительно видеть на расстоянии». Отвращение это, надо полагать, было пропорционально накалу его прежней страсти и величине усилий, употребленных для того, чтобы с нею совладать.

А теперь — о старой книге, выброшенной прохожими солдатами. Франсуа ее подобрал, прочел и сразу, как он говорит, «в нее влюбился». Словно голос Божий заговорил с ее страниц, утверждая его в принятом решении и, в качестве утешения, суля покой и счастье духовной жизни.

В новое время вокруг этой нравоучительной истории, во многом предопределившей будущие занятия отца Жозефа, выросла целая литература. «Варлаам и Иосаф» — важный исторический курьез. Ибо эта средневековая повесть об индийском принце, который ведет жизнь, полную наслаждений, будучи так воспитан слишком заботливым отцом, а затем вступает на путь созерцания под руководством отшельника, — ничто иное как христианизированная биография Гаутамы Будды. Не только сюжетно, но и в деталях и даже в формулировках «Варлаам и Иосаф» воспроизводит написанную на санскрите «Лалитавистару». Мало того. Само имя принца выдает его происхождение. Повесть была переведена на греческий с арабского перевода, а арабские буквы, соответствующие Y и B, легко спутать. Иосаф — искаженное Бодисат. Ученик Варлаама — Бодисатва или будущий Будда. Одна из трагедий истории в том, что христианский мир ничего не знал о буддизме, кроме этого искаженного перевода полулегендарной биографии его основателя. В учениях первоначального, южного буддизма католицизм нашел бы весьма полезные коррективы для своей на удивление произвольной теологии с элементами первобытной жестокости, унаследованными от наиболее суровых частей Ветхого Завета, с его постоянной и опасной поглощенностью мучениями и смертью, с его тщательно обоснованной верой в магическую действенность обрядов и таинств. Но увы, для Запада Просветленному суждено было оставаться до самого последнего времени всего лишь героем поучительной сказки.

В 1594 году Генрих IV, прослушав мессу, обосновался в Париже. Был восстановлен порядок; жить в городе стало безопасно. Мадам Леклер вернулась в Париж, и

Франсуа отправили учиться в университет — вернее, в то, что осталось от него после религиозных войн, а осталось так мало, что через несколько месяцев молодой человек решил перейти в другое учебное заведение, Академию, руководимую Антуаном де Плювинедем.

Во Франции шестнадцатого века Академия была чем-то вроде пансиона для благородных молодых людей. Преподавали там, среди прочего, искусство верховой езды, математику, фортификацию и фехтование, шагистику, каллиграфию и хорошие манеры. В Академии Плювинеля, самой аристократической и модной из французских академий, курс наук был рассчитан на два года; но блестяще образованному Франсуа Леклеру дю Трамбле удалось постичь благородные науки меньше чем за год. К осени 1595 года он был готов отправиться в свой «Гран тур».* В обществе верного старого слуги и десяти или двенадцати других молодых аристократов он поехал в Италию. А что Варлаам и Иосаф? Что с отшельниками, трактатом о религиозной жизни, обетами у Распятия? Ускользнули из памяти? Отброшены нетерпеливо вместе с другими детскими глупостями? Отнюдь нет. Ничто не забыто, прежние решения оставались в силе. Он только ждал нужного момента, окончательного и недвусмысленного зова, который мог раздаться очень скоро; но мог задержаться и на годы. Пока что он будет слушаться матери и выполнять все обязанности, лежащие на человеке его сословия. Для других молодых людей в его компании эта поездка была первой счастливой возможностью освободиться от родительской опеки — причем, в обетованной стране, где ходят *Sonneti Lussuriosi*** с гравюрами Джулио Романо. Для Франсуа же, напротив, поездка была лишь очередным этапом в процессе образования, которое должно подготовить его физически и духовно к исполнению — на стезе, пока еще не определенной, — воли его Бога и Спасителя.

* Большое путешествие (*франц.*)

** «Сладострастные сонеты» (*итал.*)

Твердо исполняя обет безбрачия, данный после случая с аркебузой, твердый в своем отвращении к женщинам, он не боялся искушений, которым радостно готовились уступить его спутники, направлявшиеся вместе с ним из Парижа на юг. Италия научит его только тому, что правильно и необходимо ему; ничему больше.

За границей Франсуа не терял времени. Во Флоренции он обучался языку, фехтованию и, главное, искусству верховой езды, которым в то время славились итальянцы. Он был превосходным наездником и обожал лошадей и все тонкости конного спорта, но вскоре вынужден был пожертвовать своей страстью ради религиозного призвания — ибо капуцину дозволено передвигаться только пешим способом и босиком. Из Флоренции он отправился в Рим, где получил возможность кое-что узнать о папском дипломатическом ведомстве, по ловкости не знавшем себе равных в Европе. Двинувшись обратно, на север, Франсуа останавливался в Лоретто по религиозным причинам; в Болонье, чтобы посетить университет; в Ферраре, чтобы засвидетельствовать почтение герцогу и ознакомиться с Его Высочества музеем естественной истории; и наконец, в Падуе, где он пробыл дольше, изучая юриспруденцию. Письма к матери, написанные им в то время, пропали. А жаль: было бы интересно узнать, познакомился ли он с Галилеем, преподававшим тогда в Падуе, и какие темы обсуждались на тех неформальных встречах, которые устраивали у себя дома преподаватели в неучебные часы. Из Падуи молодой человек проследовал в Венецию, которая дала приют множеству ученых-эмигрантов из Византии и была наилучшим местом в Европе для изучения греческого языка. Затем он отправился через Альпы в Германию и узнал, по крайней мере, как выглядела эта страна до Тридцатилетней войны. Не прошло в общей сложности и года, как он вернулся в Париж. Когда молодого барона де Маффлие представили ко двору, он произвел там прекрасное впечатление. Габриэль д'Эстре, молодая любовница короля (она была всего

двумя годами старше Франсуа), назвала его «французским Цицероном наших дней». Монарх выражался не столь восторженно, но тоже обратил благосклонное внимание на юношу. Ничего удивительного. Франсуа выделялся не только аристократической и несколько хищной красотой; он был, кроме того, очень умен; вел себя не по годам осмотрительно; обладал изысканными манерами; мог поддерживать увлекательную беседу о чем угодно — но никогда не теряя сдержанности, не забывая об осторожности, с помощью которой умерял свой энтузиазм, свое буйное воображение, свои порывы к немедленному поступку. Впоследствии кардинал Ришелье придумает для своего старого друга и соратника два прозвища — Иезекиили и Тенеброзо-Кавернозо.* Оба прозвища отлично характеризуют эту удивительно сложную натуру. Иезекиили — энтузиаст, визионер, францисканский проповедник и мистик; Тенеброзо-Кавернозо — человек, который никогда не раскрывается, непроницаемый дипломат, изобретательнейший политик. Эти два поразительно несхожих персонажа обитали в одном теле, и несообразность их сочетания была важной составляющей в характере человека, чью судьбу мы вознамерились проследить.

Франсуа провел при дворе целый год. Опыт был ценный. В этой луврской школе с весьма совместным обучением он получил разные полезные уроки: научился слушать с почтительным интересом скучные придворные разговоры; радостно терпеть высокородных дураков; говорить тонкие комплименты дамам, чьи сильно обнаженные груди вызывали у него неодолимое отвращение; выуживать сведения у информированных, не выглядя любопытным; отличать существенное от несущественного, могущественных от важничающих. Для будущего государственного секретаря и дипломата эти знания были бесценны.

* Тенеброзо-Кавернозо: Tenebroso — темный, Cavernoso — пещерный (*итал.*)

В начале 1597 года Франсуа получил возможность продолжить образование еще в одной области — узнать вкус войны: его отправили на осаду Амьена. Эту хорошо снаряженную крепость изменнически сдал испанцам сторонник Лиги, и теперь ее осаждала французская армия под командованием коннетабля Монморанси. Монморанси был мужем побочной дочери Генриха II, которая двадцать лет назад любезно соизволила стать крестной матерью Леклера. Коннетабль взял молодого человека под свою опеку и был чрезвычайно доволен тем, как он вел себя на протяжении всей осады. Люди стали говорить, что из молодого барона де Маффлие получится первоклассный воин.

Амьен пал, и это стало прекрасным поводом завершить войну, от которой и Генрих IV и Филипп II изрядно устали. Однако у Генриха IV были союзники, без чьего согласия он не мог заключить мир. Важнейшим среди этих союзников была Елизавета Английская, у которой были свои причины желать продолжения военных действий. Чтобы добиться ее согласия на мир, Генрих IV отрядил в Лондон опытного дипломата Юро де Меса, дальнего родственника дю Трамбле. Франсуа воспользовался родством для того, чтобы присоединиться к свите посла, и осенью того же 1597 года прибыл в Англию. Для молодого человека, желавшего расширить свою образованность, Лондон был поистине находкой. При дворе обретались образованные и даже ученые люди, с которыми можно было говорить по-латыни об Эразме, об «Илиаде» и новом издании Авла Геллия. Елизаветинская драма переживала расцвет, и выдающихся иностранных гостей часто приглашали на эти малопонятные спектакли. Тем временем Юро де Мес усердно вел переговоры с королевой и ее министрами; Франсуа имел возможность изучать дипломатию в действии и изнутри. И наконец, была эта царственная карга, обхаживать которую было вменено атташе в обязанность. Она, в свою очередь, с удовольствием беседовала с красивым молодым человеком, прекрасно воспи-

танным и превосходно владевшим мертвыми и живыми языками, которые она сама отлично знала и на которых любила разговаривать. (Когда Юро де Мес выразил ей в связи с этим свое восхищение, Елизавета ответила в свойственной ей манере: нет ничего замечательного в том, чтобы научить женщину разговаривать; труднее заставить ее держать язык за зубами.)

Для любого другого молодого человека короткое посещение Лондона было бы всего лишь забавным и, возможно, поучительным приключением. Таким оно было и для Франсуа Леклера в первую неделю или две. Он был взволнован непривычностью всего увиденного, доволен своим успехом, очарован людьми, с которыми ему пришлось соприкоснуться. Ему было приятно в Англии и нравились англичане. Но именно потому, что они ему нравились, радость от общения с ними вдруг исчезла. Эти приятные, дружелюбные люди, говорившие по-латыни с таким восхитительно смешным акцентом, — все они еретики и потому обречены. Вся нация обречена. Миллионы мужчин, женщин и детей погрузились в духовный мрак, из которого только одна дорога, — и ведет она прямо к вечным мукам. Франсуа ужаснула эта мысль, и давнее ощущение шаткости и иллюзорности того, что обычно называют счастьем, тщеты человеческих желаний вернулось с удвоенной силой. Посмотрите на этих англичан! Как безмятежно проводят они время, словно все у них хорошо! А ведь через несколько коротких лет все они очутятся в аду. Что до него самого, доброе Провидение предопределило ему родиться католиком. Но даже эта неоценимая удача не гарантирует настоящего счастья. Он спасен лишь потенциально. До самого последнего мгновения его жизни грех может уничтожить результаты крещения. Ад не предначертан ему с определенностью, как Елизавете, старому Берли и другим англичанам, но этот ужасный финал для него возможен и даже вероятен при его нынешнем светском образе жизни. Богатство, почести, военная

слава, лестное внимание короля, комплименты королевской возлюбленной — чего стоят такие пустяки, если сравнивать их с вечным спасением и исполнением Божьей воли на земле?

С такими вот вопросами к себе барон де Маффлие вернулся на родину в первые недели 1598 года. Прибыв в Париж, он сразу отправился к своему исповеднику, доктору Андре Дю Валу, который внимательно выслушал молодого человека и дал ему прочесть книжечку, опубликованную во время его пребывания в Англии. Она называлась «Bref Discours sur l'Abnegation Interieure»*, и автором ее был не кто иной как Пьер де Берюль, молодой священник, изучавший теологию в Сорбонне.

Внутреннее самоотречение! Слова эти явились вовремя, как по волшебству. Франсуа прочел книгу и тут же перечел со страстью. Это был еще один «Варлаам и Иосаф» — но с тем преимуществом, что автор был жив и в Париже. Он сразу разыскал своего однокашника. Берюль принял его с радостью; и с этого времени Франсуа больше не появлялся при дворе, избегал тамошних знакомых. Сознательно и методично он готовился к тому моменту — чувствуя, что этот торжественный момент близок, — когда ему будет велено порвать с прошлым и начать новое существование.

Маленький мир, в который его ввели теперь Берюль и Дю Валь, был поистине необыкновенным обществом, состоявшим по большей части из людей высокого ума, при этом полных религиозного пыла, а порой и наделенных поразительными духовными способностями. Центральной фигурой его была женщина, мадам Акари, к которой почтительно тяготели равно мужчины и женщины, миряне и священнослужители. В девичестве Барб Аврийю, она родилась в 1566 году и в возрасте шестнадцати лет вышла замуж за человека, принадлежавшего, так же,

* «Краткая речь о внутреннем самоотречении» (франц.)

как ее отец, к дворянству мантии. Пьер Акари был из тех непоседливых, предприимчивых дураков, которым непрерывно надо «что-то делать», и по слабости рассудка они всегда предпринимают действия бесполезные или губительные. Большую часть своего крупного состояния он истратил на финансирование мошенников, обладающих даром убеждения. Заядлый политик, он поддерживал Лигу с таким рвением, что после триумфа Генриха IV был смещен с поста, выслан из Парижа и, совершив еще какую-то опрометчивость, чуть не потерял остатки своего имущества и даже жизнь. Сохранностью своей он обязан был неустанным усилиям жены, с которой всегда обращался дурно. Мадам Акари почувствовала призвание к религии лишь в возрасте двадцати двух лет. Читая требник, она наткнулась на фразу: «*Trop est avare a qui Dieu ne suffit*» — слишком алчен тот, для кого Бога недостаточно. Эти слова произвели необыкновенное действие; «словно Бог поразил ее молнией». Она стала другим человеком — таким, который интуитивно знает, что Царствие Божие — внутри, что к непосредственному переживанию присутствия Бога можно приближаться, что долг человека — немедленно устремиться к невообразимой цели: стать «совершенным, как совершенен его Небесный Отец».

К тому времени, когда Франсуа Леклер вернулся из Лондона, Пьер Акари пробыл в изгнании больше трех лет и, временно впад в нищету, вместе с женой и шестью детьми жил у Берюллей. Их дом на улице Паради и, позже, когда денежные дела Пьера Акари несколько поправились, дом Акари сыграли в религиозной жизни Франции ту же роль, какую поколением позже сыграл дворец Рамбуйе в истории французской литературы и французских манер.

Влияние мадам Акари ощущали только ее современники, ибо, в отличие от св. Терезы, с которой ее роднил не только исключительный мистический дар, но и в меньшей степени беспрестанная практическая актив-

ность, она не оставила о себе письменных свидетельств. Мы знаем о ней только по ее биографии (написанной доктором Андре Дю Валем) и по записям тех мужчин и женщин, которые с ней встречались. Из них явствует, что всякий, кто пробыл с мадам Акари хотя бы короткое время, признавал в ней человека, отличавшегося от обыкновенных людей не только качественно, но и по самой природе. Мадам Акари была из числа тех людей, в ком процесс просветления и приближения к святости зашел так далеко, что чисто человеческий элемент у них — всего лишь тонкая психо-физическая оболочка, прикрывающая ядро постоянно реализуемой божественной имманентности.

Некоторые святые очаровывали своих современников; святость мадам Акари внушала скорее благоговейный страх. Св.Франциск Сальский, ее друг и одно время ее исповедник, писал о «бесконечном уважении», которое он питал к ней; и то же испытывали все в присутствии этой исключительной женщины. На тех, кто мало знал о духовной жизни, особое впечатление производили физические явления, сопровождавшие ее мистические состояния, — трансы и экстазы, которые она старалась контролировать и, подобно всем духовным наставникам, и прежним, и нынешним, считала не столько атрибутом благодати, сколько проявлением собственной слабости. (У мадам Акари были и стигматы, но ей удалось скрыть их от окружающих. Факт этот, о котором она поведала всего трем людям, в том числе Берюллю, стал известен только после ее смерти.) В конце восемнадцатого века Барб Акари была причислена к лику блаженных; но неофициально ее святость признавали все и при жизни. Даже профессора богословия, такие как Дю Валь, не могли не ощущать, кто она и что собою представляет. В 1594 году Провидение сыграло что-то вроде шутки, познакомив Дю Валя, схоласта легендарной учености, с мадам Акари. Впервые в жизни этот специалист-теолог оказался в одной комнате с человеком, чье знание предмета было не

только понятийным и интеллектуальным, но и непосредственным, интуитивным. В первые же пять минут он увидел, что в то время, как сам он знает все о Боге, эта женщина знает Бога непосредственно. С замечательным смирением богослов вверил себя духовному руководству неученого мистика, и с этого момента до смерти мадам Акари в 1618 году Дю Валь оставался ее верным учеником и самым доверенным другом.

Среди членов кружка мадам Акари был один монах-капуцин, отец Бенет. Отец Бенет родился в начале 1560-х годов в Канфилде, в графстве Эссекс, и был сыном богатого помещика по фамилии Фитч. Молодым человеком Уильям Фитч отправился в Лондон изучать право. Прочтя однажды контрабандный католический требник, он отказался от рассеянного образа жизни и всерьез обратился к старой религии. Изучать католическую теологию в Англии было невозможно; поэтому новообращенный переправился через Ла-Манш и поступил в английский колледж в городе Дуэ. В 1586 году он надел рясу капуцина и в первые же дни своего послушничества в Париже обнаружил высочайшую духовную одаренность. Его влияние на современников было не меньшим, чем влияние мадам Акари, а возможно, даже большим; ибо, по словам Бремона, Бенет из Канфилда был «учителем учителей», учителем целого поколения праведных мистиков, своей доктриной и примером вызвавших мощное возрождение личной религии, которое вдохнуло новую жизнь во французский католицизм в первой половине семнадцатого века.

Мадам Акари сама была ученицей отца Бенета. Любопытна история их отношений. Эта фраза «*trop est avare a qui Dieu ne suffit*» открыла для мадам Акари Царствие Бога, сущее в ее духе, дотоле скрытое и не узнанное. Переживание благодати было непосильно для ее физического организма; экстазы и трансы стали частыми до неловкости. Свекровь не скрывала горечи и недовольства; муж бурно возмущался. Приглашали врачей, и кровопусканиями они

довели ее чуть ли не до коллапса; местного священника просили вразумить ее, что он и делал, иногда даже на людях. Но все напрасно; мистические переживания у мадам Акари продолжались, и, несмотря на все свои усилия, она по-прежнему периодически впадала в трансы и экстазы. Наконец в 1593 году вызвали отца Бенета. Капуцин, к тому времени уже признанный авторитет в высших духовных вопросах, без колебаний объявил, что эти состояния мадам Акари имеют божественное происхождение; затем он преподавал ей начатки мистической теологии, о которой, ввиду своего обычного религиозного воспитания, она была совершенно не осведомлена. Благодаря отцу Бенету мадам Акари поняла, что с ней происходит, как соотносить себя с предшествующими мистиками, к каким духовным упражнениям прибегать и как подготовиться к приятию благодати.

Берюль был обязан отцу Бенету еще больше, чем мадам Акари. Капуцин преподавал ему не только технику медитации и созерцания, но также полную теорию мистицизма — теорию, которая, как мы увидим в следующей главе, во многих важных отношениях отличалась от традиционной теологии Ареопагита и его последователей, сохранявшей свою силу до времен святого Хуана де ла Крус. Распространение этой теории Берюллем и его школой повлияло на все дальнейшее развитие христианского мистицизма.

Берюль и мадам Акари были самыми влиятельными учениками отца Бенета; но были еще многие и многие, не столь заметные. «Один Бог знает, — писал его биограф-современник, — сколько верующих с помощью его наставлений, донесенных письменно или устно, достигли высоких степеней совершенства».

Этот учитель учителей и открыл Франсуа Леклеру «жизнь в единении». Отец Бенет и в еще большей степени мадам Акари обладали той способностью глубокого проникновения в характеры, какая дается мужчинам и женщинам высокой духовности; для нее есть специаль-

ный термин — различение духов. Есть свидетельства, что мадам Акари могла безошибочно отличать тех, кто обладает даром созерцания, от тех, кто его лишен, и что она считала крайне неразумным навязывать последним мистическое образование. Тот факт, что отец Бенет взялся обучать Франсуа и что мадам Акари против этого не возражала, сам по себе доказывает, что он обладал задатками подлинного мистика. И его биограф обязан разобраться, почему и во имя какого религиозного принципа этот потенциальный Хуан де ла Крус предпочел стать правой рукой кардинала Ришелье.

Мадам Акари, как я уже сказал, была активным мистиком. Дом на улице Паради стал местом встреч для тех — мирян и монахов, — кто интересовался реформами существующих монашеских орденов и созданием новых религиозных братств. В то же время он был штабом очень эффективной благотворительной организации. Пожертвования поступали из самых неожиданных источников. Король, например, всякий раз, когда садился играть по-крупному, стремясь умиловить Всемогущего и задобрить богиню удачи, посылал несколько ливров мадам Акари на ее благие дела. Добровольные помощники распределяли собранные деньги и усердно посещали бедных, больных и заключенных. Труд этот был не из легких и не из приятных. Париж в начале семнадцатого века был разросшимся средневековым городом, лишенным канализации, не знавшим метлы, заразным и озверелым от скученности. Больницы напоминали покойницкие, а тюрьмы представляли собой ад на земле. В этом-то жутком Париже нищих и уголовников молодой барон де Маффлие начал новый курс своего образования в качестве одного из помощников мадам Акари. Он уже изведал вкус наук, путешествий, придворной жизни, войны и дипломатии. Теперь под руководством отца Бенета и мадам Акари он получил опыт божественного просветления, с одной стороны, и познал мрак человеческого несчастья и порочности — с другой.

Через несколько месяцев неофициальное послушничество Франсуа Леклера было прервано любопытным эпизодом. Тайно, никому не сказав, он покинул дом и стремительно направился на юг. Целью путешествия был монастырь Гранд Шартрез в холмах над Греноблем. Не по совету ли Дю Валя, отца Бенета или мадам Акари решил молодой человек стать картезианским монахом? В этом можно сомневаться. Средневековая имитация раннего египетского монашества, выстроенная святым Бруно, просуществовала почти без изменений несколько веков, «никогда не реформируясь, потому что никогда не деформировалась», — почтенный институт, но уже несколько отставший от жизни в этот век, когда энергично модернизировались старые религиозные организации и создавалось множество новых. Друзья из кружка мадам Акари, наверное, посоветовали бы ему вступить в какой-нибудь другой орден, поновее картезианского. Выбор молодого человека отчасти, вероятно, предопределен был детским впечатлением от визита в парижский монастырь картезианцев; отчасти, можно предположить, — тем, что, приняв постриг у картезианцев, он совершил бы акт самоотрицания, наиболее полного, какое было ему доступно. Это не значит, что картезианский устав был суровее всех остальных. Капуцины, если взять только один пример, обращались со своими телами с неменьшей суровостью. Но капуцины были активны, а не только созерцательны, тогда как картезианцы жили затворниками и почти в полном молчании. Такому человеку, как Франсуа Леклер, с его бурным темпераментом и деятельным умом, этот уход от мира людей должен был представляться окончательным и абсолютным принесением в жертву собственного «я». Ребенок, который просил отправить его в закрытую школу, боясь, что мать сделает из него неженку, стал теперь молодым человеком, стремящимся к затворнической жизни и вынужденной бездеятельности — стремящимся именно потому, что знал: вынести это ему будет труднее всего.

Итак, он отправился, твердо решив принести в жертву все свои склонности; но по дороге случилось нечто, изменившее его намерения. Он услышал внутренний голос, велевший ему немедленно вернуться в Париж и не идти в монастырь, не получив сперва согласия матери. Он повиновался. Святой Бруно потерял монаха, зато его приобрел святой Франциск, а кардинал Ришелье — государственного секретаря по иностранным делам.

Как и предвидел Франсуа, когда покидал дом, не предупредив даже мать, мадам Леклер не собиралась помогать своему старшему сыну уйти из мира, где он вполне мог рассчитывать на блестящую военную или административную карьеру. Больше того: она давно вела переговоры о богатой невесте, и девушка была ей практически обещана. С приданным Франсуа мог восстановить благосостояние семьи, сильно пошатнувшееся после смерти господина дю Трамбле, мог купить хорошее место для младшего брата и позаботиться о том, чтобы его сестра нашла приличного мужа. Не говоря уже о том, сколько возможностей открывали деньги для него самого. А теперь он намерен от всего этого отказаться и уйти в монастырь. Безрассудство! И после всего, что она для него сделала, — какая неблагодарность! Несколько месяцев после его возвращения из Невера она упрямо пыталась заставить его отказаться от своего плана; молодой человек так же упрямо его защищал. В результате, разрываясь между сыновьей преданностью и призванием, он заболел. Болезнь тянулась, ему становилось все хуже, покуда наконец родительская любовь у мадам Леклер не взяла верх над честолюбием. Неохотно и с оговорками она пошла на компромисс. Она позволит ему уйти в монастырь при условии, что он выберет такой орден, где устав позволит им по-прежнему видеться. Таким образом душевный конфликт был устранен, и Франсуа сразу стал поправляться. После некоторых колебаний он остановился на ордене капуцинов. Обратились к отцу Бенету из Канфила, блю-

тителю капуцинского монастыря на улице Сент-Оноре, и Франсуа с письменным распоряжением был отправлен в обитель послушников в Орлеане. Как и в прошлый раз, он покинул Париж тайно; но теперь уже не вернулся. Второго февраля 1595 года он надел рясу францисканского послушника.

То, что он поступил мудро, не попрощавшись с матерью перед отбытием, подтвердилось очень скоро, когда мадам Леклер появилась перед воротами монастыря в сопровождении важного судебного чина и с королевской грамотой, повелевавшей капуцинам вернуть ей сына. Произошел последний долгий спор. Мать бушевала; сын отвечал мягко, но с непоколебимой решимостью. Она заявила, что на самом деле никогда не давала согласия, что он беглец, а монахи — не лучше похитителей, что он пренебрегает священными обязанностями, обрекая брата и сестру на нищету, а ей разрывает сердце. Франсуа отвечал, что его призвал Бог и что будет грехом послушаться этого зова. Он говорил с такой трогательной искренностью, что мадам Леклер дрогнула и в конце концов расплакалась. Она дала ему свое благословение, сожгла королевский приказ и уступила сына Церкви. Из непримиримого противника его планов мадам Леклер превратилась отныне в самого горячего сторонника. Для нее эта беседа оказалась чем-то вроде обращения. От светской жизни она ушла в набожность, в которой сын укреплял ее долгими и многочисленными духовными наставлениями; она посвятила себя богоугодным делам. Наградой ей в этом мире было то, что она увидела при жизни восхождение отца Жозефа к таким высотам карьеры, о каких она и мечтать не могла бы, останься он бароном де Маффлие.

Здесь, я думаю, не будет неуместно дать краткое описание ордена, в чьих рядах бывший барон бесповоротно решил провести остаток жизни. История францисканства — это история продолжительной борьбы между набожной житейской мудростью, с одной стороны, и бескомпромисс-

ным первоначальным христианством, с другой. Сам Франциск олицетворял первоначальное христианство; его приемник брат Илия — житейскую мудрость. В первых поколениях францисканства противостояли друг другу партия «умеренных» и партия «ревностных» или «спиритуалов»; но со временем названия переменились. В последующие века житейскую мудрость представляли «конвентуалы», а на другом фланге стояли «обсерванты», названные так потому, что они пытались, пусть и со значительными отступлениями, соблюдать первоначальный устав святого Франциска. Обычай и наконец папская власть стабилизировали положение этих двух ветвей францисканства, однако с Контрреформацией в Церкви возникла новая тяга к реформам. У францисканцев эти реформы представлены алкантиринами, реколлетами, реформатами и, наконец, капуцинами. Орден капуцинов возник в Италии в 1520 году, был узаконен папской буллой в 1538-м, и дела у него шли неплохо, пока его третий викарий, Бернардино Окино, не перешел в кальвинизм. В 1543 году он бежал сперва в Женеву, затем в Англию, где стал пребендарием в Кентербери и написал нечто вроде космической аллегии, где Люцифер воспитывает папу как Антихриста и лишь провиденциальное явление Генриха VIII кладет конец его махинациям. Естественно, новый орден пострадал от эскапад своего викария, и одно время поговаривали даже о том, что его распустят. Тем не менее он уцелел и был восстановлен в своих привилегиях. Через несколько лет он стал, наряду с Обществом Иисусовым, самым мощным орудием в арсенале Церкви. Из всех францисканских орденов капуцины по образу жизни больше всего приближались к первоначальному уставу св. Франциска. Правило, предписывающее бедность, строго соблюдалось. Ни открыто, ни тайно, посредством ухищрений, монастыри не могли владеть какой бы то ни было собственностью. Нужды их обитателей удовлетворялись исключительно за счет подаяний, и монастырю не разрешалось создавать запасы больше, чем на несколько

дней. Ни один монах не имел права пользоваться деньгами и даже держать их в руках. (В дипломатических миссиях, представляя короля, отец Жозеф, как мы увидим, получал специальное разрешение на этот счет, хотя и с большой неохотой.) Ряса у капуцинов была из грубой серой материи и менялась так редко, что большинство монахов были всегда грязны и оборваны. К тяготам бедности добавлялись тяготы строгой дисциплины. Посты у капуцинов были многочисленны, епитимии — суровы. Ночные службы сокращали время сна. Помимо церковных служб, два часа отводились для молитвы в уединении.

Вне стен монастыря жизнь монахов была заполнена непрерывной деятельностью. Работа их была — проповедовать, спасать души и помогать бедным. За границей, среди неверных, и дома, среди еретиков и «либертинов», капуцины в тот период были выдающимися миссионерами и обращали многих. Там, где остывал католический дух, они его активно возрождали. Но помощь их не ограничивалась исключительно духовной. Они усердно трудились, чтобы облегчить хронические несчастья бедных, и где бы ни разразилась катастрофа, они всегда появлялись там — как санитары-носильщики в армиях, как заступники побежденных, как братья милосердия и могильщики во время эпидемий; шли на помощь людям в краях, охваченных голодом. Отмечалось, что между 1500-м и 1600-м годами отношение народа к черному духовенству решительно изменилось. До этого монахи вызывали гневное возмущение или же над ними насмехались. И отношение это стало уже традиционным. Ярость первых реформаторов сродни ярости автора «Видения о Петре Пахаре»; веселое презрение, которым пронизаны «Письма темных людей», в сущности, то же, что у Боккаччо и Чосера. Реформация породила Контрреформацию. К концу шестнадцатого века нищенствующий монах в народном представлении — уже не развратный и алчный инкуб, изображенный в «Декамероне» и «Кентерберийских рассказах».

Это новый образцовый капуцин, человек, который, исполняя свои обеты, делит с бедными их тяготы и всегда готов придти на помощь в беде. Бескорыстие и деятельная доброта оказывают необыкновенное влияние на человеческие умы и являются источниками особой, непринуждающей власти. В первые пятьдесят лет своего существования капуцины вполне заслужили это влияние и эту власть. Одна из трагедий истории в том, что правители церкви и государства повсюду эксплуатировали эту нравственную силу для достижения своих, вообще говоря, зловещих целей. Зло, обуздавшее энергию, рожденную добротой, — одна из главных и самых трагических тем в истории человечества.

Аскетизм, добровольная бедность, прозрачность сотрудничества, а не покровительство — эти характеристики снискали капуцинам уважение и любовь народа. И по тем же самым причинам орден так сильно привлекал определенного типа людей из высших слоев общества. Франсуа Леклер был отнюдь не единственным нищенствующим монахом из дворян. В орден вступили и продолжали вступать многие аристократы и даже люди королевской крови. Привлекало их именно то, что, казалось бы, должно отталкивать, — крайняя суровость устава, евангельская бедность, близость к сирым и убогим. Из тех, кто родился в рубашке, большинство озабочено только одним — сохранить и по возможности приумножить свои привилегии. Но во все времена было и меньшинство — мужчины и женщины, в которых обладание привилегиями пробуждало дремлющий героизм, подталкивая к уходу от мира. Глубинным мотивом является иногда подлинная любовь к Богу, но чаще — своего рода гордость. Привилегированный человек хочет доказать, что сам по себе чего-то стоит и что без банковского счета и положения в обществе может обойти в гонке всех участников, даже если начнет с нуля. Благородное поведение, начавшись с гордости, может гордостью и поддерживаться, так что окончательное

состояние героя будет немногим лучше начального. С другой стороны, бывает так, что благородные поступки, продиктованные гордостью, изменяют человека и под конец жизни он фундаментально и в лучшую сторону отличается от того, кем был вначале. Великодушие подвержено моде, и возможности проявить героизм меняются от века к веку. Так, в последнее время молодые люди, обремененные привилегиями, искали героического аскетизма в политике, спорте или в науке. Они присоединялись к непопулярным политическим движениям, становились альпинистами или охотниками на крупную дичь, сражались с болезнями, шли добровольцами на чужие войны. В прежние века войны и географические исследования также представляли возможность привилегированным проявить героизм и самоотречение; но в общественном мнении эти возможности стояли ниже тех, что предлагала организованная религия. «Это солдатская жизнь, — писал Франсуа своей матери вскоре после ухода в монастырь, — но с одной разницей: солдаты принимают смерть на службе у людей, тогда как мы надеемся на жизнь в служении Богу». Для двойника Франсуа Леклера в современном мире эквивалентом пострига было бы вступление в коммунистическую партию или участие в гражданской войне в Испании. Но эквивалентом неполным, ибо жизнь капуцинов была не просто солдатской жизнью, но солдатской жизнью с одним дополнительным измерением — измерением вечности. Именно это дополнительное измерение придает некоторым биографиям прежних времен особую пронзительность. Даже в самых бесцветных жизнеописаниях этих людей проглядывает глубина и напряженность смысла, отличающие необыкновенную католическую фантазию Клоделя «Le Soulier de Satin»*. Возьмем, к примеру, биографию отца Анжа, который совершал церемонию приема нашего молодого послушника в орден капуцинов.

* «Атласная туфля» (франц.)

Подобно будущему отцу Жозефу, отец Анж был дворянином и происходил из рода несравненно более знаменитого, чем Леклеры. До ухода в монастырь он звался Анри де Жуайезом, графом де Бушаж. Один из его братьев был кардиналом и поочередно архиепископом Тулузы, Нарбонна и Руана. Другой брат, Анн де Жуайез, погиб под Кутра в 1587 году, ведя войска Лиги против Генриха Наваррского. К моменту своей смерти он был адмиралом Франции, герцогом и пэром, губернатором Нормандии и, будучи женат на Маргарите Лотарингской, приходился зятем королеве Луизе, жене своего повелителя и преданного друга Генриха III. Еще один брат, Антуан Сципион, был губернатором Лангедока. Эти фамильные связи, поддержка шурина, герцога Эпернонского, казалось бы, гарантировали молодому Анри де Жуайезу блестящую карьеру. Но в 1587 году умерла его жена, и несколько дней спустя он осуществил то, о чем думал еще в пору своих наибольших придворных успехов, — он стал капуцином. Письмо на этот счет, посланное Генрихом III провинциалу ордена, сохранилось. «Отец мой, — писал он, — я знаю, что вы меня любите. Я бесконечно благодарен вам за это; но, чтобы обязать меня еще больше и доставить мне громадное удовольствие, позвольте просить вас, чтобы ни ныне, ни в будущем (поскольку я уверен, что вы не откажете в столь справедливой просьбе) брат Анж, который дорог мне не меньше, чем я сам или мой ребенок, не удалялся из монастыря в Париже; и я умоляю вас от всего сердца, доставить мне ни с чем не сравнимую радость: позволить мне по-прежнему видаться с ним, дабы я мог вверить себя его молитвам». Провинциал без сомнения повиновался; но несчастный король недолго мог вверять себя молитвам друга. Через год после этого письма герцог де Гиз был убит в Блуа; не прошло еще и года, как Священная лига совершила месть, и последний король из династии Валуа лежал мертвым, с ножом монаха Клемана в животе. Его любимец тем временем счастливо просил подаяния, проповедовал, ухаживал за больными и

обучался искусству созерцательной молитвы у отца Бенета из Канфилда.

В той мере, в какой капуцины вмешивались в политику, они выступали тогда на стороне Лиги против нового и еще не католического короля. В качестве представителя знатного рода, связанного с Лигой, отец Анж в 1592 году был направлен со странной политической миссией в Прованс, Лионне и Лангедок. Ему предстояло склонить губернаторов южных провинций (состоявших с ним в более или менее близком родстве) к образованию новой политической федерации, независимой от остальной Франции и подвластной папе. Переговоры, длившиеся несколько месяцев, убедили его в том, что этот план неосуществим; тут пришло известие, что его брат, губернатор Лангедока, погиб в неудачной операции против королевских войск. Антуан Сципион был последним из Жуайезов-мирян. Оставшиеся два брата — кардинал и капуцин — для военной службы не годились. Но люди требовали, чтобы их возглавил один из Жуайезов. Управление капуцинов в Тулузе окружила громадная толпа, выкрикивавшая: «Хотим отца Анжа, хотим отца Анжа», — и (штрих, настолько характерный для психологии толпы, что кажется шекспировским) угрожавшая сжечь монастырь, если его не отпустят. Проконсультировались с Римом, получили разрешение; и наконец настал день торжественной церемонии, когда кардинал де Жуайез принял своего брата, одетого во все черное в знак траурной смены жизненной стези, и при большом стечении народа опоясал его шпагой, от которой тот отказался пять лет назад. Отец Анж превратился в герцога де Жуайеза и губернатора Лангедока. Несколько лет он управлял своей провинцией и сражался против Генриха IV. Но после того, как Генрих перешел в католичество и Франция умиротворилась под властью католического монарха, существование Лиги потеряло смысл. Как и другие губернаторы провинций, герцог де Жуайез помирился с королем. Генрих IV, умевший выбирать слуг и со-

трудников, сохранил за ним все титулы и поместья и сделал его маршалом Франции. Народный шум извлек отца Анжа из монастыря, и теперь казалось, что королевская милость удержит его от возвращения. Но траурное платье, надетое им в 1592 году, было эмблемой подлинного сожаления; да и друзья его в монастыре на улице Сент-Оноре не сидели сложа руки. «Где экстатическая жизнь в единении, — спрашивал его в страстном письме отец Бенет из Канфилда, — где грубая ряса, толстый шнур, заплатанный плащ, где посты, епитимии, хлеб и вода трапез, смиренное целование земли и уборка дома? Зеркало Франции не покрылось ли пятнами? Не бежал ли он с поля битвы, этот доблестный полководец Младших братьев? Не убит ли он, дитя Святого Франциска и ангельского устава? Неужели умер отец Анж? Я печалюсь о тебе, мой брат Ионафан...

А что снаружи этого письма я величаю тебя де Жуайезом, а внутри называю моим братом, — тому не удивляйся; ибо только вовне и снаружи ты де Жуайез, а внутри ты — брат Анж. И не только должно быть тебе братом Анжем, но и не можешь ты быть никем иным, даже с разрешения Папы».

Истинно говорил отец Бенет: отведавши однажды «экстатической жизни в единении», Анри де Жуайез уже не мог быть никем, кроме как Братом Ангелом. После семи лет губернаторства, командования войсками герцог и придворный вернулся в орден. Это было в 1599 году, в год послушничества Франсуа Леклера. В 1600-м, как мы уже видели, он снова был отцом Анжем и посвящал в монашеский сан того, кто отныне звался отцом Жозефом.

Глава 3

Религиозный фон

В том, что касалось личной веры, отец Жозеф до конца дней оставался верным учеником Бенета из Канфилда. Если мы хотим понять ученика, то должны узнать учение наставника. Но чтобы оценить его учение верно, сперва следует познакомиться с той мистической традицией, на которой оно основано и от которой существенно отклоняется.

В литературной форме эта мистическая традиция впервые встречается в Упанишадах, самые ранние из которых принято датировать примерно восьмым веком до нашей эры. В священном писании индуизма мы находим метафизическую теорию вселенной и отношения к ней человека. Суть теории выражена фразой: *Tat tvam asi*, ты еси то. Высшая реальность одновременно и трансцендентна и имманентна. Бог — творец и хранитель мира; но царство Бога — также и внутри нас как некое особое сознание, лежащее в основе обычного, обыденного индивидуального сознания, но с ним не соизмеримое; качественно отличное, но все же достижимое для каждого, кто готов «потерять свою жизнь, чтобы ее обрести». Такая метафизика была попыткой дать отчет о конкретном виде непосредственного опыта, и в Индии ее всегда преподавали вместе с конкретными техническими инструкциями, обучающими этическим и психологическим приемам, с помо-

щью которых человек может такой опыт стяжать или, говоря языком самой этой метафизики, осознать Брахман, то есть скрытую в человеке высшую реальность.

Ранний буддизм эту метафизику не одобрил и не отверг, а попросту оставил в стороне, считая ее бессмысленной и необязательной. Важен был для ранних буддистов тот непосредственный опыт, который, из-за его воздействия на жизнь человека, стали называть «освобождением» или «просветлением». Можно сказать, что Будда и его ученики Южной школы применили к религиозным проблемам ту «философию операционализма», которую современные философы начали применять к естественным наукам. «Понятие, — пишет профессор Бриджмен в книге "Логика современной физики", — есть синоним соответствующего набора операций». «Вопрос имеет смысл, если можно найти операции, с помощью которых можно получить ответ». Утверждения, не поддающиеся операционной проверке, не истинны и не ложны, а лишены смысла. Последовательным операционалистом Будду назвать нельзя, поскольку он, судя по всему, опирался, как на некую самоочевидность, на один из вариантов распространенной в Индии теории метемпсихоза. Но когда дело доходило до мистики, он превращался в законченного операционалиста. Он отказывался делать какие бы то ни было утверждения о природе высшей реальности, поскольку не считал, что соответствующий набор мистических операций допускает богословскую интерпретацию. Он полагал, что мистические операции дают удовлетворительный ответ на такие психологические вопросы, как «Что такое освобождение?» или «Что такое просветление?» Но они, по его мнению, не дают удовлетворительного ответа на вопросы «Что такое Брахман?» или «Что такое Бог?»

Христианство опиралось на метафизическую систему, составленную из нескольких уже имевшихся и взаимно несовместимых систем. Для Иисуса было данностью

бытие ветхозаветного личного божества; но при этом он, по-видимому, знал и чисто мистический подход к царству Божию, непосредственно переживаемому в душе. Оба эти элемента: и традиционно иудейский, и мистический, с акцентом на непосредственном опыте, — вошли и в учение св. Павла, наряду с другими элементами, вошедшими в христианскую теологию. О мистицизме в ранней Церкви мы знаем мало. Такие психофизические феномены, как транс, глоссолалия, видения и откровения, у ранних христиан были обычны и высоко ценились. Обычно они встречаются у людей, религия которых — прямая противоположность мистической; но, с другой стороны, есть достоверные данные, что иногда они встречаются и как побочное следствие подлинного мистического опыта. Вероятно, мы не очень ошибемся, если предположим, что в ранней Церкви было много сектантских радений и мало мистического созерцания. К четвертому веку, как свидетельствует Кассиан, у отшельников и киновитов египетской пустыни сложились четкая мистическая философия и техника. Беседы Кассиана с египетскими отцами были известны средневековым созерцателям и повлияли на их теории, образ жизни и молитвенные приемы. Но намного большее влияние имела «Исповедь» Августина, поскольку он был и превосходным писателем и глубоким богословом. До того как стать христианином, Августин был учеником Плотина и, стремясь к единению с Богом, стремился соединиться с тем неоплатоническим «неизменным», которое есть основа и источник всех личных манифестаций божества. Плотина интересовала восточная мысль, и в молодости он отправился с императором Гордианом в поход на Восток, чтобы из первых рук собрать сведения о персидской и индийской философии. Его единая, высшая реальность, постичь которую можно лишь в прямом мистическом опыте, очень похожа на Брахман, который есть Атман, Һа То, которое одновременно есть Ты. В течение четвертого и пятого веков неоплатонизм, а

вместе с ним — через многоступенчатое посредничество — и самые ценные элементы индуизма, влились в христианство и стали, наряду с другими разнородными элементами, частью его теории и практики. Св. Августин, как мы видели, сыграл важную роль в христианизации восточного мистицизма. Еще важнее оказалась роль, сыгранная неизвестным сирийским монахом пятого века, который, чтобы обеспечить своим сочинениям максимально широкую аудиторию, выпустил их под именем Дионисия Ареопагита, первого афинянина, обращенного св. Павлом в христианство. Благочестивая подделка имела огромный успех. Дионисия Ареопагита, благодаря его почти апостольскому рангу, читали с благоговейным вниманием. В одних отношениях это было хорошо, в других — нет, поскольку его книги очень неравноценны. Два трактата нельзя поставить ему в заслугу: один о небесной, другой — о церковной иерархии. Первый помог обосновать идолопоклоннический политеизм, в который всегда рисковало выродиться массовое христианство; второй сыграл не очень благотворную политическую роль, поскольку в нем утверждалось божественное происхождение земной церковной организации. Поставить же Ареопагиту в заслугу нужно две весьма примечательных книги: «О божественных именах» и «О таинственном богословии». Пользуясь неоплатоническим философским материалом и опираясь на собственный непосредственный опыт, их автор продолжает мистическую традицию в ее самой строгой, ведической, форме. Переведенные на латынь в девятом веке Скоттом Эуригеной, обе книги широко читались на протяжении всего Средневековья и оказывали необычайно сильное влияние. Опираясь на теологию и психологию Ареопагита, средневековые мистики разрабатывали соответствующие этим теориям операции, которые всегда приводили, где бы созерцание ни практиковалось — в Индии, в египетской пустыне, среди суфиев, — к однотипной философии. В созданной этими созерцателями литерату-

ре можно прочесть описание подобных операций и добытых с их помощью духовных открытий.

Бенет из Канфилда был образованным человеком и читал не только Ареопагита, но и всех главных мистиков Средневековья и шестнадцатого века, для которых сочинения Псевдо-Дионисия служили одновременно и источником вдохновения, и гарантией правоты. Художник рождается с каким-то талантом, свойственным лишь ему; но в ход пускает этот талант внутри наличной художественной традиции. Так же обстоит дело и с мистиком: его религиозную жизнь определяет взаимодействие между врожденными духовными склонностями и традицией, внутри которой он размышляет и трудится. Какой же была природа той традиции — одновременно философской, этической и психологической, — в которой был воспитан отец Бенет? Чтобы ответить на этот вопрос, я вкратце изложу книжку, которую можно назвать одним из прекраснейших цветов средневековой мистической литературы. Сочинение неизвестного английского автора четырнадцатого века, «Облако неведения», — и глубоко оригинальное, и вполне типическое произведение. Его автором был человек, сочетавший высокие духовные дарования и замечательный литературный и философский талант с глубокими познаниями в традиции и любовью к ней. В этой небольшой книжке изложена суть всей средневековой эволюции Псевдо-Дионисиевого мистицизма, но в то же время, по словам современного католического писателя, отца Джона Чэпмена, «в ней за два века до Хуана де ла Крус высказана суть его взглядов».

Знакомство отца Бенета с этой книгой сомнений не вызывает; в прекрасном комментарии к «Облаку» отец Огастин Бейкер, английский бенедиктинец и богослов-мистик, современник отца Жозефа, сообщает, что его рукописный экземпляр этой книги «происходит из личной библиотеки отца Бенета Фитча, нашего соотечественника, капуцина, автора книги "Воля Божья", и после его

смерти был найден среди других книг его библиотеки». Свое место там эта книга заслужила в полной мере!

Основная идея книги отражена в названии. «Облако неведения» — то же самое, что Ареопагит называет «пресветлый мрак», непроницаемая тайна инакости Бога. Высшая реальность несоизмерима с кажимостью и несовершенством нашего мира; поэтому ее нельзя постичь посредством операций интеллекта: операции интеллекта подчинены языку, а наш словарь и синтаксис предназначены именно для той кажимости и несовершенства, с которыми Бог несоизмерим. Высшую реальность можно постичь только интуитивно, актом воли и эмоциями. Тезис «Plus diligitur quam intelligitur»* — общее место схоластической философии. «Любовь может достичь большего, чем разумение; ибо любовь проникает туда, куда науке путь закрыт. Мы любим Бога в Его сущности, но в Его сущности мы его не видим».

Для автора «Облака» метафизические спекуляции не имеют большого значения. Ему, как и Будде, размышления о проблемах, на которые не способна ответить облеченная в слова мысль, представлялись тратой времени и помехой на духовном пути. Не склонен он и ссылаться на чужие мнения. «Некогда считалось смирением ничего не говорить по собственному измышлению, не приводя в подтверждение Писание и слова учителей; ныне это обратилось в любознание и щегольство ученостью». Имея такие взгляды на эрудицию и аргументацию, он оставляет без разъяснений детали той философской системы, на которой основан его практический мистицизм. Но из всей его книги ясно, что он разделяет общепринятое у тогдашних богословов-мистиков представление об отношениях Бога и человека. Согласно этому представлению, в душе существует нечто, именуемое то «синдересис», то «искорка», то «основа души», то «вершина высшей воли». О бо-

* (Бога) скорее любят, нежели понимают (лат.)

жественной части у себя внутри люди чаще всего не знают, поскольку их внимание целиком сосредоточено на желательных и нежелательных объектах. Но если они решат «умереть для себя», то могут осознать божественную часть в себе и в ней обрести опыт Бога. Для тех, кто к этому стремится и готов выполнить необходимые условия, трансцендентное может стать в известном смысле имманентным — внутри искорки, на вершине высшей воли.

Эта теория отмечена близким семейным сходством с исконными принципами индийской мысли. Но если восточные мистики всегда смело утверждали полное тождество между «искоркой» и самим Богом, то христиане заняли в целом более осторожную позицию. «Ты еси То», — говорили индусы; у Атмана и Брахмана — единая сущность. Суфийский мистик мог сказать: «Я шел от Бога к Богу, пока они не воскликнули во мне — "О, ты еси я"». Для христианских мыслителей творение и Творец несоизмеримы, и из возможности единения с Богом не следует сущностное тождество «искорки» и того, с чем она соединена. Правда, в иных утверждениях немецких и поздних фламандских мистиков слышна отчетливо индийская нота; но именно по этой причине такие авторы, как Экхарт, и вызывали подозрения у церковных властей. С этой точки зрения автор «Облака» строго ортодоксален. Душа человека может быть «едина с Богом»; но не потому, что обладает с Богом единой сущностью. «Единственно по Его милости без твоей заслуги ты соделан богом по благодати, единым с Ним в духе, без разделения, и здесь, и в блаженстве небес, им же не будет конца. Поэтому хотя ты и будешь всецело един с Ним по благодати, но ты все же вполне ниже Его по природе». В здешней жизни это «единение» божественности с искоркой в душе полным быть не может. Полное узрение Бога отложено для вечности — более того, оно в известном смысле и есть вечность. Так как душа «бессмертна в той мере, в какой она способна сподобиться узрения Бога». *Ut beatificabilis, est immortalis.* Оставаясь во плоти, люди

слишком слабы, чтобы полнота встречи с Богом не привела к увечью или смерти. По словам кардинала Берюлля, «Бог бесконечно вождеден и бесконечно невместим. И когда Ему угодно явиться твари, не умалив себя до твари, тварное существо не может Его вместить и чувствует, что поглощено, уничтожено Его бесконечной силой». Равным образом и индусы утверждают, что избыточная доза samadhī фатальна для человеческого тела.

Такова, вкратце, метафизическая система, лежащая в основе «Облака». Общепринятые теории наш автор перенимает без рассуждений. Его интересует нечто иное — те факты эмпирического опыта, которые некогда потребовали создания подобных теорий, и те средства, с помощью которых эти факты может воспроизвести у себя в душе стремящийся к встрече с Богом человек. Его книга имеет философский характер лишь изредка и неявно; явно же — это учебник мистической практики, руководство на жизненном пути, пути духовного совершенствования.

Автор «Облака» предваряет книгу настоящим указанием: «кто бы ты ни был, кому в руки попадет эта книга... не читай ее, не переписывай ее, не произноси ее и не соглашайся, чтобы ее читал, переписывал или произносил никто иной и никому иному, если читатель или слушатель не будет таков, чтобы ты знал про него, что он в истинной воле и от всего сердца вознамерился стать совершенным последователем Христа». Причина указания проста. «Облако» — книга для тех, кто уже прошел большую часть пути мистического образования. Она не для начинающих. Конечно, «делание этой книги», как называет сам автор искусство мистического единения с Богом, необходимо для всех, а не только для избранных. «В отсутствие этого делания человек ниспадает все глубже и глубже в грех и все дальше и дальше от Бога». Поэтому заповедь «будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный», обязательна для всякого человека. «Что бы кто ни говорил, всякого христианина исповедание веры у кре-

щальной купели облекло долгом изучать и практиковать мистическую теологию». Так писал, продолжая почтенную и ортодоксальную традицию, монах-кармелит отец Леон Сен-Жан, выдающийся современник нашего отца Жозефа. Но, как и ко всем прочим теоретическим и практическим занятиям, приступать к мистической теологии нужно с самого начала. А начало — это длительный процесс нравственного совершенствования, словесной медитации и упражнения воли. Именно поэтому мистиков так немного; ведь большинство людей — Микоберы, благодушно уверенные в том, что рано или поздно что-нибудь или кто-нибудь появится и избавит их от забот, от которых, если смотреть на вещи трезво, спасти их могут только собственные усилия. Званных много, в данном случае званы все; но мало избранных — по той причине, что избирают они себя сами.

Автор «Облака» исходит из предпосылки, что читатель уже сделал первые шаги и всерьез решился стать «совершенным последователем Христа». Такому читателю он и предлагает делание, подобающее второй, или высшей, ступени созерцательной жизни. Делание это заключается в овладении искусством любви к Богу, каков Он Сам по Себе, и ради Него самого — а не к тому, что верующий может от Него получить и каким Он становится, пройдя сквозь призму человеческой личности. «Обрати твое сердце к Богу со слепым волнением любви; и помышляй не о Его благах, но о Нем». «Волнения любви» должны быть слепы, ибо если Бога следует встречать таким, каков Он в Себе, то любовь к Нему должна быть чистым актом воли, не ослабленным рассуждениями. Нужно отбросить тщетные и отвлекающие попытки понять недоступное пониманию. Делание созерцателя заключается в том, чтобы выучиться отрешению от всего тварного, прежде всего — от собственных эмоций, желаний, воспоминаний и мыслей. «Поправ их под облаком забвения», он должен стучаться «нагим намерением», «слепым вол-

нением любви» в «темное облако неведения», которым Бог, каков Он в Себе, навеки скрыт от человеческих глаз. Если он стучится в облако с нужной настойчивостью, если «стрела его жаждущей любви» достаточно остра, если отделяющее эту любовь от его собственной личности «облако забвения» достаточно непроницаемо, то созерцатель может узреть Бога, если и не лицом к лицу, то все же менее смутно, чем вначале. Вот предел надежд активного созерцания. Но иногда, утверждают наш автор и другие мистики, активное созерцание уступает место пассивному, когда деятелен только Бог, а верующий — не более чем орудие, которым Он пользуется в божественных целях. В таких случаях Бог «посылает луч духовного света, пронзающий облако неведения, которым ты от Него отделен». Это — акт благодати, нисколько не зависящий от усилий самого созерцателя; поэтому, считают мистики, о пассивном созерцании положительно можно сказать лишь одно: оно иногда случается. (Можно заметить, что деление созерцания на активное и пассивное соответствует принятому у индийских писателей делению samadhi на низший и высший уровень. Мистические теории, на каком бы языке и в какую бы эпоху они ни формулировались, основаны на эмпирических фактах мистического опыта. Так что не следует удивляться, если у этих теорий обнаруживается принципиальное структурное подобие.)

Самость — это тяжелая, тусклая призма, поглощающая свет реальности почти целиком, а его ничтожный остаток искажающая. Ветхий Адам не может видеть Бога, каков Он Сам по Себе. Поэтому начинающий созерцатель должен избавиться от самости. Автор «Облака» предполагает, что его читатель уже добился достаточного господства над страстями и научился в своих медитациях изгонять рассуждающий, аналитический интеллект из той сферы, где его действие лишь препятствует непосредственному опыту реальности. Но «я» состоит не только из страстей и рассудка; существует и обширная душевная

область, которую мистические писатели чаще всего называют «отвлечения», — область, редко затрагиваемая обычными моралистами и потому заслуживающая более подробного описания. Мистики уподобляли отвлечения клубам пыли, рою мух, корчам укушенной скорпионом обезьяны. Общая тема всех сравнений — бессмысленная активность. Именно это — самая интересная и важная черта отвлечений. Страсти по своей сущности целенаправленны, а связанные со страстями мысли, эмоции, фантазии всегда имеют какое-то отношение либо к реальным или мнимым целям, либо к средствам, которыми эти цели достигаются. С отвлечениями дело обстоит совершенно иначе. Самую их суть составляют никчемность и бесцельность. Чтобы увидеть, до какой степени они никчемны и бесцельны, нужно всего лишь сесть и попробовать сосредоточиться. Вполне вероятно, что на поверхность сознания всплывут заботы, связанные со страстями, но вместе с ними поднимется и мутная пена разнородных воспоминаний, представлений и фантазий — детские воспоминания о бабушкином скайтерьере; французское название белены; проект перехвата зажигательных бомб в воздухе, — одним словом, всевозможная чепуха и глупости. Тезис психоанализа, что у всех подсознательных ассоциаций якобы есть глубокий, отсылающий к нашим страстям смысл, не выдерживает проверки фактами. Достаточно понаблюдать за собой и за другими, чтобы понять, что человек настолько же не сводим к рабству у своих страстей и биологических инстинктов, насколько не сводим к разуму. Мы подчинены еще и сложному психофизическому механизму, непрерывно работающему и вбрасывающему в сознание фрагменты бесконечной серии перестановок и комбинаций, которые он производит в процессе своего хаотического функционирования. Эти перестановки и комбинации психических элементов не имеют никакого отношения ни к нашим страстям, ни к работе рассудка; это попросту пустяки — отходы психофи-

зической деятельности. Конечно, страсти могут воспользоваться этими пустяками в собственных целях — наш внутренний ветхий Адам, пытаясь свести на нет творческие усилия высшей воли, может воздвигнуть преграду из вообще-то никчемных отвлечений. Но даже и не становясь орудием страстей, даже сами по себе, отвлечения — серьезнейшая помеха на пути всякого духовного совершенствования. Наш внутренний идиот — такой же заклятый враг Бога, как и страстный целеустремленный маньяк, с его безумными вожделениями и отвращениями. Более того, идиот сохраняет свободу действий и после того, как безумец укрощен или даже уничтожен. Иначе говоря, можно преуспеть в преодолении страстей, заместить их постоянным и сосредоточенным стремлением к просветлению, и все равно наткнуться на прорывающиеся в сознание бессмысленные отвлечения. Этим и объясняется, почему все опытные духовные наставники придавали подобным пустякам такую важность и зачисляли их в разряд серьезных несовершенств и даже грехов. Именно к отвлечениям или, по крайней мере, к одному из их главных видов относится, я полагаю, необычно загадочное и грозное изречение Христа: «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Облеченные в слова пустяки, пустословие, вообще все высказывания, не служащие задаче просветления, следует осудить как преграды между душой и высшей реальностью. Они вроде бы безвредны — но лишь по отношению к мирским целям; по отношению к вечности и духу они крайне вредны. В связи с этим я бы хотел привести пассаж из биографии жившего в семнадцатом веке французского святого Шарля де Кондрена. Одна набожная женщина, мадемуазель Деларош, впала в глубокое уныние, потому что ей не удавалось как следует исповедаться. «Ее угнетало то, что ее грехи представлялись ей большими, нежели она умела сказать. Ее прегрешения были незначительны, однако



Действие, созерцание, слияние

Гравированный фронтиспис к латинскому изданию "Правила совершенства" отца Бенета из Капфилда

она, по ее собственным словам, была совершенно не в силах их изъяснить. Если исповедник говорил ей, что удовлетворен ее самообличениями, она отвечала, что сама она не удовлетворена и что, раз она не говорит правды, он не может дать ей отпущения. Если же он требовал, чтобы она сказала всю правду, она оказывалась к этому совершенно неспособна». Никто не знал, чем помочь несчастной, и со временем стали поговаривать, что она не совсем в себе. Наконец, она обратилась к Кондрену, и его суждения о ее случае очень интересны. «Он сказал: вы действительно излагали ваши грехи не надлежащим образом; но дело в том, что на этом свете их и невозможно изъяснить во всей их отвратительности; мы не познаем их в подлинном виде, пока не увидим их в чистом свете Божьем. Бог дарует вам ощущение гнусности греха, отчего грех предстает несравненно большим, нежели кажется вашему разумению или выразимо в словах. Отсюда ваша тревога и уныние... Поэтому думайте о ваших грехах так, как их показывает вашему сознанию вера — иными словами, каковы они сами по себе; но описывать вы их должны теми словами, к каким способны ваши уста». Все сказанное Кондреном о несомненно вполне простительных грехах бедной мадемуазель Деларош приложимо равным образом и к отвращениям. По обыденным человеческим меркам они кажутся чем-то ничтожным. Однако в своей подлинной сути, то есть по отношению к «чистому свету Божьему», который они могут заслонять и помрачать, как пыльная буря или рой саранчи заслоняют солнце, эти ничтожные недостатки обладают такой же способностью творить в душе зло, как гнев, или отвратительная алчность, или какая-нибудь навязчивая идея.

Производящая отвлечения в качестве побочного продукта психофизическая машина работает на сырье, взятом из внешнего мира. Поскольку речь идет о человеке цивилизованном, это мир по преимуществу человеческий, сотворенный по его собственному образу, — отраже-

ние и воплощение его разума, страстей и глупостей. Внутренним отвлечениям соответствуют внешние отвлечения цивилизации: новости, сплетни, разные виды чувственных, эмоциональных и интеллектуальных развлечений, всевозможные бытовые и технические новинки, случайные знакомства, ненужные дела, все те разнообразные пустяки, бессмысленная череда которых и составляет жизнь подавляющего большинства людей. Поскольку наша личность от природы в значительной мере идиотична, поскольку эта идиотичность нам нравится и мы к ней привыкли, мы построили для себя довольно идиотичный мир. Бездна бездну призывает: от внутренних отвлечений рождаются внешние, а от внешних — внутренние. Между рассеянными по природе индивидами и рассеивающей, идиотской средой создается своего рода самоподдерживающийся резонанс.

Судьба, предвидя,
Что за бездумным младенцем будет человек —
Какой рассеянностью он будет одержим,
Как расточит себя во всякой схватке,
Чуть не переменяя собственную личность, —
Чтобы спасти от его капризных прихотей
Его подлинное «я» и принудить его повиноваться,
Пусть и невольно, закону собственного бытия,
Повелела невидимой реке нашей жизни
В глубоких тайниках нашего сердца
Незаметным течением пролагать себе путь;
А нам — не видеть
Потаенный поток и, хотя на вид
Кружась без руля в слепой неопределенности,
На самом деле вечно влечься этим потоком.

Но часто на самых людных улицах мира,
Но часто в грохоте схватки
Возникает несказанная тоска
По познанию нашей потаенной жизни;
Жажда растратить наш огонь и неустанную силу
На поиски нашего истинного, исконного пути;

Стремление постичь
Тайну того сердца, которое бьется
Так вольно, так глубоко в нас — узнать,
Где истоки нашей жизни и где ее устье.
И тогда многие люди погружаются в собственное сердце,
Но никто, увы! не доходит до нужной глубины.*

Всякий разумный человек в тот или иной момент осознавал бессмысленность и убожество пошлой жизни из непрерывных и вечно возобновляемых отвлечений, тосковал по осмысленности бытия и чистоте сердца. Но какое жалкое меньшинство решилось согласно этому осознанию действовать, попыталось эту тоску утолить! О бедствиях рассеянной жизни никто не писал красноречивее, чем Мэтью Арнольд. Но хотя он достаточно хорошо знал христианскую литературу, хотя в молодости на него произвел глубокое впечатление один из первых переводов «Бхагавад-гиты», практических средств от этих бедствий он не искал и даже теоретически отрицал самую возможность существования таких средств. Самое большее, что он смог предложить, — всего лишь символ, искаженный человеческий образ подлинного спасения:

Лишь (но это бывает редко)
Если в нашей руке лежит любимая рука,
Затворы нашего сердца вновь открываются;
Человек сознает течение своей жизни
И слышит плеск его излучин,
И тогда ему кажется, что он знает
Те холмы, где исток его жизни,
И то море, где ее устье.

Отметьте печальную трезвость слов «ему кажется, что он знает». Большой романтик и оптимист, Браунинг стал бы утверждать, что всякий раз, когда «оглохшее от мира ухо ласкают звуки любящего голоса», человек действительно постигает тайну жизни. Но Мэтью Арнольд был человеком слишком реалистическим, чтобы поддать-

* Мэтью Арнольд. «Потаенная жизнь».

ся подобному самообману, и слишком честным, чтобы притвориться, будто он верит в ту лестную для нас доктрину, которая уравнивает две несоизмеримых сущности — человека и божество. Те, кто наслаждается естественными экстазами страсти и привязанности, не знают; им только кажется, что они знают. А неудачникам, кому не дано уцепиться за любимую руку, остается лишь

... выпрашивать
У всех многотысячных ежечасных ничто
Снотворной силы;
И поистине они нас дурманят, в ответ на наш зов!

Но одурманивают они нас лишь ненадолго, а затем бывшее убожество возвращается удвоенным гнетом. Говоря богословским языком Джона Таулера (точнее, автора «Следования Христу», кто бы этим автором ни был), «всякий грех рождает особое духовное страдание. Такое страдание подобно страданию адову, ибо в аду чем больше ты страдаешь, тем хуже ты делаешься; это и происходит с грешниками: чем больше они страдают от своих грехов, тем греховней они делаются, и непрестанно впадают в свой грех, чтобы избавиться от страдания».

Подобно множеству своих предшественников — поэтов и моралистов, — Арнольд поставил проблему, не имеющую практического решения, если не прибегнуть к какой-нибудь системе духовных упражнений. У подавляющего большинства людей рассеянность — естественное состояние; сосредоточенность добывается усилиями. Разумеется, сосредоточенность можно направить как на благие цели, так и на дурные. Но поиски блага всегда сопряжены с риском реализовать потенциальное зло. А искомое в данном случае благо без сосредоточенности недостижимо. Неспособность Арнольда сделать неизбежные выводы из собственных мыслей и чувств не вызовет недоумения, если мы вспомним о его среде. Он жил в атмосфере крайне неблагоприятной для развития подлинной мистики.

Девятнадцатый век мирился только с мнимой, только с псевдо-мистикой — мистикой природы у Вордсворта; мистикой сублимированной сексуальности у Уитмена; мистикой нации у патриотических поэтов и философов любой расы и культуры — от Фихте в начале века до Киплинга и Барреса в конце. И та же самая «печальная трезвость» не позволила Арнольду поверить ни в один из этих очевидно негодных эрзацев. Он выбрал скромный и достойный путь литературного модернизма. Разумеется, это был тупик; но лучше упереться в тупик, чем выбрать национальную или гуманистическую мистику и очертя голову низвергнуться в войны, революции и всеобщий деспотизм.

В четырнадцатом или семнадцатом веке обрести сосредоточенность и заниматься подлинной мистикой было не более легкой задачей, чем при королеве Виктории; но тогда эту задачу образованные и разумные люди считали более осмысленной, более важной. Рассказывать ученикам, как лучше всего приблизиться к Богу и подавить или перехитрить отвлечения, встающие между душой и высшей реальностью, забота об интеллектуальных приличиях автору «Облака» не мешала. Он писал; и в глазах людей, читавших его книгу, — даже тех, кто читал без малейшего намерения воспользоваться его наставлениями, — он был исключительно умным человеком, рассуждающим о крайне важном предмете.

В «Облаке» изложено несколько разных методов для борьбы с отвлечениями. Есть метод, состоящий в удержании неустойчивого ума с помощью того, что индусы называют «мантра», — слова или короткой фразы, которые человек непрерывно повторяет, чтобы, так сказать, заполнить весь передний план сознания и подсознания и позволить тому, что существует на заднем плане (высшей воле схоластической психологии), свободно стучаться слепым волнением любви в облако неведения. Другой метод можно назвать методом подавления и невнимания; отвлечения «попираются под облаком забвения» — не

резким усилием воли (поскольку такие усилия обычно приводят к обратному результату и не столько ослабляют, сколько укрепляют отвлекающие силы), но спокойным переводом внимания на созерцаемый объект. Отвлечение игнорируется; человек «смотрит в сторону», и отвлечение, лишенное питающего его внимания, гибнет от нехватки пищи. Но иногда отвлечения нападают с такой силой, что их нельзя победить или избежать ни одним из описанных способов. В таком случае, говорит наш автор, самое лучшее — уступить им, дать им заполнить сознание словно победоносной орде. Пусть ум осознает свое унижительное поражение, поймет, насколько он жалок и беспомощен перед врагом. От осознания бессилия может возникнуть более сильное ощущение величия Божьей благодати, а вместе с ним — новые волнения любви, новые силы стучаться нагим намерением в облако неведения.

Здесь следует отметить, что на высших ступенях созерцания отвлечениями считаются все чувства и мысли, даже самые благочестивые, если они мешают высшей воле слепо стучаться в облако. Подобно Экхарту, подобно св. Хуану де ла Крус, подобно фактически всем великим мистикам традиции Псевдо-Дионисия, наш автор настаивает на этом пункте. «Сколько бы ты ни плакал от скорби о своих грехах или о страстях Христовых, сколько бы ты ни помышлял о небесном блаженстве, что тебе с этого? Конечно же, ты приобретешь много добра, много помощи, много пользы и много благодати. Но по сравнению со слепым волнением любви и без него мало эти вещи дают или могут дать. А оно и само по себе есть «благая часть» Марии, даже и без них. Они без него приносят мало пользы или бесполезны. А оно не только истребляет почву и корень греха, но и снискивает добродетели. Ибо если оно воистину обретено, то искусно и совершенно будут обретены, восприняты и постигнуты все добродетели, без малейшего участия твоей воли... Ибо добродетель есть не что иное, как получившая порядок и меру любовь, обращенная к Богу ради Него Самого».

Рассудочные медитации о страстях Христовых полезны на ранней ступени созерцательной жизни; для тех же, кто далеко ушел по пути совершенства, они становятся отвлечениями, встающими между душой и темным облаком божества. То же относится и к медитациям о собственных грехах. Наш автор считает самоочевидным, что его ученики уже исповедали прежние грехи, получили отпущение и изо всех сил стараются жить добродетельно, как «совершенные последователи Христа». Тем, кто достиг этой ступени, постоянное помышление о прошлых проступках и нынешних несовершенствах мало того что не приносит пользы, но даже укрепляет их эгоизм, а эгоизм — это корень греха, устойчивая склонность грешить. Идею греха, как и идею Бога, созерцатель не должен разлагать анализом. «Соблуди эти мои слова; и называй грехом целиком, не различая, не что иное, как себя самого». Грех — это проявление «я». Люди творят зло и терпят страдания потому, что они — автономные «я» в плену у времени.

Я жёлчь, изжога. Мой, по Божьей воле,
Удел — горчить; мной стала горечь. Клятву
Стыкует кость, сплетает плоть, кровь клеит.
Я квасит тесто косное. Мне ясно:
Тем, кто в геенне, таково же: бич им,
Как я себе, — их я в поту; но горше.*

Мука от того, что ты — автономное, исключаящее Бога «я», — последний акт раскаяния в изначальном грехе. «Ты увидишь, забыв все прочие творения и все их дела — даже и все твои собственные дела, — что между тобой и Богом твоим по-прежнему стоят чистое сознание и чувство твоего бытия». Осознание и чувство нашего собственного бытия есть прегрешение, которое может быть прощено лишь тогда и лишь при том условии, что мы трудимся ради

* Джерард Мэнли Хопкинс. «Проснись — не день, оскомины от мрака...».

единения с Богом. И наоборот: осознание и чувство самости «непрерывно должно быть истреблено, и лишь тогда ты сможешь воистину постичь совершенство этого делания». Как истребить это ощущение автономной личности? Лишь «полнотой особой благодати, вполне свободно даруемой Богом, и также полнотой твоего согласия принять эту благодать... А согласие это — ничто иное как сильная и глубоко духовная скорбь... У всякого человека есть причина для скорбей; но сильнее всех чувствует причину для скорби тот, кто знает и чувствует, что он есть. В сравнении с этой все иные скорби — как игра в сравнении с чем-то важным. Ибо тот может скорбеть по-настоящему, кто знает и чувствует не только, *что* он есть, но и то, что он *есть*. А кто никогда не испытывал таковой скорби, пусть скорбит, ибо никогда он не испытывал скорби совершенной».

Обретя скорбь о грехе автономной личности, созерцатель должен уничтожить неразложимое ощущение собственного бытия в ощущении бытия Бога. Он должен трудиться, стуча в облако неведения, пока слепое волнение любви, нагое намерение соединиться с Богом действительно не вытеснит его ощущение собственного «я», и тогда, осознавая и ощущая собственное бытие, он будет осознавать и ощущать бытие Бога — постольку, поскольку он сумел это бытие воспринять сквозь покровы божественного мрака.

Такова, в самом кратком виде, доктрина «Облака неведения», которая, как я уже говорил, во всех существенных чертах совпадает с учением всех великих последователей Псевдо-Дионисия. Бенет из Канфилда познакомился с этой традицией сразу после своего обращения и, уже сам начав обучать умной молитве, оставался ей верен во всем, за вычетом лишь одного пункта.

Свое учение отец Бенет излагал по большей части устно или в письменных памятках, составленных специально для каждого ученика. Но в начале 1590-х годов он написал настоящий трактат о мистической практике и

мистическом богословии. Рукописи трактата были розданы избранным лицам и религиозным общинам, и книгу начали переписывать во множестве экземпляров, обычно — без авторского надзора. Наконец, в первые годы XVII века пиратская версия книги — очень неточная и с чьими-то вставками — попала в печать. Чтобы убедить свое учение, отцу Бенету пришлось самому издать книгу в первоначальном виде. Под названием «Правило совершенства, сведенное к единому вопросу о Воле Божьей» она вышла сперва по-французски, а затем — в 1610 году в Кельне — в авторском переводе на латынь. Потребовалось несколько переизданий; в 1609 году вышел частичный перевод на английский, в 1667 — полный перевод на итальянский. Но, несмотря на начальный успех, через сто лет о «Правиле совершенства» уже забыли, и сейчас очень нелегко отыскать какое бы то ни было его издание или перевод.

Все мистики сходятся в том, что знание высшей реальности доступно лишь тем, кто убил в себе ветхого Адама и подчинил личную волю воле Бога; и наоборот — на убиение ветхого Адама и подчинение личной воле Бога способны лишь те, кто уже приобретает знание высшей реальности. Одни мистики придавали большее значение первой стороне этого двойственного процесса; другие — второй. Отец Бенет входил в число тех, кому лучше и естественнее всего казалось подчеркивать волевой аспект просветления. Как ясно из названия книги, он излагал прежде всего технику ежедневного и непрерывного избавления от индивидуальной жизни и обретения жизни божественной, технику устранения индивидуальной воли, освобождающего место для воли Бога. Он хотел показать, что повседневную деятельную жизнь можно поставить на службу созерцанию и что созерцательный дух может одушевлять и преображать деятельную жизнь. Во всех изданиях открывает книгу гравированный фронтиспис, несомненно, задуманный, а может

быть, и исполненный самим отцом Бенетом (поскольку гравюру отличает трогательная неумелость и дилетантизм). В нижней половине гравюры изображено моление Спасителя в Гефсиманском саду, на заднем плане — спящие ученики, а в небесах — подносящий чашу ангел. Внизу надпись: *Non mea voluntas sed tua fiat**. Верхняя половина гравюры занята тщательно выписанной круговой схемой, странно похожей на одну из тех «мандал», в которые буддисты пытаются втиснуть такое изобилие доктринального содержания. Напротив фронтисписа — страница с текстом, в котором отец Бенет разъясняет смысл схемы. «Образ в виде солнца изображает волю Бога. Расположенные в солнце лица изображают души, живущие в божественной воле... Лица эти расположены по трем концентрическим окружностям, соответственно трем степеням божественной воли. Первая степень означает души деятельной жизни; вторая — жизни созерцательной; третья — жизни высочайшей. Первый круг окружен множеством орудий, например, щипцов и молотков, что обозначает деятельную жизнь. Внутри третьего круга — Иегова. Но вокруг второго круга мы не поместили вообще ничего, дабы показать, что при таком роде созерцательной жизни, без иных размышлений или действий, следует подчиняться руководству воли Божией. Орудия помещены по краям и в тени, поскольку внешние дела сами по себе полны тьмы. Но и орудий касается луч солнца, показывая, что дела могут быть просвещены и озарены волей Бога.

Свет божественной воли лишь скудно освещает лица первого круга; много ярче — лица второго; а лица третьего блистают. Первые видны яснее всего; вторые менее; третьи почти не видны. Это означает, что души первой степени существуют в себе; души второй — менее в себе и более в Боге; а души третьей суть почти ничто в себе и всё

* Не Моя воля, но Твоя да будет (*лат.*)

в Боге и поглощены его сущностной волей. Очи всех лиц устремлены на волю Бога». Текст «Правила совершенства» — своего рода развернутый комментарий к этому символическому фронтиспису.

Начинает отец Бенет с разбиения воли Божьей на три категории: Внешняя, Внутренняя и Сущностная. Внешняя воля Божья — это «некий свет, мерило или правило, руководящее нами в деятельной жизни»; внутренняя — «сияние, направляющее и поддерживающее душу в созерцании»; и сущностная — «блеск, правящий нашим духом и совершенствующий его в высочайшей жизни». Первое упражнение, которому должен научиться начинающий, — «упражнение в намерении творить волю Божью». У намерения шесть степеней — действительное, единое, вольное, неколебимое, ясное и бодрое.

Упражняясь в действительном намерении, человек возвращает в себе действительное памятование о воле Божьей, изгоняя тем самым грехи забывчивости и рассеянности. «Такое забвение, — пишет отец Бенет, — частая ошибка, приносящая большой вред, лишаящая нас невообразимого обилия света и благодати». Иметь единое намерение — значит мыслить о Божьей воле как о единственной и простой цели всего, что человек делает или терпит. На этой ступени изгоняются все прочие цели — эгоистические или просто несущественные.

Божью волю нужно творить не со стоической угрюмостью, а с душевной склонностью и в мире и радости. Иными словами, намерение должно быть вольным. Вольное намерение изгоняет напряжение, тревогу и уныние и делает душу восприимчивой к приятию Святого Духа, о котором написано: *Factus est in pace locus ejus* *.

Имея неколебимое намерение, человек изгоняет все сомнения; ибо твердо верит, что предпринятый ради Божьей воли труд — действительно Его воля.

* И было в мире место его (*лат.*)

Ясность намерения связана с характером веры. Человек ясно постигает вечный и божественный смысл своих действий в тварном мире.

И завершается ряд актом бодрого намерения, изгоняющим косность и леность.

Упражнение в шести степенях намерения отец Бенет предписывает на каждой стадии духовной жизни — от самых начальных до самых высших. Упражнение это трудное, но безусловно, всякий, кто научился правильно его выполнять, далеко продвинулся на пути преобразования всей своей жизни в непрерывный акт молитвы и созерцания.

При чтении этого раздела естественным образом возникает вопрос: как нам узнать, какие действия согласуются с Божьей волей, а какие — нет? Отец Бенет пытается ответить — и надо признать, не вполне успешно. Он разделяет действия на три разряда: повеленные, прямо или косвенно, божественной властью; запрещенные; и безразличные. Относительно первых двух воля Бога ясна, поскольку у нас есть законы и заповеди, в которых воплощено объективное мерило поведения. В действиях третьего разряда критерий — намерение. Поскольку в безразличных вещах «дело отвечает намерению, а не намерение — делу». Если совершая что-то безразличное, мы посвящаем наше действие Богу, то его совершение действительно будет в согласии с волей Бога. Идти на прогулку или обедать, намереваясь угодить Богу, лучше (если говорить о душе), нежели совершать достойные по своей природе действия ради себя самого. Пока что все идет прекрасно; но идет, к сожалению, не слишком далеко. Отец Бенет совершенно ничего не говорит о целом разряде действий, которые, если судить по земным последствиям, важнее любых других: я имею в виду те действия, которые индивид совершает не ради себя самого, а от лица и на пользу какой-то социальной организации — такой, как нация, церковь, политическая партия, религиозный орден, фирма, семья. Нет более трудных этических

проблем, чем связанные с этим разрядом действий. Тем уместнее было бы досконально разобрать их в трактате, посвященном творению Божьей воли. Отец Бенет предпочел их не заметить. В этом он последовал примеру слишком многих христианских моралистов, принадлежавших к обеим великим этическим традициям — и к мистической, «теоцентрической», и к «антропоцентрической», происходящей от стоицизма. Если отец Жозеф с пути совершенства уклонился в государственную политику, вину за это нужно возложить — по крайней мере, отчасти — на его воспитание. Бенет из Канфилда нигде не обсуждает соотношение между политическим действием, с одной стороны, и мистическим единением, творением воли Бога, с другой. В одной из нижеследующих глав нам придется рассмотреть это соотношение подробнее.

Тема второй части «Правила совершенства» — внутренняя воля Бога, «сияние, направляющее и поддерживающее душу в созерцании». Согласно отцу Бенету, внутренняя воля Бога осуществляется по стадиям, которых он перечисляет пять, а именно: явления, изумления, уничтожения, ликования и восхищения. (Когда скандируешь эти отглагольные имена, список кажется слегка смешным. Но это — общее свойство всех классификаций. По сравнению с очевидной непрерывностью природы, что может быть нелепее, чем созданные учеными сложные системы терминов? Однако без такой систематики стал бы невозможен как анализ окружающего нас мира, так и вообще всякая деятельность разума. Так же обстоит дело и с высшими психическими явлениями. Они имеют непрерывный и непосредственный характер; но описывать их, строить на их счет теории, рассказывать об условиях их возникновения можно лишь в рамках терминологической системы. Пока мы помним, что «слова суть знаки для вещей» и не впадаем в слишком частое и абсолютное роковое заблуждение, «превращающее вещи в знаки для слов», классификация остается исключительно полезной. После этого

попутного предупреждения вернемся к отглагольным существительным отца Бенета.)

Явления, то есть обычно сопутствующий первым стадиям созерцательной жизни опыт божественного присутствия, вызываются, как правило, практикой чистого намерения по отношению к внешней воле. Механизм этого прост: чистота намерения при действии приводит к умиранию страстей и привязанностей к мирским предметам; умирание страстей и привязанностей приводит к умственному покою; он, в свою очередь, приводит к внутренней тишине, в которой душа начинает ощущать имманентное Божество.

Изумления возникают, когда созерцатель обретает непосредственный опыт бесконечного величия Божьего, вместе с сопутствующим опытом своего сущностного ничтожества.

Уничуждения — следующий плод, приносимый переживанием собственного ничтожества, и полезны как противоядие от самодовольства, в которое начинающие так легко впадают после первых встреч с божественной благодатью.

Представление о благодати Бога, позволяющего душе, несмотря на ее мерзость, соединиться с Собой, приводит к ликованиям. Духовная радость услаждает поступательное отвержение «я», без которого невозможно поступательное движение на пути единения. По словам самого отца Бенета, она «внушает нам отвращение к плотским утешениям, облегчает то, что кажется невозможным, открывает путь на небеса».

Наконец, созерцатель достигает стадии восхищений. Это те «слепые волнения любви», которые приводят к союзу. *Quis adhaeret Deo, unus spiritus est* *.

О третьей части отец Бенет особо говорит, что она не для начинающих. Предмет ее — сущностная воля Бога,

* Кто прилепился к Богу, един с Ним духом (*лат.*)

и описанные в ней упражнения — аналог чистого намерения и созерцания на более высоком витке той восходящей спирали, которой является путь совершенства.

Сущностная воля Бога состоит в том, что душа должна соединиться с сущностью Бога. В этом соединении душа пассивна, активен один Бог. Душа может лишь отдаться, вполне совлекаясь своей воли, воле Бога и применить «искусную ловкость», чтобы избавиться от последних клочков самости.

В начале отец Бенет описывает два подхода к той высшей цели, которую составляет творение сущностной воли Бога. Суть первого метода — размышления о несовершенствах в актах созерцания. Несовершенства имеются на всех стадиях духовной жизни. Несовершенства ранней стадии грубы и бросаются в глаза. Но по мере того, как сознание просветляется, они исчезают и уступают место ошибкам более тонкой природы. Ни один мистик, даже самый опытный, не вправе ослаблять бдительность; поскольку в уже просветленном сознании помешать единению с Богом может даже малейшее несовершенство.

В созерцании опытных мистиков встречаются три стандартные ошибки. Во-первых, оно может быть слишком ревностным, и тогда душе не хватает мира, нужного для приятия Бога. Во-вторых, в душе может сохраняться тонкий образ того, что в принципе невообразимо, то есть сущности Бога. В-третьих, душа может представлять Бога пребывающим не «в ее собственной основе», «на вершине высшей воли», а где-то еще. Все эти ошибки исцелимы посредством надлежащих актов «совлечения». От эмоциональности и образов можно избавиться; а избавившись от них, душа становится пригодна для осознания Бога как чистой имманентности.

Суть второго метода творения сущностной Божьей воли — уничтожение, составляющее финальную стадию долгого процесса избавления от собственной воли.

Уничтожение отец Бенет разделяет на пассивное и активное. Пассивное уничтожение имеет место, когда Бог являет нам Себя в созерцании. Активное уничтожение — это наша мертвость для мира при продолжении трудов в нем, внутреннее пребывание в вечности при внешней деятельности во времени. Необходимы оба вида уничтожения; но активное — выше и совершеннее.

О пассивном уничтожении отец Бенет говорит мало нового по сравнению с уже сказанным о созерцании в предыдущем разделе. Он упоминает об отвлечениях и дает созерцателю совет не бороться с одолевающими пустяками, а избегать их и обходить. «Ибо чем больше человек действует, тем в большей мере он есть и существует». Но чем больше человек существует, тем меньше существует в нем Бог.

По той же причине опытный созерцатель должен уклоняться в медитациях от всех частных сторон божественной жизни и довольствоваться «простым взглядом», устремленным на Бога в Его целостности.

Активное уничтожение достигается «памятованием», то есть постоянной, не требующей усилий памятью о Боге и чистой верой, убежденной в присутствии Бога даже в тех обстоятельствах, когда нет ни наглядных внутренних свидетельств Его присутствия, ни причин его предполагать.

Подробно и с большой тонкостью в третьем разделе «Правила» рассмотрено правильное соотношение между действием и созерцанием, между человеком во времени и Богом в вечности. Я могу лишь вкратце пересказать то, что отец Бенет говорит об отказе от внешних дел, который практиковали многие мистики из страха, что дела отвлекут их от созерцания Бога. По убеждению отца Бенета, такой отказ губителен для тех самых целей, ради которых совершается, и на самом деле составляет последнюю и величайшую преграду на пути совершенства. Ибо «чем больше душа страшится и избегает внешних дел, тем глубже запе-

чатлеваются в ней их образы. Более того, она начинает приписывать им место и положение Бога. Бога следует представлять вездесущим, и для созерцателя присутствие Бога должно изгонять внешние вещи. А душа, боящаяся внешних вещей, уделяет им столько места, что, наоборот, их присутствие изгоняет Бога». Обычно мистик, знакомый только с пассивным созерцанием, отстраняется от вещей, укрывается от них в акт внутреннего созерцания. Но этим проблема внешних дел не решается; она просто откладывается до очередного случая. Более того, обращенность внутрь предполагает и обращенность вовне, то есть позицию обыкновенного чувственного человека, приписывающего внешним вещам полную реальность и самостоятельную ценность. «Итак, я утверждаю, что обращенность внутрь следует отвергнуть, поскольку недопустима обращенность вовне; но должно непрерывно пребывать в бездне божественной сущности и в полном ничтожестве вещей; и если иногда человек оказывается отделен от них (от сущности и от ничтожества), возвращаться к ним он должен не обращенностью внутрь, но уничтожением». Умение жить в непрерывном активном уничтожении — вероятно, самая трудная и изнурительная из человеческих задач; но к тем, кто решит ее, приходит та награда, какая досталась брату Лоуренсу и св. Терезе, мадам Акари, самому отцу Бенету и фактически всем великим мистикам, — опыт пребывания сразу и во времени и в вечности, и среди людей и в Боге; мир и блаженство узрения Бога уже здесь, на земле. То состояние, которому отец Бенет дал имя активного уничтожения, описывали не только христианские мистики, но и созерцатели других конфессий — индуисты, буддисты, даосы, суфии. Все они единодушно признают это состояние наивысшим, самым совершенным, какого может достичь человеческое сознание, очистившись, собравшись воедино, радикально преобразившись.

До сих пор в «Правиле совершенства» не содержится ничего, что нельзя было бы найти в сочинениях любо-

го из великих созерцателей в традиции Ареопагита. Но здесь отец Бенет сворачивает с дороги чистого, адогматического мистицизма, по которой шли его предшественники, на другой, более католический путь.

От традиционного мистицизма отец Бенет отступает в тот момент, когда утверждает, что даже самый опытный созерцатель должен продолжать «упражнение Страстей» — иными словами, что он должен размышлять о страданиях Христа, даже дойдя до той стадии, когда уже способен соединить свою душу с Божеством в акте «простого взгляда». Последователи Псевдо-Дионисия, религия которых была чисто экспериментальной и которые поэтому приспособляли католические догматы к своему прямому и непосредственному опыту, всегда говорили обратное. Они утверждали, что на высших ступенях молитвы следует отказаться от всех идей и образов, даже от идей и образов, связанных с жизнью Христа, как от мешающих совершенному единению отвлечений.

В комментарии к «Облаку неведения» отец Огастин Бейкер особо обсуждает отход отца Бенета от традиционного учения. «Прошу вас отметить, — пишет он, — что он (автор "Облака") не допускает упражнения Страстей, если человек уже способен к упражнению любви. Любовь эта обращена к чистой божественности и не пользуется никакими образами — ни человечества нашего Спасителя, ни иного творения. Следовательно, согласно учению нашего автора, если человек способен к выше-названному упражнению любви, причем пожизненному, то он не должен им пренебрегать и упражняться в Страстях, тем более в вещах не столь высоких. И в этом наш автор вполне согласен и с автором "Тайных троп" и с тем, что я сам утверждаю в моем трактате об упражнении Страстей; и мы несогласны с мнением ни отца Бенета Фитча в третьей книге его "Воли Божьей", ни других писателей, кто сохраняет некое упражнение Страстей во всех состояниях».

Новизну своего учения в этом пункте сам отец Бенет сознавал не менее ясно, чем отец Бейкер. Разрыв с традицией в «Правиле совершенства» не скрыт и не сглажен. Напротив, он открыто признан, и целая глава отдана его подробному оправданию. К сожалению, оправдательные доводы отца Бенета сводятся к совершенно, на наш взгляд, вздорному пустословию, которое так любили и, видимо, считали убедительным теологи Средних веков и начала Нового времени. В поддержку тезиса, истинность которого нужно доказать, приводятся десятки мест из Ветхого и Нового Заветов. Некоторые цитаты связаны с обсуждаемым вопросом хотя бы косвенно; но большинство не имеют к нему никакого отношения и потому подвергаются произвольному толкованию. Такой метод позволяет приписать любому высказыванию какой угодно смысл. Так, отец Бенет ухитряется отыскать подтверждение своим взглядам даже в истории Раав. «Червленная веревка», которую иерихонская блудница привязала к окну как знак для вторгшихся израильтян, пророчески знаменовала, что «Бог желает, чтобы мы поместили кровоточащие страсти Христовы в окне нашего внутреннего дома, то есть нашего разума, и непрестанно над ними размышляли и их созерцали». В наше время кажется совершенно непостижимым, как подобные вещи могли кого-то убеждать. Но они действительно убеждали — и это полезное напоминание о том, что картины мира, внутри которых люди рассуждают и чувствуют, не остаются неизменными и что в любой исторический момент есть определенные мысли, которые в принципе не могут придти в голову, есть определенные чувства, которые в принципе невозможно испытать. Реальные причины, по которым отец Бенет требовал размышлять о Страстях на всех стадиях созерцательной жизни, заключались, несомненно, в следующем: во-первых, сам он отличался пламенным благочестием; во-вторых, он был францисканец, а францисканская набожность всегда была сосредоточена на Страс-

тях; и в-третьих, ему (и многим богословам, жившим как раньше, так и позже него) казалось, что эмпирический мистицизм наследников Ареопагита — по крайней мере, на высших ступенях — слишком адогматичен, чтобы быть истинно католическим. С отведенного нам исторического шестка мы смотрим вспять и изумляемся, почему отец Бенет не мог попросту так все и сказать, не ссылаясь на Раав и прочую бессмыслицу. Однако правда состоит в том, что отцу Бенету, вследствие характера той картины мира, внутри которой он думал и чувствовал, доказательство с опорой на распутницу бронзового века казалось принципиально более убедительным, нежели доказательство с опорой на психологию и религиозную историю.

Тезис, который должна подкрепить Раав, состоит в том, что созерцание Страстей угоднее Богу, нежели созерцание Божества. «Не следует оставлять созерцание Страстей ради созерцания Божества, но следует заниматься и тем и другим одновременно». Тот «простой взгляд», которым наследники Ареопагита созерцали Божество, следует обратить на Христа — но не исключительно на человечество Христа, а на Бога и человека в одном лице. «Все затруднение этого простого взгляда происходит из противоречия, которое вроде бы препятствует человеческому разуму созерцать одним простым взглядом Бога и человека, плоть и дух». Затруднение это, говорит отец Бенет, можно преодолеть лишь посредством непрерывного акта веры, которая, пока внимание сосредоточено на образе распятого Христа, поглощает и уничтожает Его образ в сущности Бога. Весь этот пассаж очень интересен с психологической точки зрения. Он изобличает в отце Бенете подлинного мистика, очень далеко зашедшего по пути к единению, но все же принужденного логикой принятой им теологии поворачиваться от самой высшей реальности к ее частному проявлению, от непосредственного постижения Бога к связанным с конкретной личностью образам и рассуждениям.

Вот таким было учение, которое молодой барон де Маффлие воспринял от своего первого наставника в религии и которое он позже, уже став отцом Жозефом, будет излагать в упрощенной и более систематической форме и своим новообращенным, и вверенным его попечению послушникам. Молитвенные приемы самого монаха подробно описаны в первой главе, и прибавлять здесь новые детали излишне. Достаточно сказать, что его «Introduction a la vie spirituelle par une facile methode d'oraison»* — превосходный образец жанра, хорошо построенная, практичная, замечательная как слогом, так и здравомыслием книга. Но несмотря на все ее достоинства, читали ее мало. Подобно «Правилу совершенства», «Введение» отца Жозефа было быстро забыто и не оказало сколько-нибудь заметного влияния на ход религиозной жизни в семнадцатом веке. Развить учение отца Бенета, познакомить с ним широкую аудиторию выпало на долю не отца Жозефа, а его друга и соученика, Пьера де Берюлля. История его деятельности и ее непредвиденных последствий с нашей главной темой связана лишь косвенно, но сама по себе она настолько интересна и поучительна, что я не прошу у читателя прощения за краткий ее обзор.

«Даровитый современный автор, — пишет Берюльль, — утверждал, что в центре нашего мира — не земля, а солнце; что оно неподвижно, а земля движется относительно него. С этой новой гипотезой не все согласны в науке о звездах, но она полезна и должна нами руководить в науке спасения». Коперникова революция в богословии стала ответом Берюлля на интенсивный персонализм модного в то время иезуитского благочестия, основанного на «Духовных упражнениях» св. Игнатия Лойолы. Правда, в начале «Духовных упражнений» Игнатий повторил принципиальный христианский тезис о том, что человек сотворен затем, чтобы хвалить Бо-

* Введение в духовную жизнь с помощью простого способа молитвы (франц.)

га. Но хотя и повторив его, он написал книгу, где центральную роль играет человеческая личность. Упражнения Игнатия — это гимнастика индивидуальной воли, причем настолько интенсивная, что богопочитание из самодовлеющей цели превратилось чуть ли не в инструмент, с помощью которого гимнаст себя контролирует. Вот эту птолемееву систему религиозной мысли и чувства Берюльль и заменяет последовательным теоцентризмом. Бога следует почитать не думая о своей духовной выгоде. Его следует почитать ради Него Самого, преклоняясь и благоговей. Его следует почитать таким, каков Он Сам по Себе как верховное и бесконечное существо. Чтобы почитать верховное и бесконечное существо подобающим образом, человек сам должен быть бесконечным и обладать высшей реальностью. Почтен как должно Бог был, на самом деле, лишь однажды — Христом, который, будучи и человеком и Богом, единственный мог воздать бесконечное поклонение, подобающее бесконечной и вечной реальности.

Все это точно соответствует традиции Ареопагита. Все хорошие созерцатели — религиозные коперникианцы, а теоцентрическая гипотеза для подлинного мистицизма — аксиома. Собственный вклад Берюльля в религиозное мышление и практику состоит в том, что он развил и систематизировал традиционный теоцентризм, превратив взятое у отца Бенета нетрадиционное мистическое учение в систематический «Иисусо-центризм».

Говоря о причинах, по которым отец Бенет отклонился от традиции Ареопагита, я предположил, что одной из них было то, что он ощущал принципиальную некатоличность чистого мистицизма. О Берюльле это можно сказать с уверенностью. По поводу школы, основателем которой стал Берюльль, Бремон говорит, что «ее духовная доктрина постоянно ссылается и опирается на догматы Церкви». Берюльль, несомненно, обладал большими способностями к мистической жизни; но он был в первую очередь католиком, и лишь затем — мистиком. Для него

теология, евангельский рассказ и церковное предание служили основой, которая предшествует персональному опыту и в соответствии с которой этот опыт следует привести. А созерцатели в традиции Ареопагита, наоборот, приспособляли догматику к своему опыту, и в итоге, если говорить о мистиках опытных, их мистицизм утрачивал католическую специфичность. В глазах не-христианина это факт крайне важный и внушающий большой оптимизм: значит, мистицизм предоставляет нам фундамент для религии, свободной от неприемлемых догм, которые зависят от недостоверных и произвольно истолкованных исторических фактов. А у некоторых благочестивых христиан, напротив, мистицизм вызывает подозрения именно благодаря своему адогматическому и внеисторическому характеру (например, Карл Барт считает его всего лишь «эзотерическим атеизмом».)

Берюлль знал и уважал мистиков ареопагитовой традиции, но следовать им не захотел. Вместо этого он отдал всю энергию своего мощного интеллекта созданию новой, мистико-католической философии жизни. Эта философия с помощью приемов, заимствованных у последователей Псевдо-Дионисия, переработала сырье католических догм и народного католического благочестия в законченный продукт высокой духовности. Результат получился в высшей степени замечательный; но это был не мистицизм. Это был не мистицизм потому, что хотя метод и совпадал с методом последователей Псевдо-Дионисия, объектом метода было уже не безвидное Божество их непосредственного опыта и их теологии. Революция, совершенная Берюллем под воздействием Бенета Фитча и под влиянием католического мышления и практики, превзошла революцию Коперника. Не остановившись на утверждении, что солнце — центр мира, он утверждал, что солнц несколько. К теоцентризму он добавил Иисусо-центризм и Марио-центризм — созерцание Христа и Его Матери ради Них Самих. Два новых солнца приобрели для Берюлля такое значение, что в

его системе они во многом заслонили великое первоначальное солнце Божества. «Всякий человек, — писал он, — всего лишь часть, чье целое есть Иисус. Человеку недостаточно подчиниться; он должен быть лишен прав и уничтожен и присвоен Иисусу, питаем Иисусом, укоренен в Иисусе, живя и действуя в Иисусе». Замените слово «Иисус» на слово «Бог», и под этим утверждением подписался бы автор «Облака неведения». Такие же знаменательные сходства и различия можно найти и в практическом благочестии Берюлля и его последователей, с одной стороны, и у последователей Псевдо-Дионисия в лице автора «Облака», с другой. Для Берюлля, как и для прежних мистиков, цель и задача молитвы — уничтожение «я» посредством вверения себя божественной воле. Акт самовверения начинается с преклонения или изумления — «возвышенного, редкого и прекрасного занятия», говоря словами Берюлля, — и переходит в «прилепление», то есть в присоединение к предмету преклонения, в погружение в него, в пресуществление души в то, что она созерцает. Но и на этой стадии, где прежние мистики утверждали, что преклонение должно стучаться в безвидное облако, которым скрыто Божество, Берюллер защищает «прилепление» и в конечном счете «рабство» Христу и даже Деве Марии. Урбан VIII, возведший его в кардинальский сан, вместе с шапкой даровал ему титул «апостола Воплощенного Слова». Революция Берюлля, в отличие от коперниковой, получила не только признание современников, но и официальное одобрение.

«Добродетель, — писал автор "Облака", прямо цитируя Ришара Сен-Виктора, — ничто иное, как получившая порядок и меру любовь, устремленная к Богу ради Него Самого». Св. Августин ту же идею выразил словами: люби и делай что хочешь. Научившийся любить Бога пламенно и непрерывно может безопасно делать все, что пожелает, потому что он никогда не пожелает ничего дурного.

Берюллер и его последователи часто противопоставляли свой метод методу языческих и немистических мора-

листов. Моралист, утверждали они, старается стать добродетельным, укрепляя свою сознательную волю. Его метод заключается в принятии ряда решений выказать какую-то конкретную добродетель. Выполнение решений — это добродетель в действии, и можно ожидать, что в конце концов оно приведет к созданию привычки. Недостаток такого метода, как указывали психологи всех времен и народов, — в том, что он имеет дело только с поверхностными слоями сознания, подсознание оставляя более или менее незатронутым. Но импульсы к действию, влечения и отталкивания берутся главным образом из нашего подсознания. Следовательно, предлагаемый моралистами метод самовоспитания принципиально недостаточен. «Мы должны совершать добродетельные поступки, — говорит Берюль, — не столько из любви к самой добродетели, сколько ради и в честь Иисуса Христа». И поступать так следует не только потому, что всякая истинная религия теоцентрична, но и потому, что теоцентризм приводит к лучшим этическим результатам, нежели антропоцентризм и морализм. Как говорит один из современников и последователей Берюлля, «если человек хочет окрасить кусок белой ткани в пурпурный цвет, он может поступить двумя способами: либо наносить краску на ткань — занятие, отнимающее много времени, сил и труда; либо погрузить ткань в краску — дело совсем нетрудное. Так же и с добродетелями; добродетель — это краска в сердце Иисуса Христа, и когда любовь, преклонение и прочее, чего требует религия, погружают туда душу, она легко принимает нужную окраску». Погружение в краску совершается с помощью «прилепления», с помощью деятельного, но смиренного и самоотверженного предания души на волю божественного объекта поклонения, каким в практическом благочестии Берюлля бывает обычно Христос, иногда — Дева Мария, и лишь редко, как у настоящих мистиков, — то безвидное Божество, которое открывается как высшая реальность в непосредственном опыте.

Превосходящая коперникову, революция Берюлля имела глубокие, далеко идущие и катастрофические последствия. С конца семнадцатого века и по конец девятнадцатого мистицизм практически исчез из католической Церкви. Как у любого исторического события, причины его исчезновения многочисленны и сложны. Однако нет никаких сомнений, что среди этих причин важное место принадлежит берюллевой революции. Заменяв лишенное признаков Божество прежних мистиков Христом и Девой Марией, Берюлля фактически гарантировал, что ни один приверженец его практического благочестия не сможет дойти до высших ступеней слияния с Божеством или просветления. Созерцание лиц и их свойств требует большой меры аналитического мышления и непрерывной работы воображения. Но аналитическое мышление и воображение — это именно те вещи, которые мешают душе достичь просветления. По этому вопросу единодушно и настойчиво высказывались все великие мистические писатели — и христианские, и восточные. Таким образом, начинающий мистик, слушаясь Берюлля и выбирая предметом любви и созерцания не Божество, а некое лицо и его свойства, воздвигает непреодолимую преграду между собой и высшими ступенями слияния.

С этой точки зрения интересно сравнить Берюлля и берюллизм с Игнатием Лойолой и иезуитской школой благочестия. Судя по всему, Лойола был прирожденным мистиком, отвергшим дар пассивного созерцания ради активной медитации, основанной на аналитическом мышлении и воображении. Антропоцентричные и моралистичные, его «Духовные упражнения» стоят вне области мистической литературы и малопривлекательны для людей мистического склада. Воспитанные на «Упражнениях», богословы-иезуиты чаще всего не знали о высших мистических состояниях, а не зная о них, отрицали самую их возможность и на тех, кто утверждал, что подобные состояния существуют, смотрели с подозрением и даже активно

их преследовали. Влияние Берюлля и его приверженцев имело более тонкий характер, поскольку они революционизировали мистицизм изнутри. В отличие от Лойолы, Берюлля не отказался от своих мистических даров. Он проповедовал теоцентризм, традиционный среди мистиков вплоть до эпохи св. Хуана де ла Крус, и практиковал их традиционное «прилепление». Отсюда притягательность его сочинений для людей мистического склада; отсюда глубина и проникновенность его влияния; отсюда же и роковые последствия того, что он подчинил непосредственный мистический опыт персоналистской теологии. Конечно же, Берюлля искренне верил в то, что душа может прилепиться к Воплощенному Слову или к Деве Марии точно таким же образом, как она может прилепиться к Богу, и с теми же последствиями. Но это невозможно психологически. Нельзя прилепиться к лицам или к личным свойствам, не прибегая к анализу и воображению; а там, где действуют анализ и воображение, сознание не в силах вместить бытие Бога. Берюлля направлял потенциального мистика на тот путь, который по самой природе вещей не может привести к конечной цели мистицизма. Его путь мог привести к добродетели, поскольку (как убедительно в наши дни доказал Куэ) для этих целей воображение эффективнее, чем воля; душу можно сделать добродетельной, окрасив ее в содержащемся в ней самой образе чужой благодати. Этот же путь мог привести к горячему молитвенному поклонению Божественным Лицам и к неустанной деятельности ради Них. Но он не мог привести к слиянию с высшей реальностью. Так же как и иезуитов, приверженцев Берюлля сама природа их благочестия обрекала на духовное невежество — тем более губительное, что оно принимало себя за знание. Господство подобного невежества среди искренних и добродетельных людей и привело к реакции против мистицизма во второй половине семнадцатого века. Жестокость этой реакции оправдывали заблуждениями квиетистов. Но на самом де-

ле, ни Молинос, ни госпожа Гюйон не написали ничего, чего не смог бы исправить минимальный здравый смысл. Главной виной квиетистов было то, что они продолжали традицию мистицизма Псевдо-Дионисия, последним великим представителем которой был св. Хуан де ла Крус. Им не было места в том мире, где благочестие иезуитизма и берюллизма только что достигло кульминации в культе Сердца Иисусова. (Жан Юде, канонизированный как Отец, Учитель и Апостол этого культа, был берюллием, а откровениям Маргарет Мари Алакок покровительствовали иезуиты). К концу семнадцатого века мистицизм утратил свое былое значение в христианстве и был более чем наполовину мертв.

«Ну и что? — скажет кто-нибудь. — Почему бы ему не умереть? Какой от него прок, когда он жив?»

Ответ на эти вопросы таков: где нет видений, гибнут люди; и если те, кто есть соль земли, теряют силу, уже нечему хранить землю в чистоте, нечему предотвращать ее полное разложение. Мистики — это те каналы, по которым хоть какое-то знание о реальности просачивается в человеческую вселенную невежества и иллюзий. Окончательно лишенный мистиков мир будет миром окончательно слепым и безумным. С начала восемнадцатого века и до сих пор число источников мистического знания постоянно сокращается по всей планете. Мы опасно далеко зашли по пути, ведущему во мрак. По трагической иронии (конечно, благодаря сопровождавшему их благие намерения невежеству) и экстатический отец Бенет, и блестящий и праведный Пьер де Берюльль занимают свое место среди тех, кто способствовал помрачению человеческого духа.

Глава 4

Проповедник

В предыдущей главе я обрисовал религиозный фон — исторический, современный, человеческий, — на котором протекала жизнь отца Жозефа. Глубокое католическое благочестие — отчасти мистическое, отчасти эмоциональное и образное — служило неизменной декорацией, на фоне которой разыгрывались эпизоды его политической карьеры, требовавшие разъяснения и оправдания в его собственных глазах в связи именно с этим фоном.

В первые годы монашества деятельность отца Жозефа была исключительно религиозной. Его карьера началась, как мы помним, с годичного послушничества в Орлеане. После обетов в Париже его отправили в капуцинскую семинарию в Руане. Обычно обучение длилось четыре года; но новый ученик знал уже так много, что ему зачли и вступительный годичный курс философии, и первый год из трехлетнего курса теологии. В семинарии в молодом монахе увидели обладателя значительных духовных даров, пылкого молитвенника, неутомимого благодетеля, горящего праведным желанием святости. В посте и трудах он накладывал на себя дополнительные строгости; до того тщательно смирял гордыню, что никто не слышал его рассказов ни о прошлой жизни, ни о нынешних желаниях, ни о планах на будущее; во всех обстоятельствах он стремился сделать больше, чем был обязан.

Спартанское пристрастие к неудобствам и трудностям проявлялось у него постоянно, иногда — самым странным образом. Например, у него был обычай часть обязательных часов молитвы проводить стоя босиком на каменных плитах. Когда одолевала дремота (а это случалось, поскольку ради созерцания он отнимал время у сна), он боролся с ней, стоя на одной ноге. В семинарии не все одобряли его поведение; но когда ему напоминали об опасностях чрезмерного рвения, о необходимости благоразумия даже в делах набожности, отец Жозеф отвечал, что Царство Небесное силою берется, и продолжал молиться, испытывая мучительное мускульное напряжение.

Все это было знаком самого похвального усердия; но сильнее всего заинтересовало его наставников то обстоятельство, что новый ученик имел, видимо, настоящий дар молитвы. Отец Бенет научил его теории и практике своей версии ареопагитова мистицизма; а молодой капуцин внес в молитвы визионерскую одержимость голгофскими муками, не оставлявшую его с раннего детства. Итогом стала умная молитва того типа, который его наставники называли молением «серафической и распятой любви». Усердные занятия этим видом созерцания (которому молодой семинарист посвящал намного больше часов, нежели предписывалось капуцинским молитвенным правилом) нередко приводили к экстазам и видениям. Если вспомнить еще и его красноречие и дар к религиозным диспутам и увещаниям, то нас не удивит необычайно высокая похвала, высказанная о нем Анжем де Жуайезом, когда он еще учился в Руанской семинарии. «Отец Жозеф, — сказал Жуайез, — совершенный капуцин и наилучший монах своей провинции, если не всего ордена».

Бенет из Канфилда в это время томился в английской тюрьме; освободили его только в 1602 году. Но хотя и заочное, влияние его на ум молодого ученика оставалось сильным. Насколько сильным, можно судить по чтению отца Жозефа. Список книг открывается Евангелием

от Иоанна и Посланиями св. Павла, продолжается «Исповедью» и «Беседами с собой» св. Августина, «Таинственным богословием» и «Божественными именами» Дионисия Ареопагита, мистическими сочинениями Гуго и Рихара Сен-Викторов и св. Бернарда и заканчивается книгами Рюйсбрека и двух второстепенных созерцателей пятнадцатого и шестнадцатого века соответственно — Анри де Гарпа и бенедиктинского аббата Блосия. Перед нами библиотека чистейшей мистики.

Высокое мнение об отце Жозефе его наставники выражали не только на словах. В 1603 году, через несколько месяцев после выхода из семинарии, его назначили лектором философии в монастыре на улице Сент-Оноре. Но быстро, всего через год, его богословская и ученая карьера оборвалась — усугубился порок зрения, прогрессирующий всю его жизнь и в конце концов приведший к почти полной слепоте. С тех пор книжный мир ученого для него закрылся; но мир людей был по-прежнему широко открыт.

В 1604 году он принял сан, получил разрешение проповедовать и был направлен в монастырь капуцинов в Медоне надзирать над послушниками. Там, с энергией, неизменно смягчаемой тактом и сноровкой, он взялся обучать новоиспеченных монахов тем приемам умной молитвы, которым сам всего за несколько лет перед тем выучился у Бенета из Канфилда. В помощь ученикам он сочинил тридцать шесть рифмованных четверостиший, куда уместил самую суть трехчастного духовного пути — из очищения, просветления, единения; для каждого послушника отец Жозеф составил индивидуальную духовную памятку, соответственно его нуждам.

К монастырской работе он добавил другой труд — возвращение окрестных сел в христианство. Медон, как и остальные села под Парижем, страшно пострадал за время религиозных войн. Солдаты не только разоряли крестьянские дворы и лавки — они грабили, а часто и разрушали храмы. Были общины, где замерла всякая религиозная

жизнь; а из оставшихся приходских священников многие, подпав под воздействие царившего беззакония, вели отнюдь не назидательную жизнь. С одобрения орденского начальства отец Жозеф решил вернуть эти духовно разоренные края в лоно Церкви. Его миссионерские усилия увенчал немедленный и поразительный успех. Где бы он ни проповедовал, послушать его страстное красноречие сходились тысячи людей со всей округи. Вскоре церкви и монастырские часовни уже не вмещали толп, и он начал говорить под открытым небом. Многие его слушатели прошли через кризис обращения; всюду возрождались обычаи традиционного благочестия. Более того, поток желающих исповедаться и причаститься был настолько велик, что в помощь отцу Жозефу из Парижа пришлось выслать еще монахов. Овладевший мастерством смирения, он не выказывал радости от своего торжества, которое считал удачным поводом для активного уничтожения «я» в божественной воле. Проповедуя, он старался непрестанно помнить, что сам по себе он ничто, а Бог — всё; что его красноречие, побуждавшее людей вслух стонать от ужаса перед адом, плакать о своих грехах, с мольбой воздевать руки к алтарю, было не его красноречием, но словом Божиим, звучавшим чрез него, чрез недостойнейшее орудие Божьей воли. По ночам, после активного уничтожения в проповедях, он уединялся в келье и в немой темноте предавался пассивному уничтожению в созерцательной молитве. Несколько часов сна, и он снова за работой, сильный не принадлежащими ему силой и энергией, в мире и радости оттого, что ему открылось истинное призвание. Он призван к труду проповедника и миссионера.

Не только ему и его спутникам это стало ясно, но и его начальникам. До того ясно, что осенью 1605 года его освободили от преподавания в Медоне и назначили блюстителем капуцинского монастыря в Бурже. Имея в самом монастыре сравнительно немного обязанностей, свои лучшие силы он сможет отдать проповеди за его стенами.

В Бурже, среди образованных горожан, его ждал не меньший успех, чем у крестьян Медона и окрестных сел. По просьбе отцов города он произнес несколько проповедей, собравших такую аудиторию, что из монастырской церкви их пришлось перенести в большее здание. Предметом проповедей, длившихся обычно по два часа, было искусство умной молитвы. В последующие годы мы не раз увидим, как отец Жозеф возвращается к этой теме. Устно и в письменных памятках, которые он раздавал слушателям для переписки и распространения, он убеждал всех христиан в желательности и даже в абсолютной необходимости мистического приближения к Богу. В одной из написанных примерно в этот период памяток он настойчиво утверждает, что «человек, пренебрегающий делом молитвы, воистину слеп, не отличая друзей от врагов. Вечного сокрушения достойна вызванная нерадивым этим пренебрежением утрата — утрата драгоценных милостей, даруемых душе беседою с Богом». Одной стороной своей натуры — даже в годы службы коадьютором Ришелье — он всегда оставался верным учеником первого своего учителя, Бенета из Канфилда.

Долго пробыть в Бурже отцу Жозефу не позволили. Дар проповедника был слишком ценен, чтобы расточать его на одну-единственную общину, и в начале весны 1606 года отца Жозефа пригласили читать великопостные проповеди в соборе Ле-Мана. Ничего примечательного там не произошло, не считая того, что некая истеричная женщина, услышав его проповедь, воспылала к нему страстью и попыталась его соблазнить. Для человека, считавшего не упрятанную в монастырь женщину диким животным, внушающей ужас загадкой, искушение не могло быть опасно; и обратив прекрасную противницу, отец Жозеф отправился в Анжер, а из Анжера — в Сомюр. Проповедовать в Сомюре было особой честью: Сомюр входил в число крепостей, отведенных гугенотам по Нантскому эдикту. Под управлением очень способного и деятельного гу-

бернатора, Дю Плесси-Морне, он стал центром кальвинистского просвещения. Незадолго до приезда отца Жозефа там была основана академия, где преподавали видные профессора, набранные не только среди французских гугенотов, но и со всей протестантской Европы. Сомюр располагал и семинарией, где готовили пасторов, и хорошо оборудованной типографией, где протестантские апологеты — в том числе и сам Дю Плесси-Морне — печатали свои памфлеты и книги.

Процветавший кальвинистский город (разрушенный и наполовину истребленный после отмены Нантского эдикта) предоставил католическому меньшинству свободу культа и собственную церковь. В ней отец Жозеф проповедовал и читал поучения об искусстве молитвы; суть поучений он по своему обыкновению записал, чтобы оставить слушателям пособие после своего отъезда. В перерывах между проповедями и назиданиями он обсуждал с влиятельными членами паствы возможность основания в городе капуцинского монастыря. Прежде Дю Плесси-Морне отказывался впускать монахов в свои кальвинистские владения. Как сломить или обойти его упорное сопротивление, отец Жозеф еще не знал, но твердо решил, что не мытьем, так катаньем Сомюр своих капуцинов получит. Тем же летом в Париже на встрече с капитулом своей провинции он произнес на эту тему речь. Собратья и начальники одобрили его замысел, и в конце августа он выехал из Парижа, получив новый пост — блюстителя монастыря в Ренне — и поручение принять необходимые меры для водворения монахов в Сомюре.

Поручение это привело к глубоким и дальним последствиям в жизни молодого капуцина. Благочестивая интрига против Дю Плесси-Морне оказалась первым звеном в длинной цепи непредвиденных обстоятельств, возведшей его в конце концов на самую вершину политической власти. Началось все с визита в аббатство Фонтевро. Фонтевро было монастырем-учредителем основанного в

двенадцатом веке ордена, все монахи и монахини которого подчинялись настоятельнице Фонтевро. Орден скопил колоссальные богатства, имел дочерние монастыри по всей Франции и вербовал монахинь из самых аристократических семейств. Настоятельница считалась одним из первых лиц в галликанской церкви. Как и подобает столь важной должности, «Госпожа де Фонтерво» почти всегда имела титул не ниже герцогини, а часто и выше: выгодный пост нередко доставался принцессам крови. В 1606 году его занимала пожилая тетка Генриха IV, Элеонора Бурбонская. Ее знатность и то, что от Сомюра Фонтерво отделяли лишь несколько миль, делали госпожу де Бурбон удобной посредницей в переговорах с Дю Плесси-Морне. К ней отца Жозефа и направили. Она благосклонно выслушала его просьбу и сразу же написала губернатору Сомюра. Дю Плесси-Морне не жаловал монахов; но обидеть близкую родственницу короля он себе позволить не мог. Он разрешил основать в Сомюре капуцинский монастырь; но втайне делал все, чтобы капуцинам его разрешение не принесло никакой пользы. В ход были пущены все заградительные юридические уловки, и три долгих года городской парламент отказывался утвердить королевский указ, даровавший капуцинам право основать монастырь в Сомюре. Но монахи не сдавались, и наконец в 1609 году был торжественно заложен первый камень нового монастыря. Отец Жозеф праздновал победу. Однако насладиться ею ему не пришлось. Он надеялся и рассчитывал, что сомюрское начинание даст ему драгоценную возможность проповедовать среди еретиков. На самом деле оно привело его на совершенно иной путь.

На госпожу де Бурбон произвел самое благоприятное впечатление присланный к ней молодой монах. Рвение и набожность образцовые, рассудительность не уступает пылу; но что еще важнее, под рваной рясой и нечесаной бородой скрывался аристократ, превосходно образованный и с безупречными манерами. Бывших дворян не бывает: ни-

чем нельзя было скрыть, что нынешний отец Жозеф прежде был бароном де Маффлие. Вельможи, министры короны, принцы и принцессы крови — вот кому было легко с этим необычным монахом. Он был «один из нас», член касты. Кроме того, по словам современника, «его беседа была увлекательной, а обхождение с людьми благородными — бесконечно ловким». Элеонора Бурбонская была увлечена не меньше всех остальных. Покончив с делом, ради которого отец Жозеф явился, она попросила у него совета в собственных затруднениях. Речь шла не о пустяках. Фонтевро и дочерние монастыри жили пусть и не скандальной, но чрезвычайно мирской жизнью. Обители превратились в нечто вроде закрытых загородных клубов для женщин. Из трех монашеских обетов обет целомудрия соблюдался неукоснительно; обет послушания — кое-как, обет бедности вообще не соблюдался. Монахини сохраняли свои доходы, имущество и слуг. Благочестивая, пусть и на довольно туманный лад, настоятельница хотела чем-то помочь ордену. Но чем? И как?

Отец Жозеф обсудил положение с настоятельницей и Антуанеттой Орлеанской — ее заместительницей и племянницей. Жившая намного более интенсивной и глубокой религиозной жизнью, чем ее тетка, принцесса Орлеанская давно мечтала о создании — внутри ли ордена Фонтевро или отдельно от него — конгрегации созерцательниц. Именно такого советчика и помощника, как приехавший к ним молодой мистик, с его энергией и хваткой, она всегда надеялась найти.

Отец Жозеф разработал два проекта: умеренной реформы — для госпожи де Бурбон и более мирских насельниц Фонтевро, и радикальной — для принцессы Орлеанской и тех монахинь и послушниц, которые пожелают вместе с ней вести созерцательную жизнь в строгом затворе. С ревнительницами той мистической и аскетической религии, какую исповедовал и он сам, отец Жозеф сотрудничал от всего сердца и с величайшим удовольствием. С госпо-

жой де Бурбон и мирской партией дело обстояло иначе. Молодой монах хотел одного — оставаться благовестником и апостолом мистицизма; а по несчастному стечению обстоятельств оказался глубоко вовлечен в крайне тягостное для него предприятие — в исправление монахинь, которые исправляться, даже слегка, не желали и располагали достаточным богатством и влиянием, чтобы вставлять исправителю палки в колеса. Но решая эту неблагодарную задачу, он выказал столь выдающиеся таланты, что ему так и не позволили ее с себя сложить и вернуться к миссионерским трудам. Назначавшийся поочередно блюстителем монастырей в Ренне, Шиноне, Туре, он регулярно навещался в Фонтевро. Там, среди знатных дам в нарядных рясах, он героически старался уничтожить малейшие остатки собственных чувств по отношению к возложенной на него задаче. Ее исполнения требовала Божья воля, которой он — всего лишь орудие. Ежедневно и ежечасно он возобновлял свою решимость творить эту волю — решимость деятельную, единую, *вольную*...

Как бы то ни было, реформа Фонтевро оставалась крайне трудным и деликатным делом. Поскольку в подобных случаях ум хорошо, а два лучше, то отец Жозеф обратился за поддержкой и советом к предстоятелю соседней, Люсонской, епархии, которому еще не исполнилось и тридцати лет, но который уже славился своими способностями и реформаторским рвением. Звали раннее церковное дарование Арман Жан дю Плесси де Ришелье. Отец Жозеф с ним встретился; они обсудили неотложные и насущные дела, обменялись мнениями о предметах более общего порядка и расстались, питая взаимное восхищение и дружбу. Сковалось очередное звено в судьбе отца Жозефа.

Труд реформирования затянулся на годы. В 1610 году отца Жозефа перевели из Парижской провинции в Турень, чтобы он мог подольше бывать в Фонтевро, и с этих пор до 1613 года он проводил месяцы подряд в том или ином монастыре ордена, помогая принцессе Орлеанской в

создании небольшой общины созерцательниц, а входившим в привилегированный клуб Фонтевро дамам пытаюсь придать хоть сколько-нибудь монашеский облик. Трудности, с которыми он сталкивался, внезапно выросли со смертью старой госпожи де Бурбон. Право выбора преемницы принадлежало короне, а корону в тот момент представляла регентша, Мария Медичи, — она назначила герцогиню де Лаведан. И до и после назначения королева-мать обращалась к отцу Жозефу за советом и подобно всем, кто знал его в то время, составила о его добродетелях и способностях исключительно высокое мнение — которое и сохранила до того дня в 1630 году, когда бегство в Брюссель окончательно убрало ее с французской политической сцены. Снова обстоятельства складывались так, чтобы увести миссионера от проповеди в мир большой политики.

Незачем подробно описывать работу, проделанную отцом Жозефом в Фонтевро и в соседнем аббатстве, куда принцесса Орлеанская поселила тех монахинь, которые искренне стремились к аскезе и молитве. Достаточно сказать, что благодаря ему поведение более мирских дам обрело пристойность и что в конце концов, в 1617 году, основанной принцессой Орлеанской общине папская булла даровала статус нового и независимого ордена — конгрегации Богоматери Голгофской, или кальварианского ордена. Последний успех был достигнут вопреки самому решительному сопротивлению новой аббатисы Фонтевро, ревниво охранявшей свою власть и питавшей отвращение к сколь угодно превосходным реформам, если те грозили сократить число ее питомиц.

Основавшая вместе с отцом Жозефом кальварианский орден принцесса Орлеанская умерла в 1618 году — всего через несколько месяцев после того, как ее орден обрел независимость от Фонтевро. Умирая, она завещала отцу Жозефу руководство новой конгрегацией на том пути, который они вместе начертали. Именно этот путь капуцин выбрал и для себя самого, с первого своего обращения к

религии, — путь умерщвления плоти, мистической молитвы и интенсивных, визионерских медитаций о Страстях Христовых. Чуть не всю его сознательную жизнь Голгофа владела его воображением — Голгофе был посвящен и новый орден. Представлять себя на месте Марии у подножия креста, испытывать мысли и чувства, испытанные ею за время долгих мук ее Сына, — в этом заключалось главное молитвенное служение монахинь; кроме того им предстояло заниматься искусством умной молитвы по правилам, которые отец Жозеф вывел из сочинений Бенета. На руководство ими, на их духовное и даже умственное образование отец Жозеф тратил с тех пор сколько мог времени, талантов и сил. Даже на вершине власти и под тяжелейшим гнетом забот он никогда не забывал о кальварианках. Оказываясь в Париже или в любом другом городе, где имелись отделения ордена, он всякий раз находил время, чтобы хоть один день в неделю посвятить наставлению и ободрению монахинь. Он сочинил для них настоящую библиотеку из трактатов о молитве, морали, философии, теологии, а кроме того — огромное число писем о повседневных проблемах духовной жизни. Многие тексты сохранились, но ни разу не издавались. Согласно подсчетам единственного имевшего к ним доступ современного исследователя, трактаты и духовные письма отца Жозефа к кальварианкам составили бы в печати тридцать томов *in octavo* по пятьсот страниц каждый. Большая часть этой колоссальной продукции сочинена в то время, когда капуцин занимал посты государственного секретаря по иностранным делам и папского уполномоченного по миссиям. К этим двум полноценным службам он добавил третью — духовного наставника целой религиозной конгрегации. В лице затворниц он мог отдаваться той молитвенной жизни, которую отец Бенет научил его любить, но которую Ришелье и государственные дела не давали ему вести самолично. Слава Франции, унижение австрийской династии много значили для патриота, убежденного, что торжество его родины —

это и торжество Господа. Но духовное благополучие монахинь и их преуспевание в искусстве умной молитвы стояли в глазах отца Жозефа не ниже. До конца своих дней государственный деятель из всех сил старался остаться мистиком.

Еще имея на руках деликатное и тягостное дело в Фонтевро, отец Жозеф был назначен коадьютором провинциала Турени; а немного позже, уже избавившись от более мирских дам и занимаясь только принцессой Орлеанской и ее созерцательницами, сам стал провинциалом. В турскую провинцию ордена капуцинов входили не только окрестности Тура, но и вся область Пуату и большая часть Бретани и Нормандии. Став блюстителем огромной территории, отец Жозеф счел своим долгом лично познакомиться с каждым монахом внутри ее границ. На смену частым путешествиям прежних лет пришло почти непрерывное странничество, форсированные марши по подопечной ему земле. За эти годы он прошагал буквально тысячи миль. И каких миль! У нас в уме слово «Франция» рождает картины благоустроенной страны с возделанными полями и ухоженными рощами, страны, покрытой сетью прекрасных дорог и усеянной зажиточными селами и городами. В начале семнадцатого века такая Франция существовала лишь в далеком и непредставимом будущем. Страну покрывали огромные леса, едва ли менее дикие, чем те, сквозь которые продирался Цезарь во время Галльских войн. Повсюду водились волки; кое-где попадались медведи и бобры. Значительная часть открытой местности оставалась неосушенной. Большие территории, теперь занятые под пашни, тогда были малярийными болотами, затопленными весь год, кроме самых жарких месяцев. Дороги мало отличались от местности, по которой пролегали, а в ненастье делались непроходимы для колесного транспорта и тяжелы даже для всадников и пешеходов. Владельцы земли жили в замках и укрепленных поместьях, многие из которых сохранились до

наших дней, но те, кто ее обрабатывал, обитали в жалких мазанках, до того непрочных, что почти все они бесследно исчезли с лица земли. В прежние годы нищету живших под феодалами крестьян усугубляли опустошительные гражданские войны; но теперь, при Генрихе IV, вернулся мир и вместе с ним — обычное убожество, которое в ту эпоху считалось благоденствием. Многие ветераны гражданских войн, оставшись теперь без занятия, в городах пошли в сводники и воры, а по селам — в разбойники. Разлагающиеся тела иных злодеев болтались на придорожных виселицах, но большинство разгуливало на воле — поэтому путешествовать приходилось с оружием и, по возможности, большими группами. Отцу Жозефу посчастливилось не иметь иного имущества, кроме заслуженной капуцинами славы деятельных благотворителей и аскетов. На него могли напасть волки, он мог заболеть малярией или тифом, мог утонуть при переправе в половодье; но погибнуть от бандитской руки он вряд ли мог. На то сокровище, которое провинциал Турени собирал, обходя подведомственные монастыри, нельзя было купить ничего, что прельстило бы разбойника с большой дороги.

Отца Жозефа нескончаемые переходы по бездорожью не столько пугали усталостью, сколько манили возможностью для медитаций, которые позволительно было продлевать от отбытия на рассвете до конца дневного перехода на закате.

Монахи провинции уважали отца Жозефа за твердость действий, сглаженную удивительной кротостью и смирением в обхождении. Злоупотребления вовремя устранялись, дисциплина насаждалась, необходимые взыскания и наказания неукоснительно налагались — но непременно с мягкостью и проникновением в характер действующих лиц, едва ли не доходившим до того атрибута святых, который носит техническое название «различение духов».

В промежутки между путешествиями отец Жозеф продолжал проповедовать и писать. Именно в это время

он составил для послушников своей провинции то «Введение в духовную жизнь», о котором мы уже говорили и в котором он полнее всего изложил свои взгляды на теорию и практику мистической жизни. Мы видели, что почти такие же трактаты он сочинял и прежде; но этот далеко превосходил остальные полнотой и детальностью — поскольку лишь он писался в расчете на публикацию.

У отца Жозефа, в этот период его жизни, оставалось время, чтобы практиковать свойственный ему метод мистической и образной молитвы с большим обычного постоянством. Вследствие этого возобновились те феномены, какими сопровождалась его ранние молитвы в Руанской семинарии. Он имел видения, откровения, впадал в экстаз. Порой он едва мог говорить о страданиях Христа, не впадая в транс. По меньшей мере однажды это случилось с ним на кафедре. Заговорив о распятии, он был так потрясен, что лишился чувств, упал и некоторое время оставался в состоянии близком к каталепсии.

По мнению опытных мистиков, подобные физические симптомы хотя могут быть и знаком божественной милости, но безусловно свидетельствуют о человеческой слабости, а может быть, и о неверной выучке и неразумной практике молитвенного искусства. Разумеется, они говорят и о силе вызвавших их переживаний. Чего у Иезекии не было, это теплохладности или равнодушия.

О своих состояниях отец Жозеф рассказывал мало; но он, несомненно, придавал им большое значение. В последующие годы он смотрел на видения и откровения (иногда собственные, чаще — посещавшие подопечных кальварианок) как на важные факты, которые необходимо учитывать при выработке политики и ведении военных кампаний. Он мог бы и не стараться. Откровения эти и не избавили его от ошибок, и не заменили его природную политическую проницательность. Стоит отметить, что слишком человеческое и антропоцентрическое отношение отца Жозефа к этим побочным продуктам духов-

ной жизни разделяли не все его современники. Вот что думал о них Жан-Жак Олье, основатель семинарии Сен-Сюльпис и достойный ученик Шарля де Кондрена, величайшего из последователей Берюлля. «Откровения, — пишет он, — суть заблуждения веры; суть отвлечение, вредящее простоте в нашем отношении к Богу и мешающее душе, ибо заставляют ее уклониться с прямого пути к Богу и занимают ум иными, нежели Бог, вещами. Особые просветления, слышания, пророчества и прочее суть приметы слабости в душе, не умеющей противостоять искушениям или тревоге о будущем и Божьей о нем воле. Пророчества тоже суть приметы тварного любопытства у создания, к которому Бог снисходит и которому, словно отец докучному ребенку, дает горстку леденцов, чтобы утолить его голод». Как это далеко от отца Жозефа или даже от алчной тяги и суеверного почтения Паскаля к знамениям и чудесам! Олье достиг той ступени интеллектуальной строгости, или, как сказал бы отец Бенет, уничтожения, к которой двое других даже не приблизились.

Глава 5

На подступах к политике

Теперь, когда Фонтевро был реформирован, казалось, что отец Жозеф сможет вернуться к делу, которое он любил больше всего и считал своим настоящим призванием. Работы было много: вернуть еретиков в лоно Церкви, равнодушных и пребывающих в довольстве католиков вывести из роковой апатии, а набожное меньшинство обучить истинному искусству созерцательной молитвы. Много работы; но и многого мог бы добиться с Божьей помощью глава всех монахов провинции! Он радовался при мысли о том, сколько сможет он совершить и претерпеть, — если будет позволено, — на этом миссионерском поприще.

Но снова вмешалась судьба и, поскольку ей откликнулась одна из сторон его двойственной природы, поскольку в нем действительно жил Тенебозо-Кавернозо, с ней не совладать было проповеднику-францисканцу. Через Ришелье и королеву-мать политика уже подзывала его издали. И вот, внезапно, в последние недели 1615 года, она его окружила. Он вдруг очутился в центре гражданской войны и в положении человека, который должен вести переговоры об урегулировании.

После убийства Генриха IV власть во Франции перешла к его вдове, которая стала регентшей при малолетнем Людовике XIII. На портретах Мария Медичи — крупная, полная, роскошно одетая буфетчица, а свиде-

тельства ее правления показывают, что она была даже глупее, — если такое возможно, — чем выглядела. Отсутствие ума дополнялось почти противоестественной холодностью темперамента. Единственными ее страстями были власть, которой она не умела пользоваться, и дорогие безделушки, в особенности драгоценные камни, из-за которых она делала миллионные долги и заимствования из государственной казны. К любви — материнской, равно как и женской — она была, кажется, почти неспособна. Она была равнодушной женой, целомудренной вдовой и невнимательной, даже бессердечной матерью. (Дофин воспитывался в Сен-Жермене, и Мария редко утруждала себя визитами к сыну. Косвенно, впрочем, она сыграла решающую роль в его воспитании: она отдала и постоянно подтверждала совершенно официальный приказ каждое утро до завтрака сечь ребенка розгами за вчерашние проступки. Эта практика продолжалась и после того, как Людовик стал королем Франции.) Единственным, к кому Мария, по-видимому, испытывала привязанность, была маленькая увечная фрейлина, подруга ее несчастливого детства Леонора Дори по прозвищу Галигаи. К этой женщине королева относилась со снисходительностью, доходящей до идиотизма. Ее муж, флорентийский авантюрист Кончини, был сделан премьер-министром и маршалом Франции, а сама Галигаи диктовала политику страны, назначала министров, судей, епископов, послов, губернаторов провинций (всякий раз из финансового интереса) и, беря взятки, воруя у правительства, за несколько лет нажила миллионы.

Коррупцированная власть иностранных гангстеров едва ли может быть популярной, и правительство Марии Медичи одинаково ненавидели знать и народ. Его ненавидели и при этом не боялись, ибо оно было не только продажным, но также слабым и неумелым. Гражданские войны конца XVI века в значительной мере восстановили могущество французских грандов, вернув им частичную

автономию, которой они обладали в Средние века, до установления абсолютной монархии. С одобрения и при поддержке третьего сословия Генрих IV привел знать к покорности. Продажное и некомпетентное регентство фактически способствовало тому, что знать снова утвердилась в своей независимости от короны. Когда знать бунтовала, Мария Медичи обыкновенно стремилась подкупить ее — громадными денежными подачками, земельными наделами и продвижением по службе. Знать принимала подачки, клялась в верности и через несколько месяцев принималась за старое. Страдало же от беспорядков и по счетам платило — третье сословие. Но, несмотря на это, несмотря на отвращение к итальянским фаворитам королевы-матери, народ оставался неизменно верен королю — отчасти, здраво рассчитывая на то, что корона защитит его от невыносимого произвола местных магнатов, отчасти по привычке.

Во Франции XVII века божественное право монарха было неотъемлемой частью психологии толпы. Поэтому церковников и знать не любили не только как угнетателей, но и потому еще, что они не относились с должной почтительностью к королю.

O noblesse, o clergé, les aînés de la France,
Puisque l'honneur du roi si mal vous maintenez,
Puisque le tiers etat en ce point vous devance,
Il faut que vos cadets deviennent vous aînés.*

Так писал популярный рифмоплет того времени, и в 1614 году на заседании Генеральных Штатов (последнем до 1789 года) третье сословие предложило резолюцию, гласившую, что «нет власти ни духовной, ни от мира сего, высшей, нежели королевство». Это была декларация ре-

* О, знать и духовенство, вы, старшие над Францией: поскольку вы плохо блюдете честь короля, поскольку третье сословие вас в этом превосходит, меньшие вас должны стать старшими над вами (франц.).

волюционного монархизма, направленная против аристократов и римской иерархии.

В 1625 году гранды снова взялись за свое. Принц Конде, герцоги Буйон, Лонгвиль, Майенн, Невер — все губернаторы провинций с собственными армиями — подняли мятеж против центрального правительства. Подлинный мотив их бунта был тот же, что всегда, — увеличить власть и богатство аристократии за счет короны. Выдвигалась же в качестве мотива, как ни парадоксально, поддержка третьего сословия в его желании утвердить божественное право короля на неограниченную власть. Это не значит, конечно, что Конде, предводитель мятежа, пекся о низших классах или хотел укрепления королевской власти. Если он поддержал резолюцию третьего сословия, то потому лишь, что таким поступком мог привлечь на свою сторону народ вообще и протестантов в частности. Эти последние одобряли резолюцию по той же причине, по какой Мария Медичи не одобряла, — потому что она была антипапской. Конде рассчитывал использовать силу религиозных предрассудков в своей и своих друзей борьбе за власть и деньги.

Мятеж начался поздней осенью 1615 года. Мятежники собрали армию, правительство собрало армию. Кажется, что на этот раз война пойдет всерьез. И вдруг, откуда ни возьмись, явился отец Жозеф. Зима была из худших на памяти поколения, и эпидемия — по-видимому, гриппа — косила людей тысячами в каждом городе и селении; но провинциал Турени совершал свои инспекционные обходы, как обычно. И вот в Лудене он неожиданно оказался в самом центре восстания.

Миротворство входило в обязанности капуцинов. Не дожидаясь указаний от старших, отец Жозеф решил немедленно встретиться с Конде. Ему было несложно получить аудиенцию у принца. Как провинциал ордена он был лицом, облеченным некоторой властью. Кроме того, его младший брат Шарль дю Трамбле был камергером

принца. Его приняли; он беседовал с Конде, он имел долгие дискуссии с советом грандов.

По праву духовного лица и со страстной убежденностью прирожденного проповедника он умолял их изгнать страну от ужасов гражданской войны, вернуться под королевскую длань. Гранды выдвигали возражения, заявляли свои претензии, говорили о своих обидах. Проповедник немедленно уступил место дипломату: теперь с ними заговорил не Иезекили, а Тенеброзо-Кавернозо. С чарующим мастерством и во всеоружии прекрасных манер, усвоенных в академии месье де Плювинеля, он урезонивал их, улещивал; но иногда давал себе волю и высказывался откровенно и без обиняков, как дозволено благородному человеку в беседе с равными. Затем внезапно менял тон и вновь превращался в монаха-духовидца, который по праву звания может осуждать несправедливые дела даже высших властей и предостерегать даже принцев о роковых последствиях в этом мире и в ином. Таков был метод переговоров отца Жозефа на протяжении всей его карьеры. Являя собой странную помесь Меттерниха с Савонаролой, он мог вести дипломатическую игру с двойным против обычным набором козырей. Не надо думать, что в этих случаях он действовал с рассчитанной неискренностью, что он сознательно переходил от одной роли к другой. Нет, в нем действительно совмещались Иезекили и Тенеброзо-Кавернозо, и он был действительно убежден, что политика, столь искусно проводимая последним, не меньше согласуется с волей Божьей, чем проповеди и наставления, которые были делом жизни первого.

Проведя неделю с мятежниками, он получил разрешение изложить их аргументы королеве-матери и ее советникам, стоявшим со своими войсками в Туре. Он сделал это, и по совету папского нунция Мария Медичи назначила его своим неофициальным представителем на переговорах.

В Туре возобновилось его знакомство с епископом Люсонским. Ришелье приступил к государственной деятельности за год до этого — как представитель духовенства на Генеральных Штатах; он приобрел расположение королевы-матери, произнеся речь, полную беззастенчивой лести; он обхаживал Кончини и Галигаи и за свои старания был вознагражден должностью штатного священника при королеве-девочке Анне Австрийской. Теперь он рыскал в окрестностях дворца, нетерпеливо дожидаясь случая ухватить кусочек политической власти, полагавшейся ему, как он считал, ввиду его исключительных способностей. Всякий раз, когда его предупреждали о приходе капуцина, Ришелье выезжал в карете встречать его. Ради какого-нибудь герцога или принца отец Жозеф не нарушил бы правило, воспрещавшее ездить верхом и в карете. Но Ришелье, как епископа, ему надлежало слушаться. Епископ временно освобождал монаха от обета пешего хождения. Когда выпрыгивали лакеи и распахивали перед ним дверь кареты, он мог сесть в нее с чистой совестью, зная, что поведение его в церковном смысле совершенно правильно.

Сидя рядом в карете, они разговаривали подробно и доверительно — о нынешнем мятеже, о слабости правительства, о состоянии страны в целом, об опасных планах Испании, о смуте, зреющей в Германии, о трудном положении Рима, теснимого явными врагами — протестантами и еще более зловещими друзьями — Габсбургами. По большинству вопросов монах и епископ были полностью согласны. Оба считали, что Франция отчаянно нуждается в сильном центральном правительстве, что с самовластием знати и гугенотов надо покончить и король должен стать единоличным властителем страны. Оба желали реформы и оживления французской Церкви. Оба были убеждены, что Франция — одно из избранных орудий Провидения и должна стать могущественной, дабы сыграть свою роль в христианском мире — ведущую роль, для

которой Бог ее несомненно предназначил. Но если Ришелье был убежден, что правильная политика укрепления Франции должна быть четко антииспанской и антиавстрийской, то отец Жозеф, напротив, считал необходимым союз великих католических держав против еретиков. Первые среди равных, Бурбоны должны сотрудничать с двумя ветвями Габсбургов в воссоздании объединенного христианского мира. И тут его тон менялся. Тенебросо-Кавернозо уступал дорогу Иезекили. Ришелье слушал и, когда пророческие громы затихали, спокойно замечал, что всякий добрый католик, конечно, желает видеть христианство более сплоченным, однако никуда не денешься от того факта, что вот уже сто лет Испания и Австрия пытаются стать господами Европы. Франция окружена их территориями. Испанские армии — на всех границах, испанские корабли ходят повсюду, от Бискайского залива до Нидерландов. Рано или поздно надо преподать этим Габсбургам урок.

— Но единство Церкви, — возражал монах, — цельнотканая риза...

— Тканная в Мадриде, — сухо отвечал епископ, — и расшитая в Вене.

И дискуссия продолжалась. Несмотря на их разногласия насчет внешней политики, отец Жозеф с каждым днем все больше восхищался епископом. Среди продажных, корыстных, предельно некомпетентных друзей и недругов, толпившихся вокруг малолетнего короля и его тщеславной, глупой матери, Ришелье казался ему единственным человеком, способным дать расстроенной державе то, в чем она мучительно нуждалась, — внутренний мир, сильное правительство, исправление общественных пороков. Чем больше думал и печалился монах о состоянии королевства, тем яснее становилось ему, что епископ Люсонский есть тот человек, которого Бог избрал своим орудием. И он решил отныне делать все от него зависящее, чтобы помочь своему другу выполнить начертанное

судьбой. Посещая Тур, он пользовался всяким случаем напомнить королеве-матери о талантах Ришелье. Позже, когда капуцин отбыл в Италию, Мария Медичи воспользовалась его советом и велела епископу Люсонскому продолжить и завершить работу по умиротворению, начатую в Лудене.

В переговорах, закончившихся Луденским миром, отец Жозеф в полной мере проявил свое необыкновенное политическое мастерство. Его главным противником в дипломатической игре был протестант, герцог Буйонский, человек настолько сильный и одаренный, что на протяжении многих лет, противостоя Ришелье, он мог сохранять почти полную политическую независимость. В конце переговоров Буйон дал монаху такую характеристику, какой мог бы гордиться любой политик. «Этот человек, — сказал он, — проникает в мои самые сокровенные мысли, ему известно то, чем я делюсь лишь с самыми надежными и осмотрительными людьми; он уходит в Тур и возвращается, пешком, под дождем, под снегом и градом, в самую ужасную погоду, никем не замеченный. Клянусь, не иначе как дьявол обитает в теле этого монаха».

Мир, наконец, был заключен благодаря решительному вмешательству Иезекии. Конде не миновала эпидемия гриппа, и несколько дней он был, казалось, на грани смерти. Отец Жозеф воспользовался этим моментом, чтобы самым торжественным образом изобразить ему опасности, которым он подвергнет свою душу, если умрет, оставив страну в когтях гражданской войны. Принц был утрашен, и хотя он выздоровел и прожил еще много лет, причиняя стране беспокойство, тут он быстро заключил мир с королевой-матерью, на чем и настаивал монах.

Луденский мир ничего не решил; гранды восставали еще много раз, прежде чем их окончательно усмирил Ришелье. Решающим этот мир оказался только для отца Жозефа. В переговорах с Конде и Буйоном он зареко-

мендовал себя перед властями как искусный политик. Отныне он уже никогда не сможет оставаться исключительно миссионером и мистиком. Даже если бы Ришелье не стал первым министром, отцу Жозефу все равно пришлось бы играть роль, пусть и вспомогательную, в политической жизни своей эпохи. В Лудене судьба отвела ему позицию, которую он едва ли мог бы покинуть, даже если бы захотел. И хотя часть его *желала* ее покинуть, хотя в последующие годы он часто жаловался, что политическая жизнь — это ад на земле, тут же всегда был и Тенеброзо-Кавернозо, наслаждавшийся игрой, которую умел вести так мастерски, был и пламенный патриот, *знавший*, что цели Бога и цели французского правительства по сути совпадают.

Среди вельмож, собравшихся в Лудене, был один, герцог де Невер, с кем отец Жозеф много раз и подолгу беседовал наедине. Историческая роль этого персонажа ни в коей мере не объяснялась его природными талантами. Подобно Замврию у Драйдена он

Был упрям во мнениях и всегда ошибался,
За дело брался рьяно и ни одного не кончал.

И этим сходство не ограничивалось. Он был тщеславен как Бэкингам, так же расточителен и хвастлив — и совершенно ненадежен. Может быть, самым замечательным в нем было свойство, о котором сообщил под присягой один из его слуг: «Он всегда спал с открытыми глазами, и из этих открытых глаз шли такие страшные лучи, что он (слуга) часто пугался и не мог к этому привыкнуть». Секрет необычайного влияния этого герцога крылся в его генеалогическом древе.

По воспитанию и титулу он был француз; по крови — итальянец, грек и немец. Его мать была принцессой Клевской; бабушка по отцу — из императорской династии Палеологов; отец — Гонзага. (В одном письме королевы-матери Невер написал, проявив больше осведомленности,

чем такта: «хорошо известно, что Гонзага были принцами задолго до того, как Медичи стали хотя бы дворянами».) Принадлежа к роду Гонзага, он мог претендовать, если оборвется прямая линия наследования, на престол одного из важнейших итальянских государств. Через несколько лет вопрос о его праве наследования в Мантуе приведет к войне между Францией и Испанией, и, чтобы уладить ссору, потребуются все дипломатические таланты отца Жозефа. Но пока что герцог интересовал его не как Гонзага, а как Палеолог. Султаны правили Константинополем уже больше полутора столетия; но среди покоренных и униженных греков память о политической свободе и их последних императорах была жива. Герцог Неверский был потомком императоров, и по этой причине жители Пелопоннеса недавно прислали к нему делегацию с просьбой возглавить планируемое восстание христиан против турецких поработителей. Герцог должен был предоставить свое имя и боеприпасы; греки обещали сделать остальное. Невер, жаждавший славы и остро сознававший свою принадлежность к императорской фамилии, испытывал сильное искушение. Но при всей его глупости и импульсивности, у герцога хватило ума понять, что Османскую империю не свергнет недисциплинированное войско горцев-греков, даже под командованием Палеолога. Чтобы восстание было успешным, его должна поддержать военная и морская экспедиция, снаряженная великими державами Западной Европы. Но согласятся ли великие державы употребить на это свои ресурсы? Это был вопрос. И это было темой долгих доверительных разговоров герцога и отца Жозефа.

В эпоху, когда не писали ни вестернов, ни детективных романов, самой увлекательной литературой для мальчика с воображением были, вероятно, хроники крестовых походов. В уме ребенка, росшего во времена Франсуа дю Трамбле, неверные занимали то же место, что и краснокожие в умах школьников недавних времен.

Выросши, большинство людей забывали о неверных, как забывают теперь об индейцах. Не то — Франсуа дю Трамбле. Уйдя в монастырь, он очутился в мире, где неверные были постоянной темой разговоров и даже молитв. Святой Франциск был глубоко озабочен миссиями, мученичеством и возвращением Святых мест. У его последователей эта озабоченность стала традицией. Все францисканцы, включая, конечно, капуцинов, испытывали род профессионального интереса к крестовым походам. К этому профессиональному интересу отец Жозеф добавил свой личный энтузиазм. Его воображение с детства было приковано к Голгофе. Святые места были так же дороги ему, как родина. Освобождение их было делом духовного патриотизма. От Страстей Христовых логика чувства и воображения вела к выводу, что крестовый поход против турок есть одна из высших обязанностей христианина. Размышления на эту тему кристаллизовались у отца Жозефа в форме видений и голосов; Бог приказывал ему трудиться ради крестового похода и неясно намекал на успех. И вот Провидение послало ему последнего из Палеологов, и греки умоляли герцога придти и повести их против неверных. Это было новое призвание, задача более высокая и славная, нежели проповедь равнодушным и заблудшим. В Иезекили вспыхнул энтузиазм. И одновременно Тенебросо-Кавернозо окинул взглядом политическую сцену и нашел расположение сил необычайно благоприятным для крестового похода. Существующее равновесие в Европе было крайне неустойчивым. Габсбурги, как не уставал напоминать Ришелье, намеревались во имя Контрреформации навязать свое прямое правление или влияние всей Европе. Встревоженные испано-австрийской угрозой, протестантские страны готовились к войне, которую ожидали по истечении двенадцатилетнего перемирия между Испанией и Голландией в 1621 году, — но началась она в 1618-м, в Богемии, восставшей против императора. В ре-

гентство королевы-матери традиционная антииспанская политика Франции приняла противоположное направление; но очевидно было, что страх перед усилением Габсбургов рано или поздно заставит вернуться к стратегии Франциска I и Генриха IV. Тем временем все германские государства наращивали армии; громадная военная машина Испании достигла совершенства, невиданного со времен Рима; росла морская мощь Голландии; шведы начали использовать научные методы в военном деле. Вся Европа кишела солдатами, готовыми по первому слову отправиться в поход. Насмешники могли считать крестовый поход абсурдом и химерой; но именно в тот момент истории умный политик нашел бы много доводов в пользу такой идеи. Если бы крестовый поход был организован вовремя, война, которую все считали неизбежной, могла бы быть предотвращена и великие державы примирились бы, объединив усилия против общего врага. Сбылась бы мечта Иезекии о воссоединении христианского мира. События показали, что этот план неосуществим. Но, если мы допустим на минуту желательность истребления огромного числа мусульман, то вынуждены будем согласиться с отцом Жозефом, что во втором десятилетии семнадцатого века не было политики более дальновидной, чем большой международный поход против турок. Насущной практической задачей было убедить великие державы в преимуществах столь дальновидной политики. Ришелье, когда спросили его совета, покачал головой и перечислил препятствия, которые предстояло преодолеть. Но это не погасило энтузиазма у его партнеров; в конце концов епископ согласился сделать все, что сможет, для продвижения этого плана — при условии, что герцог Неверский, предъявляя свои претензии на политическую власть, объединит силы с отцом Жозефом.

Крестовый поход невозможно было предпринять без открытого одобрения и поддержки Ватикана. Поэто-

му, получив необходимые разрешения, отец Жозеф немедленно отправился в Рим, как всегда пешком. Крестовый поход был не единственным его делом и Невер — не единственной важной персоной, которую он представлял. От Конде он должен был передать объяснения, извинения и просьбу простить его за недавнее сотрудничество с гугенотами; от Марии Медичи — приветствие; от госпожи д'Орлеан — напоминание о том, что ее кальварианки все еще ждут буллы, которая сделает их независимой конгрегацией; а от своего собственного ордена — просьбу о разрешении организовать миссии среди еретиков Пуату.

Камилло Боргезе, правивший в Риме под именем Павла V, был по натуре законником, державшимся буквы, а не духа, педантом и придирой. И, хотя вначале он подозрительно отнесся к упоминаниям монаха о его видениях и откровениях, дар «увлекательной беседы» и «бесконечная ловкость в обхождении с благородными людьми» возымели свое обычное действие. Монах произвел впечатление на папу и в конце концов убедил его. Папа обещал поддержать план крестового похода всей церковной машинерией. Но прежде, чем план будет признан официально, монаху следует прощупать все заинтересованные правительства. Весной 1617 года, когда отец Жозеф покидал Рим, ему были твердо обещаны буллы о кальварианках и миссиях в Пуату и выдано письмо понтифика к испанскому монарху, уполномочившее его вести переговоры о крестовом походе. Он пробыл в Риме долго — в общей сложности около восьми месяцев, — но достиг всего, чего добивался. Больше того: он познакомился с некоторыми высшими чинами римской курии и произвел на них глубокое впечатление своим усердием, честностью и выдающимися талантами. Недели, проведенные в Лудене, сделали его человеком, с которым считалась Франция, месяцы в Риме — фигурой, влиятельной в Церкви. С этой поры мы можем видеть, как он обменивается письмами с

нунциями, легатами, кардиналами и даже папским государственным секретарем.

Другой ликовал бы; но отец Жозеф всегда был начеку, чтобы не впасть в грех гордости и тщеславия. Он давно отучил себя от внешних проявлений удовольствия и неудовольствия и в значительной мере, несомненно, подавил в себе и внутренние их проявления. Единственной эмоциональной поблажкой, которую он дал себе, поспешая на север, через Умбрию и Тоскану, было стихосложение. Под влиянием сдерживаемого восторга в голове его вскипали поэтические образы. В промежутках между медитациями он сочинил и запомнил поразительное количество стихов — на французском и на латыни. На мертвом языке он начал и с поразительной скоростью — 200 стихов в день — довел до половины большую эпическую поэму о турках и крестоносцах. На французском он изливал свои чувства в религиозной лирике, и одно из стихотворений — длинная рапсодия о весне как символе вечной жизни — содержит такие очаровательные строфы, посвященные соловью:

En mille tours il façonne
De sa voix les long replis:
Ainsi tout le ciel résonne
De mille choeurs accomplis.

Aisément l'on ne peut dire
De ce long chant nuit et jour
S'il meurt, s'il pâme, ou soupire
De tourment, d'aise ou d'amour.

Quand par le champs je m'égaye,
En quelque air dévotieux,
Ce chantre jaloux s'essaye
D'élever sa voix au cieux.

Mais en plus pleine musique
La violente douceur
De l'harmonie angelique
Répond aux voix de mon coeur.

Ces oisillons que rassemblent
En un leurs accents divers
Aux motet des Saints ressemblent
Unis en tout l'univers *.

Слагая стихи, молясь, распевая гимны в соперничестве с бесчисленными весенними итальянскими соловьями, отец Жозеф пришел в Турин. Здесь он снова превратился в дипломата. Красноречие пророка, дар увлекательной беседы, бесконечная ловкость в обхождении с благородными людьми — все было пущено в ход, но без особого успеха. Карл Эммануил Савойский был занят войной с Испанией, и ему было не до крестовых походов. Через несколько недель отец Жозеф снова пустился в путь. Форсированным маршем преодолел Альпы и в начале июня явился в Париж. За двенадцать месяцев, что он отсутствовал, в высоких политических сферах, куда его медленно, но верно затягивала судьба, произошло много странных событий. Осенью 1616 года Ришелье стал членом Королевского совета, государственным секретарем по военным и иностранным делам. До высшей власти, к которой он смолоду стремился и двигался хитрыми и часто унижительными путями, было рукой подать. А тут вдруг воспитательная система королевы-матери дала плоды — и плоды ужасные. Мальчик, которого каждое утро пороли, стал фактическим, а не только номинальным королем Франции. Мать, однако, продолжала обращаться с ним, как с ребенком, удерживая власть в своих руках и в руках четы Кончини. В силу привычки, а также по ленос-

* Тысячей рудад он наполняет свои длинные гибкие напевы, так что небо отзывается тысячеголосым прекрасным хором. Трудно сказать об этой песне, которая длится день и ночь, умирает ли он, лишается ли чувств, или вздыхает, томясь, блаженствуя или любя. И когда я бреду по полям в благочестивом настроении, этот ревнивый певец тоже направляет свой голос к небесам. Но в простой этой песне неистовая сладость ангельской гармонии откликается на голос моего сердца. Эти птички, слившие свои голоса воедино, подобны хору святых, собравшихся со всего света (*франц.*).

ти, из робости Людовик XIII до сих пор мирился с таким положением вещей. И вот, без предупреждения, он отплатил матери за ее бесчувственность, за тысячи хладнокровных методических пороков. Он приказал капитану гвардии арестовать Кончини и добавил, что в случае сопротивления его можно убить. Это был смертный приговор. Кончини застрелили при входе в Лувр, и через несколько часов его обнаженное и изуродованное тело было подвешено за ноги на Новом мосту, а вокруг плясала и радостно бесновалась толпа. Еще и на следующий день толпа была так велика, что карета Ришелье надолго задержалась перед въездом на мост, и будущий кардинал мог наглядно убедиться в том, что бывает с непопулярными министрами, когда они лишаются королевской благосклонности. Для него мораль отвратительного зрелища была ясна: «Если достиг политической власти, — свидетельствовал этот кастрированный и раскромсанный труп, — то уж постарайся ее удержать». Все восемнадцать лет своего владычества Ришелье действовал, исходя из этой предпосылки. Между тем, игра была закончена, во всяком случае, временно. Будучи фигурой маловажной, епископ Люсонский не разделил судьбу Кончини, а лишь отправился в ссылку вместе с королевой-матерью. Следующие четыре года страной правил Люин, средних лет помещик, к которому молодой Людовик испытывал необыкновенную привязанность и восхищение по причине его мастерства в соколиной охоте.

Отец Жозеф хранил верность сосланному другу и терпеливо ждал случая вернуть его к власти. Но пока что надежды на это у епископа Люсонского не было. Люин ненавидел и боялся одаренного Ришелье, а Людовику епископ был противен как выдвигенец подлого материнского фаворита. Отец Жозеф выжидал и продолжал работать над своим великим планом крестового похода. Из сообщений Невера, посещавшего разные германские дворы, и от своих многочисленных церковных корреспондентов он уз-

навал, что к плану в целом относятся одобрительно — все, кроме испанцев. Он решил, что настала пора воспользоваться письмом папы к Филиппу Ш. Прокуратор ордена капуцинов дал монаху разрешение путешествовать сколько потребуется. И весной 1618 года, через несколько дней после того, как Ришелье был сослан подальше от королевы-матери в Авиньон, отец Жозеф с двумя спутниками отправился на юг. В Пуатье случилась неожиданная задержка. За несколько дней до его прибытия умерла его давняя сотрудница и друг Антуанетта Орлеанская, и новообразованная конгрегация кальварианок осталась без начальницы. Пока отец Жозеф оставался в Пуатье, занимаясь делами кальварианок, ему доставили странное известие. Представителей императора в Богемии выбросили из окна на третьем этаже дворца в Праге. Давно ожидавшаяся война разразилась, и — хотя подобного никто вообразить не мог — она продлится тридцать лет.

Как только была избрана и вступила в должность новая аббатиса, отец Жозеф устремился в Мадрид — с такой скоростью и по такой жаре, что оба его спутника умерли, не дойдя до цели. Более выносливый от природы, подвижный неукротимым духом, постоянно ощущавший присутствие Бога, отец Жозеф благополучно достиг Мадрида и сразу вступил в переговоры с герцогом Лермой и его царственным патроном. Прием представителю папы был оказан самый любезный и сердечный; идея крестового похода была сочтена в высшей степени похвальной и христианской. Но как только речь зашла о средствах, с помощью которых это принципиальное одобрение можно воплотить в активное дипломатическое, военное и морское сотрудничество с Францией, отец Жозеф обнаружил, что имеет дело не с послушными чадами Церкви, а с испанскими националистами. Разумеется, и те аналогичным образом восприняли отца Жозефа. Имея в глазу бревно, легче разглядеть его и в чужих глазах. Лерме и его хозяину стало ясно следующее: искренне веря, что крестовый поход весьма любезен Богу,

монах вместе с тем убежден, что возглавить его и воспользоваться его лучшими плодами должна Франция. Последнее отец Жозеф обосновывал ссылками на историю. Франция играла главную роль в прошлых крестовых походах — играла потому, что именно такова была, несомненно, воля Провидения. Если в нынешнем походе Франция будет играть роль иную, чем главная, это будет нарушением исторической традиции и игнорированием воли Божией. Посему Франция должна играть ведущую роль. Это казалось аргументом неопровержимым — французам. Испанцам, к сожалению, — не таким убедительным. Одно не вызывало у них сомнений — поход в том виде, как его планирует отец Жозеф, усилит Францию за счет Испании. Опыт научил их, что старый девиз крестоносцев *Gesta Dei per Francos** на практике может легко превратиться в *Gesta Francorum, gesta Dei***, и они разумно заподозрили, что такое превращение действительно произошло под тонзурой отца Жозефа. После четырех месяцев утомительных и безрезультатных переговоров монах вернулся восвояси, не добившись ничего, кроме самых туманных обещаний и уклончивых пожеланий успеха.

Холодность испанцев и зимняя стужа в горах не охладили его энтузиазма. По дороге домой он сочинил длинную лирическую рапсодию о вызволении греков из турецкого рабства. Две строфы этого стихотворения особенно поучительны. *Si, pour te soulager*, — пишет он, обращаясь к Греции, —

Si, pour te soulager, l'univers je tournoie,
C'est trop peu pour mes vœux;
Dans une mer de sang il faut que je me noie
Pour éteindre mes feux.***

* Дела Божьи руками Франции (*лат.*)

** Дела Франции суть дела Божьи (*лат.*)

*** Если, чтобы помочь тебе, я переверну землю,

Мне этого мало; чтобы погас мой пыл, я

Должен утонуть в море крови (*франц.*).

Другими словами, крестоносное рвение отца Жозефа таково, что погасить его можно только морем крови инородцев. Немногие политические идеалисты говорили так откровенно о следствиях своего идеализма. Причина, возможно, в том, что немногие политические идеалисты проводили половину жизни в размышлениях о муках и смерти Богочеловека, по сравнению с которыми страдания обыкновенных людей пренебрежимо малы. А когда прольется море крови — что дальше? У большинства политических идеалистов сомнений нет: утопить в нем людей, с тобой не согласных, и настанет Утопия. Но и тут отец Жозеф на удивление свободен от иллюзий и на удивление откровенен в этой своей свободе.

J'ignore ou mon dessein, que surpasse ma vue,
Si vite me conduit;
Mais comme un astre ardent qui brille dans la nue,
Il me guide en la nuit.*

Результаты любого плана действий всегда неведомы и непостижимы; план должен выполняться сам по себе, как нечто, себе довлеющее. Это — неприкрашенная истина политики; но сколь немногим политикам хватало пронизательности увидеть ее — и смелости, увидев ее, эту неутешительную истину высказать! Крестовый поход против турок оставался одной из главных забот отца Жозефа до конца его дней. Да, к 1625 году он вынужден был признать, что от плана международной экспедиции надо отказаться — и, возможно, на много лет. Причиной тому — европейские раздоры и упорное противодействие обеих ветвей Габсбургского дома. Противодействие крестовому походу преобразило первоначальную испанскую политику отца Жозефа в постоянную и сильную нелюбовь к «традиционному врагу». В начале Тридцатилетней войны он был все-

* Не знаю, куда ведет меня так быстро мой план, итог которого мне не виден; но он указывает мне путь в ночи, как звезда, пылающая в небе (франц.).

цело на стороне императора, против Пфальцского курфюрста и протестантов. О победе императорских войск у Белой Горы он восторженно писал: «Сатана лишился одного из рогов, и Иисус, изгнанный из этих областей, вновь утвердится в Богемии». Несколькими годами позже он делал все, от него зависящее, чтобы рог у сатаны отрос снова. Почему? Потому что победа Габсбургов будет опасна для Франции и будет препятствием возглавленному Францией великому походу против неверных. Самый ревностный из католиков, он пришел к убеждению, что католическая Австрия и католическая Испания угрожают главнейшим интересам католичества. Мнение это отнюдь не было еретическим; его разделял не кто иной, как папа. Будучи итальянским правителем, папа имел все основания опасаться Габсбургов. Решительная победа в Германии сделала бы императора и испанского короля полными хозяевами на Апеннинском полуострове.

Вернувшись из Мадрида, отец Жозеф с неубывающим рвением продолжал готовить крестовый поход. Втихомолку он помогал герцогу Неверскому в организации нового рыцарского ордена, которому предстояло стать ядром предполагаемой международной армии. Христианская милиция — так он назывался — должна была набирать рыцарей и командиров по всей католической Европе. Каждый новичок принимал присягу крестоносца и вносил в общий военный котел сумму, пропорциональную его чину и состоянию. Дела у христианской милиции шли хорошо, насколько это было возможно для такого рода организации и в тех обстоятельствах. В орден вступили многие дворяне, и даже знатные; обещана была значительная сумма денег; вокруг вопросов руководства и престижа разгорелась борьба честолюбий и, как следствие, — нескончаемые споры. Первую серьезную неудачу милиция потерпела, когда Филипп IV Испанский запретил организовывать ее во всех своих владениях. Затем все лучшие силы Европы были брошены на войну, и дальнейшее

существование ордена стало бессмысленным. В 1625 году, когда отец Жозеф добился официального признания ордена папой Урбаном VIII, христианская милиция была практически мертва.

Военная деятельность Невера не ограничивалась организацией рыцарского ордена. Он собрал в своей провинции войско и построил отличные корабли для переброски его в Грецию. Командовать своим маленьким флотом он пригласил известного нормандского пирата, который специализировался по Средиземному морю и был несравненным знатоком левантинских вод. Отец Жозеф помогал как мог потенциальному императору Византии в его приготовлениях; однако они оказались бесплодными. Войско испарилось, флот захватила протестантская эскадра из Ла-Рошели, пират вернулся к своим занятиям, и, наконец, сам герцог Неверский, наскучив крестовыми походами, стал думать о других вещах.

Блажен безумец, что во всякий час отыщет
Игрушку новую или предмет желанья.

Остался один отец Жозеф — глас вопиющего в пустыне; но скоро и он сменит песню и станет вопиать уже не об истреблении турок, а о посрамлении Габсбургов. Но, прежде чем отставить (но с какой неохотой!) лозунг «В крестовый поход — сегодня», отец Жозеф сделал последний и самый необыкновенный вклад в это общее дело. В 1617 году по дороге из Рима он начал сочинять «Туркиаду». Тридцать пять миль, три часа медитации и двести гексаметров — такова была ежедневная программа этого трудного путешествия. В последующие годы, на дорогах Франции и Испании, он завершил и отшлифовал свое творение. К 1625 году эпическая поэма в 4637 строк была закончена. В тот год он взял с собой в Рим два печатных экземпляра, которые составляли, насколько известно, первое и единственное издание поэмы. Один экземпляр был для Урбана VIII, другой для кардинала Барберини,

его племянника и ватиканского государственного секретаря. Сам выдающийся ученый-классик и автор многих изящных стихотворений, многих истинно цicerоновских бреве и булл, Урбан VIII пришел в восторг от поэмы и назвал ее христианской Энеидой. Аббат Дедувр, который сорок с чем-то лет назад обнаружил единственный сохранившийся экземпляр «Туркиады», не может, как добросовестный латинист, вполне поддержать мнение понтифика. Он отмечает, что отец Жозеф склонен прискорбным образом путать наклонения после глаголов речи и в косвенных вопросах. Также соединительный союз слишком часто отделяется от отрицания. Что до просодии, то он злоупотребляет элизией в односложных словах и, по крайней мере, в сорока четырех случаях не продлевает короткий слог в словах, заканчивающихся на s. Небезупречна «Туркиада» и в отношении прочтения долгих и кратких слогов. Так, *concidit** используется дактилически, хотя на самом деле это антибакхий. Или, еще хуже, *inscitiam*** — явно третий эпитрит, а трактуется как хориямб. Серьезные прегрешения! Но пусть бросят первый камень те, кто никогда не грешил в размерах.

Гораздо интереснее лингвистической стороны содержание этого эпоса. «Туркиада» — одна из тех вещей, благодаря которым подлинная история всегда гораздо причудливее, чем самые романтические исторические романы. Романист, возможно, придумает героя, в котором совмещаются государственный политик и практикующий мистик. Но выдумать такого, кто, будучи государственным политиком и практикующим мистиком, сочинит 4637 гекзаметров «Туркиады», — это не под силу художнику слова, даже очень способному. Каждый человек — ломтик истории, уникальный и неповторимый; но большинство таких ломтиков принадлежит к тому или иному известному и узнаваемому типу. Иное дело — исключи-

* Истребляет (*лат.*)

** Неведение (*лат.*)

тельные личности. Они представляют собой явление, в высшей степени невероятное, — какое может произвести только жизнь; ибо только жизнь обладает ресурсами и терпением, чтобы играть в лотереях наследственности и окружающих условий, покуда не выпадет нужная комбинация, одна из миллиона возможных, — тогда появляется исключительная личность и идет своим путем. Вот почему правда настолько причудливее, богаче и интереснее вымысла.

«Туркиада» начинается с собрания ангелов, созданного вторым лицом Троицы. Обращаясь к собранию, Христос выражает свое огорчение тем, что на Ближнем и Среднем Востоке господствует магометанство, и призывает силы небесные что-нибудь предпринять. Говорится, что даже Пресвятая Дева с радостью приняла бы участие в Крестовом походе, если бы это согласовалось с ее положением. После такого зачина выступающий переходит к жизнеописанию Магомета, скорее колоритному, нежели историческому. Под Меккой, сообщает он слушателям, есть пещера с жерлом, спускающимся непосредственно в ад. Однажды молодой Магомет забрел в эту пещеру, был любезно принят Люцифером и обучен искусству злых козней. Обучение прошло без труда, поскольку вокруг жерла шли галереи, оборудованные дьяволом под своего рода Музей Зла. Тут помещались такие интересные предметы, как зуб змея, соблаздившего Еву; дубинка Каина; первое железное оружие, изобретенное Тувалкаином; эмблемы Венеры и Бахуса; весь богатый инструментарий колдовства и магии; иллюстративный материал о всех ересях, от Ария до Кальвина; и наконец, вооружение, заготовленное впрок для будущих кампаний Антихриста. Просветившийся надлежащим образом в этой комнате ужасов, Магомет отправлен домой писать Коран и планировать завоевание Святой земли.

Заручившись поддержкой небесных иерархий в отношении крестового похода, Христос начинает обрабаты-

вать европейских владык, в особенности Людовика XIII и Филиппа IV Испанского. Посредством снов он объясняет им, почему священная война крайне необходима.

Тут без всякой видимой причины на сцене появляется автор эпоса и просит разрешения доложить публике суть того, что было объяснено владыкам. Разрешение дано, и он тут же приступает к богословской лекции. Кратко объяснив Святую Троицу, сотворение мира, грехопадение, свободу воли, ангелологию, видение райского блаженства и Новый Иерусалим, он заключает эти приблизительно 750 строк призывом к потенциальным крестоносцам немедленно объединиться с небесными силами.

Следующие 570 строк посвящены еще одному открытому собранию на небесах. На этот раз публику составляют не ангелы, а святые, сидящие рядами в подобии амфитеатра, на арене которого стоят два золотых трона. Прибывший с земли отряд херувимов доставляет сюда европейских владык, которые наблюдают за зрелищем с летучей платформы, образованной крыльями ангелов. Среди девяти хоров святых новоприбывшим указывают тех, которые всего полезнее для крестоносцев. Список завершается святым Франциском, которого отец Жозеф с помощью изящного каламбура связывает с Францией.

Sibi nam cognata cohaerent,
Francia, Franciscus, fatalia nomina Turcis.*

Внезапно снова появляется второе лицо Троицы в сопровождении Девы Марии. Все встают и кланяются, а они садятся на приготовленные троны. В наступившей тишине Христос вызывает герцога Неверского. Архангел Михаил забирает последнего Палеолога с платформы из ангельских крыл и слетает с ним на арену. Герцог, ни жив, ни мертв от страха, стоит перед тронами. Сначала Мария успокаивает герцога несколькими ободряющими слова-

* Ибо родственные вещи держатся друг друга, Франция, Франциск — имена роковые для турок (*лат.*)

ми, а затем его начинает долго отчитывать Христос, напоминая ему о его императорском происхождении и обязанностях, которые оно на него накладывает, напоминая ему также о его провинностях и о том, что крестоносец должен быть человеком безупречного поведения. Глубоко взволнованный, Невер клянется посвятить остаток жизни крестовому походу против турок. После этого Мария вручает ему знаки Христианской милиции. Собрание завершается длинной процессией всех героев, сражавшихся за Господа против его врагов. Возглавляют парад Моисей и Иисус Навин, далее он движется в хронологическом порядке, включая Готфрида Бульонского, дона Хуана Австрийского и героев Лепанто. Излишне говорить, что для отца Жозефа это — великолепная возможность составить список звучных имен, как это любят делать все сочинители эпосов. С каким удовольствием святейший критик должен был проговаривать такие строки:

Hunneades sollers et Scanderbegius acer!*

Известия об этом собрании доходят до Сатаны и вызывают у него дурные предчувствия. С тоской и нетерпением он ждет явления Антихриста; но от Антихриста ни слуху ни духу; тогда он решает сделать все что может сам и устраивает войну в Богемии. Это был удачный маневр — насколько удачный, отцу Жозефу предстояло убеждаться до конца его дней. В 1625 году, когда была дописана «Туркиада», он готов был признать лишь локальную и временную неудачу. Смута, затеянная дьяволом, скоро уляжется; объединенная Европа разгромит Турка, и эта война положит конец всем войнам и откроет собою золотой век всеобщего мира — под водительством Франции. Заканчивается поэма еще одним сном: в этом сне к автору обращается его страна, Франция, в которой он видел орудие Божьего промысла и потому с чистой совес-

* Искусный Хуньяди и грозный Скандербег (*лат.*).

тью, не подозревая, что впал в идолопоклонство, мог поклоняться ей, как если бы она была Богом.

Так, в голом пересказе, «Туркиада» выглядит до крайности нелепой. Но приложите тот же метод к «Потерянному раю», отбросьте стиль, сдерите украшения, сведите поэму к чистому содержанию и вы получите нечто немногим менее абсурдное. Открытые собрания ангелов, теологические дискуссии между первым и вторым лицами Троицы, ангельские битвы с очерком стратегии в трех измерениях, inferнальная артиллерия и божественный аналог танка. Было ли это всего лишь литературной условностью, нарочитым подражанием поэтической механике другого века? Эти удивительно материалистические описания жизни на небесах — рассматривались ли они авторами как чистый вымысел, подобно горестной истории молодого принца Сифилиса, которую сочинил за сто лет до этого Фракасторо? Удобно было бы так думать; но боюсь, что для этого нет оснований. В каком-то невыразимо пиквикском смысле «Потерянный рай», «Туркиада» и «Апофеоз Карла V» задумывались Тицианом, отцом Жозефом и Мильтоном как нечто большее, нежели просто фантазии. В случае Тициана и Мильтона это, в общем, объяснимо: оба, каждый по-своему, были обыкновенными верующими людьми. Другое дело — отец Жозеф. То, что он впрямую, непосредственно соприкасался с высшей реальностью, не вызывает сомнений. В своем «Введении в духовную жизнь» он описал единение души с Богом. Несколькими годами позже, не ощущая, по-видимому, никакой несообразности, он писал «Туркиаду», писал с убеждением, что служит этим Богу и некоторым образом рассказывает истину о Боге, которого он смутно постигал в медитациях. Дело, разумеется, в том, что люди без всякого труда могут придерживаться — поочередно или даже одновременно — убеждений, совершенно несовместимых одно с другим. Больше того, эта самопротиворечивость есть нормальное и естественное состояние человека. В

разных местах нашей книги излагаются разные идеи; следовательно, у нас эти идеи есть, хотя согласовать их никак невозможно. Вполне последовательным может быть лишь тот, кто вполне сосредоточен на одной идее, вполне поглощен высшей реальностью.

В перерывах между делами, связанными с крестовым походом, отец Жозеф направлял свою огромную энергию на организацию миссий среди протестантов Пуату. Притом не одних протестантов надо было наставлять в христианской вере; католицизм, хотя и сохранился на Западе, но войной, равнодушием и суетностью был низведен до жалкого и безнравственного состояния. Почти все аббатства и большинство приходов подпали под контроль местного дворянства, которое тратило церковные доходы на себя, а проводниками своих интересов имело полуголодных и обычно безграмотных викариев. «Бенефиции и даже церковные приходы отдаются за девицами в качестве приданого, считаются частной собственностью и среди католиков, и среди гугенотов, продаются за деньги по контрактам, составленным нотариусами». На радость Иезекили образовались эти авгиевы конюшни симонии и ереси. Вот где работа под стать его рвению! Начав лишь с семью помощниками, отец Жозеф горячо взялся за задачу реформирования и обращения. Успехи его были поразительны. Жаждавшие именно такого возрождения религии католики встретили его с энтузиазмом. Едва ли меньшую готовность проявляли гугеноты, тысячами собиравшиеся для того, чтобы посмотреть на незнакомые обряды, послушать литургическое пение и проповеди. Аскетический образ жизни миссионеров производил не меньшее впечатление, чем их яркие проповеди; люди возвращались в Церковь, и многие были обращены. Отец Жозеф снова был в своей стихии и занимался делом, которое любил больше всего. Но теперь он настолько был связан с миром высокой политики, что и не помышлял уже снова стать тем, кем был, — популярным проповедником, странствующим учителем искусства ум-

ной молитвы. Его миссионерская деятельность на Западе время от времени прерывалась визитами в Париж, визитами, в ходе которых он общался с самыми важными людьми — аристократами, церковниками, с папским нунцием, с самим Люином и даже с королем. Людовик XIII прислушивался к политическим суждениям капуцина; большое впечатление производили на него пламенные речи монаха, таинственные рассказы о видениях и откровениях, которых сподобился он сам или его кальварианки. Еще за пять лет до того, как Ришелье стал первым министром, отец Жозеф был в настолько близких отношениях с королем, что выслушал признание о том, как, несмотря на протесты и сильное нежелание, восемнадцатилетний юноша был загнан Люином на ложе царственной супруги. Не меньше, чем Людовик, поддался тем же пророческим чарам его брат Гастон Орлеанский — и сохранил привязанность к отцу Жозефу до конца, хотя тот был помощником ненавистного кардинала.

Во время одного из визитов отца Жозефа в Париж, в феврале 1619 года, курьер привез тревожную новость из Блуа. Королева-мать ночью бежала из замка в Ангулем, под защиту герцога д'Эпернона. Это угрожало новым и более опасным мятежом. Что делать? Растерянный Люин вызвал отца Жозефа и Берюлля. Они посоветовали немедленно послать к королеве-матери какого-нибудь незаинтересованного посредника, которому она может доверять. Отец Жозеф предложил Бутийе, который заведовал у нее раздачей милостыни. Теперь Бутийе был деканом в Люсоне и одним из самых верных сторонников Ришелье. Декан был острием клина, широкой же его стороной — епископ. Послали Бутийе; в качестве первого условия мира Мария потребовала, чтобы к ней из ссылки вернули ее доверенного советника. Люин не хотел возвращения потенциально опасного соперника, но страх перед гражданской войной перевесил. Зная, что Ришелье наверняка будет призывать к умеренности, Люин согласился на усло-

вия королевы-матери. В начале марта брат отца Жозефа Шарль дю Трамбле был срочно послан на юг в Авиньон с письмом от короля к епископу Люсонскому. Сломав печать, Ришелье прочел распоряжение: немедленно отправиться в Ангулем к королеве-матери. Он отбыл тотчас же, хотя из-за холодной погоды и ужасного состояния дорог подвергал себя серьезным опасностям. В Ангулеме к нему присоединился отец Жозеф, и они вместе составили соглашение между партией королевы-матери и королем. Соглашение оказалось непрочным, мир продлился недолго. Через год, в 1620-м, аристократы использовали недовольство Марии как повод для нового мятежа. В сражении при Пон-де-Се армия короля одержала решительную победу. В качестве утешительного приза и для укрепления верности солдат Мария Медичи потребовала, чтобы ее пехотинцам, прежде, чем они отойдут на юг, было позволено разграбить город Анжер. Отец Жозеф, находившийся поблизости, прослышал об этом и немедленно попросил аудиенции у королевы. На этот раз «бесконечная ловкость» монаха в обращении с благородными людьми уступила место пророческому красноречию. Стоя перед королевой, он сказал ей без обиняков, что если она отдаст Анжер на поток и разграбление, кровь его жителей падет на ее голову, и Бог проклянет ее навеки.

Доктрина адского наказания не всегда была вредной по своему действию. Например, в случаях подобных этому, она могла сослужить отличную службу. Взывать к лучшим чувствам такого глупого, упрямого, бессердечного создания, как Мария Медичи, было бы бесполезно, поскольку эти чувства отсутствовали или спали так крепко, что понадобился бы великий святой и очень много времени, дабы их пробудить. О себе, однако, королева очень заботилась и в физической реальности ада не сомневалась ни секунды. Громоподобно разыгрывая эту зловещую тему, Иезекили сумел вселить в нее страх Божий. Она отменила свой приказ; Анжер был спасен. Благодаря опреде-

ленного рода интеллектуальному «прогрессу», правители современного мира уже не верят в то, что за дурное поведение подвергнутся вечным мукам. Эсхатологические санкции, некогда бывшие главным оружием пророков, более не существуют. Это не имело бы значения, если бы мораль шла в ногу с «интеллектуальным прогрессом». Но она не шла. Правители XX века действуют так же гнусно и безжалостно, как правители XVII или любого другого века. Но, в отличие от своих предшественников, они не лежат по ночам без сна, раздумывая о перспективе ада. Если бы Мария Медичи приобщилась к благам современного образования, отец Жозеф напрасно метал бы громы, и Анжер подвергся бы разграблению.

После Пон-де-Се вооруженная борьба сменилась переговорами, которые закончились Анжерским миром. В награду за то, что помог прекратить гражданские раздоры, умерил требования грандов и помирил короля с матерью, Ришелье потребовал кардинальскую шапку. Люин формально согласился и послал в Рим просьбу о том, чтобы епископа Люсонского повысили в сане при первой же возможности, но одновременно с официальным письмом, в частном порядке, дал понять, что не спешит видеть своего соперника князем церкви. Ришелье сделали кардиналом лишь в 1622 году, через несколько месяцев после смерти Люина. Между тем епископ стал слишком важной фигурой, и с ним нельзя было не считаться. В уплату за свою дружбу или, по крайней мере, дружественный нейтралитет Ришелье потребовал, чтобы племянника Люина, де Комбале, женили на его племяннице, мадемуазель де Пон-Курле. Племянник был отличной парой, ибо за свое недолгое пребывание на посту Люин стяжал огромные богатства — не только для себя, но и для всех членов своей нуждающейся и неродовитой семьи. Посредником, на деле устроившим брак, был отец Жозеф. Мы можем не сомневаться: он верил, что исполняет внешнюю волю Божью, если воспользоваться терминологией его учителя.

Быстрое окончание войны оставило короля со значительной армией, полностью оснащенной, но ничем не занятой. Люин был за то, чтобы немедленно ее расформировать. Отец Жозеф — против. Он увидел здесь счастливую возможность, которую грех было бы упустить, — возможность приступить к великому труду национального объединения, о чем он так часто беседовал с Ришелье на дороге между Луденом и Туром. Армия ниспослана Провидением; король должен воспользоваться ею, чтобы укрепить монархию и позиции истинной веры. Конкретно, он должен повести ее в Беарн, на западном краю Пиренеев. Эта провинция, родина Генриха IV, все еще пользовалась определенной автономией и, что еще хуже, настолько была заражена протестантством, что свыше пятидесяти лет католицизм находился там фактически вне закона. Пусть король выступит немедленно, вернет себе отцовское наследство и восстановит истинную веру.

Людовик XIII слушал и склонен был последовать совету монаха, которому вторили Ришелье и вся католическая партия. Люин же, человек совершенно не военный, возражал. Судьба домашнего крестового похода висела на волоске. Наконец, отца Жозефа вызвали изложить свои взгляды совету, на котором председательствовал сам король. Согласно кардиналу де Рецу, отец Жозеф говорил «как ветхозаветный пророк», призывая к немедленному походу на юг. Большинство приняло его сторону, и во главе армии, увеличившейся за счет католических солдат из лагеря мятежников, король выступил в поход.

Беарн сдался без сопротивления и был официально включен во Французское королевство. Декреты Жана д'Альбре были отменены, конфискованные церковные земли возвращены первоначальным владельцам, католичество восстановлено в провинции. Отец Жозеф, сопровождавший армию, трудился не покладая рук: основывал монастыри, заново освящал храмы, организовывал миссионеров, которые должны были вернуть еретиков в лоно

истинной Церкви. Так же, как Ришелье, он считал, что гугенотов нельзя обращать силой. «Навязанная религия, — заявлял он, — уже не религия». Военные действия против гугенотов надо вести не потому, что они протестанты, а потому, что они хотят быть как бы независимым государством внутри государства французского. Их надо привести к покорности, но веру пусть исповедают такую, какую хотят. Обращение их должно быть задачей католических миссионеров, например, капуцинов. Таковы были принципы отца Жозефа в отношении еретиков, и по большей части его практика соответствовала этим принципам. Среди католиков многие предпочли бы обойтись с протестантами более сурово. Благодаря Ришелье, расчетливому и консервативному государственному деятелю, и благодаря отцу Жозефу, ревностному проповеднику и миссионеру, возобладала политика большей терпимости. В результате после своего политического поражения гугеноты остались лояльным меньшинством полезных и довольных граждан. Преследование их Людовиком XIV в дальнейшем не было оправдано ни политически, ни экономически. Это был акт, что называется, «высокого идеализма» — другими словами, чистого и беспричинного изуверства.

Из Беарна королевские войска двинулись к важной гугенотской крепости Монтобан. Командовал ими Люин, которого сделали коннетаблем Франции. Контраст между звучным титулом генерала и его воинской бездарностью был постоянным предметом презрительных шуток. Шли недели; осаду Монтобана пришлось позорно прекратить; затем, после других унижительных неудач, королевский фаворит предупредил свое неминуемое падение, заразившись тифом и в последние дни 1621 года бесславно умерев.

Теперь король остался и без фаворита и без толкового советника, и следующие два с половиной года правление осуществлялось чередой слабых и в целом неком-

петентных кабинетов. Перемещаясь между Туренью и Парижем, отец Жозеф исподволь продвигал своего друга, новоиспеченного кардинала. Задача была непростая. Ибо, хотя Ришелье по своим способностям далеко превосходил всех государственных деятелей Франции, король не хотел прибегать к его услугам. Причин такого нежелания было много. Начать с того, что кардинал был крайне противен ему физически. Сам болезненный невротик, король любил, чтобы его окружали здоровые тела и здоровые души. Он брезгливо избегал контактов с этим ущербным церковником, скрывавшим за сдержанными манерами нервные аномалии, по-видимому, не менее значительные, хотя и в ином роде, чем его собственные.

Кроме того, Людовик мучительно сознавал свои недостатки; он знал, что он тугодум, что он невежествен, патологически угрюм и нерешителен. Поразительные способности кардинала, его почти сверхчеловеческую волю и целеустремленность он воспринимал как укор самому себе и в то же время как угрозу своей личной независимости. Бездушное, жестокое воспитание поселило в нем страх перед грубой силой и недоверие к любой властной личности. Мало того, что кардинал вызывал у него отвращение и стыд, — он еще и пугал его. Но весомее этих личных причин для того, чтобы отвергнуть Ришелье, оказались политические и государственные причины для того, чтобы его принять. Правда, репутация у него в некоторых отношениях была неважная. Он льстил ненавистным Кончини и открыто признавал себя их креатурой. Далее, будучи сослан в Блуа, он вел тайную переписку с Люином, докладывая ему о всех планах королевы-матери. Информация была полезной; но репутации информатора как человека верного это не способствовало. Тем не менее очевидно было, что он — несравненный политик и, судя по всему, единственный человек, способный разрешить насущные проблемы страны. Людовик XIII относился к своим королевским обязанностям очень серьезно; то, что

он преодолел свою личную неприязнь к Ришелье и умел подавлять ее в течение всех восемнадцати лет их сотрудничества, свидетельствует о силе его гражданского чувства. Первый раз и самым решительным образом этот гражданский дух проявился, когда король, уступив настойчивым уговорам и неотразимым уже аргументам, ввел Ришелье в государственный совет. Это произошло в апреле 1624 года. Через четыре месяца король продемонстрировал свой гражданский дух вновь. В августе был арестован глава кабинета Ла Вьевиль и на его место поставлен Ришелье. Одним из первых поступков Ришелье на новом посту было письмо провинциалу Турени. «После Бога, — объявил он, — отец Жозеф был главной причиной моего нынешнего возвышения». Он попросил капуцина немедленно придти в Париж, где его ждет важная работа. Глава ордена дал разрешение, и в самом скором времени отец Жозеф занял должность, на которой оставался вплоть до своей смерти в 1638 году, — неофициальную должность главы ведомства по иностранным делам.

Глава 6

Сотрудники

Отец Жозеф окончательно и безоговорочно подчинился своей судьбе. Его карьера проповедника и учителя молитвенной науки не то чтобы прервалась — с почти нечеловеческой энергией он продолжал и наставлял монахинь и руководить разраставшейся организацией зарубежных и внутренних миссий, — но отступила на задний план перед карьерой политической. С этих пор он в первую очередь был сотрудником Ришелье и — только что не по званию — его министром иностранных дел. В жизни как капучина, так и кардинала лето 1624 года оказалось поворотной точкой. Дойдя в повествовании до этой даты, уместно будет, я полагаю, посвятить несколько абзацев сравнению двух наших персонажей, которые с этих пор будут работать в тесном сотрудничестве.

Во время бесплодного визита в Мадрид в 1618 году отец Жозеф услышал от хозяев всего одно конкретное предложение — недвусмысленно бесчестное. Близкие к правительству важные особы посетили монаха в отведенной ему келье капучинского монастыря, заверили его в том, что король питает к нему глубочайшее уважение, что герцог Лерма восхищен его добродетелями и талантами, что и король и герцог желают улучшения отношений с Францией и готовы, если отец Жозеф поддержит испанскую политику, проводившуюся Марией Медичи и с

ее изгнанием скомпрометированную, предоставить в его распоряжение любую сумму, какую он соблаговолит называть, — разумеется, не на его личные нужды! Неужели преподобный отец мог такое подумать? Нет, нет, на какое-нибудь благое дело, небезразличное преподобному отцу, — на какую-нибудь, скажем, миссию или новый монашеский орден, посвятивший себя созерцанию неизреченного величия и красоты Божьих...

Перед нами классический случай искушения, адресованного незаурядным душам. Текущее управление теми, кто ведет животную жизнь, можно предоставить Велиалу:

А Велиал, из падших духов самый
Распутный, самый — после Асмодея —
Плотской Инкуб, дает совет: «Поставим
Жену в очах Его и на путях».*

Но пытаясь уловить избранных, бессмысленно навивлять крючок столь осязаемыми, столь откровенно неидеалистическими червями.

...Сколь многие из смертных
Смеются всем соблазнам красоты,
Презрев ее уловки и атаки,
И к высшим устремляются вещам.

Итак, заключает Сатана, —

Итак, вещами большей доблести
Мы искусим Его — где ярче блещут
Почет, хвала народная и слава
(Об эти скалы лучшие разбились).

При посредстве испанского правительства Сатана подступился к отцу Жозефу, но потерпел неудачу. Монах был хорошим французом и опасался иностранцев *et dona ferentes*** . Он был к тому же (что намного существеннее)

* Из поэмы Джона Мильтона «Возвращенный рай».

** И дары приносящих (*лат.*)

и хорошим капуцином и потому с опаской относился вообще к деньгам.

Угадать реакцию Ришелье на подобное предложение не так просто. Он был таким же хорошим французом, как отец Жозеф; но в ту эпоху многие хорошие французы не гнушались солидными подарками и субсидиями от иностранных правительств. Тогдашние понятия о чести и морали не осуждали такую практику, обычную для аристократов всех европейских стран. Поэтому Ришелье, скорее всего, не нашел бы причин отвергать предложенный куш, тем более что такой шаг, при его взглядах, ни к чему бы его не обязывал. Он принял бы взятку со спокойной и общественной, и политической совестью. Что же касается человеческой совести, то она бы не смутилась ни на секунду. К деньгам он относился без всяких стеснений и беззастенчиво потакал своей алчности. Если у него и были стеснения, то главным образом сексуальные. Он высоко ценил воздержание — потому, безусловно, что низко ценил женщин. «Женщины, — говорил он, — весьма странные существа. Иногда кажется, что раз они неспособны принести хоть какую-то пользу, то неспособны причинить и большой вред; но я ручаюсь, что в способности погубить государство с ними ничто не сравнится». Ясно, что Велиала кардинал мог опасаться не больше, чем наш монах. Но вот с Маммоной, демоном богатства, и Люцифером, князем гордыни и властолюбия, дело обстояло иначе. Ришелье снедала сильнейшая похоть власти. Реальной власти ему было мало; он жаждал и ее внешних атрибутов. Есть рассказ о том, как его дядя Лапорт был свидетелем встречи Ришелье и герцога Савойского, когда кардинал проходил в каждую дверь раньше герцога. Свой восторг старик высказал в своеобразном «Ныне отпускаеши»: «Подумать только, — воскликнул он, — что внук адвоката Лапорта проходит впереди внука Карла VI!» Под своей холодной, бесстрастной маской кардинал ликовал не менее бурно, чем его дядя-буржуа. Такие триумфы были для него очень важны.



Людовик XIII
Портрет работы П.-П. Рубенса

Не менее важны для него были и триумфы, которые покупались за деньги, — дворцы, слуги, столовое серебро, библиотеки, роскошные банкеты, пышные «маски», хореографами которых были епископы, а зрителями — королевы и принцы, вельможи и послы. Врожденная жажда богатства росла с каждым новым глотком. В речи кардинала перед Генеральными штатами в 1614 году есть пассаж, звучащий в свете его последующего поведения крайне комично. Разглагольствуя о желательности использования священников в государственных делах, он заявил, что духовенство «свободнее, нежели прочие люди, от частных корыстей, столь часто вредящих обществу. Храня обет безбрачия, они не оставляют иных наследников, кроме собственной души, и не копят земных сокровищ». К 1630 году говоривший имел официальный доход в полтора миллиона ливров от одних только церковных бенефициев. Основные и побочные доходы вместе с разными мелочами приносили еще четыре или пять миллионов. Из годового дохода на себя он тратил по четыре миллиона ливров (ежегодная субсидия Франции шведским союзникам была меньше миллиона), а в конце каждого года откладывал столько, что смог оставить своим племянникам и племянницам состояние в несколько десятков миллионов. Учитывая, что покупательная способность ливра в начале семнадцатого века равнялась семи или восьми золотым франкам, приходится признать, что для человека, чье занятие не поощряет «накопление земных сокровищ», кардинал справился вполне недурно.

В число «вещей большей доблести», которых вождь дел Ришелье, входили не только деньги и власть. Его терзала жажда литературной славы. Он содержал артель из пяти поэтов, которые должны были писать пьесы по его планам, а когда один из них, Корнель, написал «Сиду», кардинала замучила зависть, и перьями нанятых критиков он пытался доказать, что трагедия несколько не заслуживает выпавшего ей успеха.

Случай Ришелье, как ясно из его биографии, не составил бы трудности для Искусителя. Сатана «Возвращенного Рая» ненамного умнее бедняги Велиала; но чтобы выудить столь откровенно алчную щуку, какой был кардинал, требуется лишь самый минимум хитрости. Любая из традиционных «вещей большей доблести» годилась в наживку для Ришелье. Отца Жозефа, напротив, мерцание этих жестяных блесен нисколько не манило. Для него требовалась наживка более тонкая — нечто более ценное по своей сути, чем власть, деньги, слава, какое-то намного более убедительное и привлекательное, нежели «вещи большей доблести», подобие истинного Блага. О таких искушениях Сатана «Возвращенного Рая» не говорит ни слова — потому, разумеется, что сам автор поэмы не подозревал об их существовании.

И от природы и благодаря пуританскому воспитанию, Мильтон был гордым стоическим моралистом. Усердно культивируя самодостаточность и «самоуважение, основанное на праведном и правом», всю жизнь он прожил в счастливом неведении того, что религия есть прямая противоположность самодостаточности и самоуважения — а именно, безоговорочное подчинение Богу, который не просто многократно увеличенный добродетельный пуританин, но и качественно иное существо, несоизмеримое с человеком даже в самих высших и праведных его проявлениях; несоизмеримое, и все же снисходящее до встречи с теми, кто готов выполнить условия, при которых эта встреча может состояться, — кто готов принести в жертву все элементы своей личности — как постыдные, так и самые достойные. Христос Мильтона ни разу не называет окончательной и безусловной причины, заставляющей его отвергнуть и богатство, которое помогло бы ему «творить добро», и власть, с помощью которой он установил бы «царство небесное». Эта причина — в том, что Сын Божий таков, каков он есть, лишь благодаря непрерывному и совершенному переживанию Божествен-

ного присутствия; и в том, что к непрестанному и совершенному переживанию Божественного присутствия неспособна душа, поглощенная богатством или властью. Поэтому «Возвращенный Рай» — на удивление неинтересная и бестолковая книга. Его версифицированные рассуждения — это многословные схватки между Сатаной, то есть Джоном Мильтоном в его безоглядных мечтах («он был, сам не зная того, сторонником Дьявола»*), и Спасителем, то есть тем же Джоном Мильтоном, но уже в его идеальном варианте, в своего рода исправленном и роскошном издании.

По-настоящему умный Сатана прочел бы жития святых и сочинения мистиков, а прочтя, понял бы, как обращаться со столь искренними и набожными искателями совершенства, как отец Жозеф. И разумеется, в отличие от мильтоновского измышления, реальный Сатана понимал, как обращаться с монахом; поскольку реальный Сатана — это та часть каждой личности, которая мешает этой личности умертвить свою самость и воссоединиться с высшей реальностью. Поэтому ум, пронизательность, духовность Сатаны всегда точно пропорциональны уму, пронизательности, духовности того человека, в котором он действует. Сатана Мильтона обладает умом, пронизательностью и духовностью великого поэта, который был еще и гордым, страстным стойком; Сатана Ришелье — свойствами великого политика, исповедующего похожую стоическую этику, но с намного меньшим успехом обуздывающего свои более темные и разрушительные страсти. Сатана, соблазнявший отца Жозефа политикой, — нечистый иного и более интересного рода. Его задачей было искушение человека, не только давшего обеты бедности и смирения, но и натренированного — годами теоцентрических духовных упражнений — до состояния, в котором он искренне не желал денег и был более или менее равнодушен к власти. О

* Уильям Блейк. «Бракосочетание Рая и Ада» (пер. А.Я. Сергеева).

славе же — прижизненной или посмертной — отец Жозеф совершенно не заботился. Как политик, он трудился без картинности и шума, намеренно держась в тени; как автор, искал анонимности, а большинство своих сочинений предпочел оставить неизданными. Одним словом, рядовые «вещи большей доблести», которыми соблазнялись люди исключительных способностей, его нисколько не привлекали. Чтобы поймать этого человека, нечистому нужно было стать намного умнее и тоньше, чем Сатана «Возвращенного Рая».

С пути мистического совершенствования отца Жозефа сбил целый набор тесно взаимосвязанных искушений — искушение исполнять то, что представлялось ему долгом, творить то, что казалось внешней волей Божьей; искушение неверно понять волю Бога и выбрать вместо высшего долга низший; и искушение поверить, что неприятная задача праведна просто потому, что она неприятна. Рассмотрим три эти искушения подробнее.

Отец Жозеф, как мы видели, был пылким патриотом и роялистом. Родившийся и выросший в период гражданских войн, он питал настоящую страсть к национальному единству, к порядку и к единственной в то время гарантии обоих этих благ — к монархии. Разум превратил эту страсть в религиозный принцип, опираясь на восходящую к крестовым походам веру в божественную миссию Франции и на недавно распространившуюся доктрину божественного права королей. Первый догмат содержался во фразе *Gesta Dei per Francos*; самым сжатым выражением второго стал лозунг Боссюэ: «Король, Иисус Христос, Церковь — три имени Бога». Ганото, биограф кардинала Ришелье, пишет о нашем капуцине, что «он посвятил себя двум высоким целям, поглотившим его жизнь, — Богу и Франции, и, всегда готовый трудиться и сражаться ради того и другого, он никогда не отделял одно от другого, всегда откликался на зов внутреннего убеждения, состоявшего в том, что Франция — орудие Промысла, а величие

Франции Промыслом предопределено». В случае истинности этих догматов — а отец Жозеф горячо в них верил — очевидно, что его долгом было взяться за политические труды ради короля и отечества, если его призовут. Это было его долгом, потому что *ex hypothesi** политические труды были такой же подлинной волей Бога, как и труд проповеди, наставления и созерцания.

Теперь мы переходим ко второму искушению — искушению неверно понять волю Бога. Одну из непосредственных причин для такой ошибки мы уже указали: отец Жозеф верил, что дело Божье и дело Франции неразделимы. Теперь мы должны выяснить, почему он выбрал такую веру. Этому, видимо, есть две причины. Первая та, что условия воспитания создали в нем мыслительные и эмоциональные привычки, от которых, несмотря на многолетние старания истребить в себе ветхого Адама, он так и не сумел избавиться. Ко второй нам дает ключ пронизательное замечание Виктора Кузена. В одном из своих этюдов о нравах семнадцатого века этот философ-историк сказал об отце Жозефе, что «он был человеком без личного честолюбия, но с безграничным честолюбием ради Франции, которую он считал великим орудием Промысла». Несмотря на чтение теоцентрических моралистов, несмотря на все свои раздумья о верных отношениях между Богом и человеком, отец Жозеф упустил из виду, что бескорыстное честолюбие — такая же помеха мистическому союзу, как и честолюбие личное, что желание прославить Францию всего на шаг отстоит от «вещей большей доблести» Сатаны. И если личное честолюбие считали нежелательным все моралисты, то лишь самые глубокие теоцентрики распознали пагубность бескорыстного честолюбия на благо секты, нации или другого лица. Огромному большинству человечества подобное честолюбие кажется вполне похвальным. Потому-то оно так опасно для добродетельных

* Согласно допущению (*лат.*)

людей, даже для стремящихся к святости, вроде нашего капуцина. Отец Жозеф избавился от личного честолюбия; но, самоотверженный слуга промыслительной Франции и богопоставленного Людовика XIII, он мог по-прежнему потакать связанным с честолюбием страстям — и более того, потакать им без всякого чувства вины. Говоря цинически, он мог подсознательно наслаждаться всеми прелестями коварства, власти и славы, сохраняя убежденность, что творит Божью волю. Хранить эту убежденность ему было тем легче, что он старался, если обратиться к терминам отца Бенета, активно уничтожать свои политические действия, даже в момент их совершения. Насколько эти действия были «уничтожимы», отдельный вопрос, который придется обсудить позже. Пока что достаточно сказать, что отец Жозеф к такому активному уничтожению настойчиво стремился.

Последнее, что соблазнило отца Жозефа бесповоротно посвятить себя политической карьере, — это крайняя сложность и, по крайней мере — для его природы, тягостность политической карьеры. Пусть Тенеброзо-Кавернозо упивался интригами и дипломатией, а Иезекили бескорыстно торжествовал при триумфах своего царственного господина — созерцатель, каждый день столько часов проводивший в единении с Богом, мог лишь страдать от того, что отныне большую часть этих часов обязан посвящать государственным делам. Но занятия этими делами были его долгом и волей Бога, который, видимо, пожелал испытать его способности к активному уничтожению. Более того, политическая карьера была делом многотрудным, особенно если ее сочетать — как это с самого начала делал отец Жозеф — с руководством целой конгрегацией монахинь, с должностью папского уполномоченного по миссиям и с двумя, самое меньшее, часами усердной умной молитвы. Этим карьера и привлекала. Ребенком он просил отправить его в школу из страха, что мать превратит его в неженку; а теперь, взрослым человеком,

он считал, что обязан принять бремя политической ответственности. Правда, одна часть его души этому бремену радовалась, но была и другая, стеновавшая под его тяжестью. Из-за этих стенований он и считал себя вправе радоваться и в конце концов решил, что, принимая предложение Ришелье, творит Божью волю.

Ришелье разделял убеждения монаха относительно Франции, монархии, тяжести политических трудов и обязательств, налагаемых самой этой тяжестью. Но если для отца Жозефа эти убеждения имели первостепенное значение, то у Ришелье они стояли на втором плане. Даже если бы Франция и монархия ничего для него не значили, в своих природных талантах, в безмерной жажде власти, в страсти к деньгам он нашел бы достаточную причину для занятий политикой.

Отдельные пассажи в письмах и мемуарах кардинала проливают весьма интересный свет на обсуждаемый нами вопрос — из них ясны мысли Ришелье о его политической деятельности, о ее отношении к Богу, ближним и его собственному спасению. Кардинал начинает с четкого разграничения между частной и общественной нравственностью — между тем, что Нибур назовет «нравственными людьми и безнравственным обществом». 'Autre chose est etre homme de bien selon Dieu et autre chose etre tel selon les hommes'*. Если взять конкретный пример такого различия, то порядочный по божественным меркам человек должен сразу прощать оскорбления; но когда оскорбление нанесено обществу, человек, порядочный по человеческим меркам, должен сделать все возможное, чтобы отомстить. «Причина такого различия проистекает из того же принципа, который применяется к двум видам обязанностей. Первая и величайшая обязанность человека есть спасение собственной души, а оно требует от задетого лица не браться за отмщение и предоставить его Богу. А величай-

* Иное дело быть порядочным человеком по божественным меркам, иное — по человеческим (франц.).

шая обязанность короля — спокойствие его подданных, охранение государства и репутации правительства; в каких целях необходимо наказывать все обиды против государства так решительно, чтобы суровость кары устранила даже помысел о повторном оскорблении».

Сам Ришелье был представителем короля и *homme de bien selon les hommes**. Соответственно, он не мог себе позволить поведение *homme de bien selon Dieu*** , пусть отказ от такого поведения и подрывал его шансы на вечное блаженство. В сущности, его представление о себе очень напоминает то, как наиболее прекрасодушные сторонники коммунистов нередко изображают Ленина — своего рода посюсторонним искупителем, который ради грядущего счастья человечества берет на себя ответственность за творимое им зло, ясно сознавая ожидающие его последствия. «Многие люди, — писал кардинал, — спасли бы свои души как частные лица, но обрекают себя на вечную погибель как лица общественные». Ради блага французского народа (пусть не сейчас, но хотя бы когда-нибудь), ради силы и славы Франции, воплощенной в королях, он был готов пойти на ужасающий риск низвержения в ад. И его наказание не ограничивалось лишь тем светом; подобно всем государственным деятелям, ему уже здесь и сейчас приходилось брать на себя страшную ношу утомления, моральных терзаний, тревог. Он был тем, кто, по его собственному незабываемому выражению, «бодрствует в ночи, чтобы остальные могли беззаботно спать под сенью его бдения» — *a l'ombre de ses veilles*. В этом героическом автопортрете, конечно, есть и доля правды; но правда им отнюдь не исчерпывается. Изображая себя наследником Прометея, добровольным козлом отпущения, страждущим ради народа, Ришелье забывает несколько мелочей — вроде пятимиллионного годового дохода, герцогства, абсолютной власти, первенства перед

* Порядочным человеком по человеческим меркам (*франц.*)

** Порядочного человека по божественным меркам (*франц.*)

принцами крови, всеобщего раболепия и лести. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою».

Отец Жозеф получал награды более бесплотного свойства, состоявшие в бескорыстном потакании страстям, которые он подавлял в личных делах, в удовлетворении от исполнения тягостных по большей части обязанностей, в крепнувшем и ободрявшем сознании, что он творит Божью волю. В отличие от Ришелье, он не считал себя *homme de bien selon les hommes*, который ставит на карту собственное спасение, совершая безнравственные поступки на благо государства. В собственных глазах он всегда оставался *homme de bien selon Dieu*; поскольку он всегда мог (по меньшей мере, так ему казалось в начале политической карьеры) «уничтожить» совершенные им ради отечества сомнительные поступки, посвятив их Богу. И потому он верил, что может жить и трудиться — даже в сфере политики — в состоянии «святого безразличия», очень похожем на то состояние, которое в «Бхагавад-гите» герою Арджуне рекомендуют перед вступлением в битву.

Таковыми были мотивы и их рациональное объяснение. По темпераменту эти два человека очень различались. Отец Жозеф, как мы видели, был одновременно Иезекиили и Тенеброзо-Кавернозо. Ришелье не выказывал ни малейшего сходства с иудейским пророком. В нем не было энтузиазма, одна непреклонная целеустремленность. Откровения и счастливые озарения играли в его жизни небольшую или ничтожную роль; все, что он делал, было задумано и рассчитано ради единственной цели — не наибольшего счастья для наибольшего числа людей, но наибольшей выгоды Арману Дю Плесси де Ришелье и наибольшей славы Франции. Одним словом, он был исключительно Тенеброзо-Кавернозо — но этому Тенеброзо-Кавернозо, не следует забывать, несколько мешали слабое здоровье и психическая неустойчивость. Сумасшествие было семейное. Старший брат Ришелье — картезианский монах, которого он вытащил из монастыря и сделал архиепископом Лион-

ским, — был не просто придурковат; у него случались приступы мании величия, во время которых он считал себя Первым Лицом Троицы. Про самого Ришелье известно, что у него бывали периоды болезненной депрессии и взрывы ярости, почти эпилептические по своему буйству. Более того, в королевской семье сохранилось предание, будто и он страдал галлюцинациями. Но если бедный недоумок считал себя Богом, то надменного, обожествлявшего себя гения высшая справедливость приговорила к иному бреду: в периоды душевного расстройства кардинал воображал себя лошадю.

Эти психические отклонения не были, однако, настолько серьезны, чтобы помешать Ришелье в его делах. И в них он проявлял мастерство, доступное лишь тем, кто наряду с высочайшими интеллектуальными способностями обладает чрезвычайной силой воли и целеустремленностью.

Мало кто желает чего-то действительно сильно, а из этих немногих лишь ничтожное меньшинство способно сочетать силу воли с неуклонным постоянством. Большинство людей — существа судорожные и переменчивые, и сильнее всего любят душевную праздность. «Именно по этой причине, — говорит Брайс, — деятельная и неутомимая воля иногда становится столь страшной властью, почти гипнотической силой». Люцифер — высочайшее мифологическое воплощение этой интенсивной личной воли, и олицетворявшие ее на исторической сцене великие люди причастны до некоторой степени его сатанинской силе и великолепию. Именно из-за этой силы и великоления, столь непохожих на нашу слабость и душевное убожество, мы все время ностальгически возвращаемся к биографиям таких людей, как Александр, Цезарь, Наполеон, и всякий раз, как появляется новый подражатель Люцифера, мы простираемся перед ним ниц, умоляя нас спасти. И разумеется, многие из этих Великих Людей искренне хотят спасти своих ближних. Но поскольку они остаются

самими собой, то есть не святыми, а крохотными Люциферами, их благонамеренные усилия могут привести только к увековечиванию — в иногда более, иногда менее противной форме — тех самых условий, от которых человечество вечно надеется спастись. Великим Людям неизменно не удастся «оправдать надежды»; но мы, восхищаясь их качествами и завидуя их успеху, продолжаем в них верить и покоряться их власти. В то же время какой-то частью души мы прекрасно понимаем, что Люциферы в принципе не могут принести нам добра; и поэтому порою от этих воплощений личной воли мы поворачиваемся к совсем иным людям, воплощающим волю Бога. Святые помогают с еще большей готовностью, чем Великие Люди; но их совет скорее всего разочарует мужчин и женщин, которые хотят наслаждаться праздностью. «Бог, — говорят святые, — помогает тем, кто сам себе помогает»; и затем переходят к изложению методов, которыми можно себе помочь. Но мы не хотим себе помогать; мы хотим, чтобы нам помогли, чтобы кто-то потрудился за нас. И мы снова обращаемся к воплощениям личной воли. Великие Люди ни на миг не сомневаются в своей способности дать нам именно то, что мы хотим, — политическую систему, при которой все станут счастливыми и хорошими, государственную религию, которая обеспечит благоволение Бога на земле и блаженную вечность в раю. Мы принимаем их предложение; и немедленно другая часть нашей души возвращается к святым, а от них мы снова обращаемся к нашим погибельным Великим Людям. Так оно и продолжается, столетие за столетием. Следы этого жалкого топтания скапливаются в наших библиотеках, где рассказы о Великих Людях и их исторических деяниях занимают примерно столько же места на полках, сколько рассказы о святых и их общении с Богом.

Одним из великих воплощений личной воли был Ришелье. Сделать столь поразительную карьеру и оставить столь глубокий отпечаток в истории Европы он су-

мел именно благодаря ни на миг не слабевшей целеустремленности.

Отец Жозеф производил впечатление человека менее цельного и более непостоянного, чем его политический патрон. Но за переменами тона и манер и внезапными приливами энтузиазма таилась не менее неуклонная решимость. Более того, не раз он оказывался тверже Ришелье; когда бывало видно, что тот слабеет, монах воскрешал его мужество и одной лишь силой воли влек его вперед, сквозь все трудности, к желанной цели. «Я потерял опору», повторял Ришелье после смерти друга, «я потерял опору». Источником силы для этого человека, чей гений в силе и заключался, отец Жозеф, наверное, мог служить благодаря тому, что четверть века подряд следовал «Правилу совершенства, сведенному к единому вопросу о воле Божьей» Бенета из Канфилда. На языке мистиков «совершенство» — это состояние полного и непрерывного самоотречения в реальности — состояние тех, кто может сказать: «уже не я живу, но Бог живет во мне». Из биографий мужчин и женщин, достигших этого совершенства, ясно, что в число прочих плодов духа входит и чрезвычайный прирост моральной силы. Это сила принципиально иного качества, нежели непреклонность напряженной, исходящей из самости личной воли стойка или мелкого Люцифера — «беса праведности», по яркому выражению Блейка, или беса неправедности. Воля отрекшегося от своей самости человека покойна и тиха, потому что это уже не его воля, а широкая река энергии, втекающая в него из моря внеличного сознания, соединенного, в свою очередь, с океаном реальности. Он излучает радость и прекрасную, хотя и впускающую трепет, безмятежность; он трудится с непобедимой кротостью; глубоко смиренный, он располагает авторитетом власти, бесконечно большей, чем он сам, и которой он — лишь орудие.

В свои ранние годы отец Жозеф проявлял эту особую силу отрекшегося от себя человека. В том, что он до-

стиг совершенного слияния с Богом, можно усомниться. Будь это так, маловероятно, чтобы хоть что-нибудь — даже чувство долга, даже желание мучительного самопожертвования — могло вовлечь его в политику. Но пусть и не дойдя до цели, он безусловно зашел очень далеко — во всяком случае, достаточно далеко, чтобы произвести глубокое впечатление на монахов, которых в качестве провинциала Турени он был обязан направлять и наставлять. Поразила их, как я уже говорил, кротость и смирение, с которыми он применял свою власть. Бдительный, твердый, не допускающий ни малейшего отклонения от францисканского устава, он умел наказывать, не возбуждая озлобления, сделать выговор, не вкладывая в него личных чувств, действуя лишь как канал, по которому течет некая сила — явно божественная. Назвав его совершенным капуцином, Анж де Жуайез был почти прав. Но увы, только почти. Отец Жозеф сохранил в себе достаточно от ветхого Адама, чтобы поддаваться тем крайне тонким искушениям, которые готовил приставленный к нему Сатана. Не оставляя мистических упражнений и веря, что можно служить одновременно Богу и кардиналу, он сделался политиком. Несмотря на почти сверхчеловеческие усилия монаха, его попытка служить двум господам полностью провалилась, как и предсказал его Учитель. Его политика (как мы теперь ясно видим) не привела к желанным результатам; а уровень его духовной жизни (как перед смертью сам он осознал) неуклонно снижался. Но несмотря на это снижение, он и в период сотрудничества с Ришелье сберег часть той надличной силы, которой обладал в ранние годы. К тому же нельзя забывать, что даже когда совершенство или полное погружение в реальность не достигнуты, силу воли может укрепить сама практика духовных упражнений. Для этого духовным упражнениям необязательно иметь отношение к Богу; человек, если захочет, может сосредоточиваться ради сосредоточенности как таковой — или ради своей нации, партии, секты, даже ради дьявола. Во всех

этих случаях он тоже обретет силу — по той простой причине, что духовные упражнения — это прибор для отыскания и выкачивания источников воли, лежащих ниже порога сознания. Струя из подсознательного моря — уже колоссальная сила, пусть само море и останется отрезано от океана внешней ему реальности. Ришелье, видимо, всецело полагался на высшие уровни сознания, на личную волю. Отсюда и то страшное напряжение, под которым он все время жил, — тяжело сказавшееся на его и в лучшие периоды некрепком здоровье, и регулярно приводившее к приступам паники. В эти минуты он и обращался к капуцину за поддержкой. Из глубин своей натуры, где сознательное систематически настраивалось в тон подсознательному и куда, быть может, еще втекало сколько-то таящейся в реальности энергии, отец Жозеф мог черпать ту силу, в которой кардинал нуждался.

Глава 7

Ла-Рошель

Ришелье поставил перед собой две великие цели: объединить Францию под полновластной монархией; сломить могущество Габсбургов и возвести на их место Бурбонов. Возможность разгрома Испании и Австрии очевидным образом зависела от предварительного решения первой задачи. Разделенная Франция была слаба. Связанный по рукам постоянно бунтовавшими вельможами и создавшими государство в государстве протестантами, король был не в силах выступить против внешних «традиционных врагов». Слава династии и даже безопасность страны (поскольку Испания и Австрия стремились ни много ни мало к европейскому господству) требовали немедленного уничтожения феодальных привилегий и могущества гугенотов. Лишь добившись этого, король смог бы вести внешнюю войну. А пока что в борьбе с Габсбургами приходилось ограничиваться дипломатическими средствами — блефовать, затягивать переговоры, поддерживать шаткое равновесие сил, субсидировать уже воюющие с Испанией или Австрией правительства.

По вопросам внутренней политики отец Жозеф никогда не расходился с кардиналом; а к 1624 году он начал, пусть скрепя сердце, соглашаться и с его внешней политикой. Он понял, что пока Испания и Австрия не подчинятся французскому руководству, великий крестовый поход

невозможен. За короткое время обращение в новую политическую веру состоялось: отец Жозеф стал таким же решительным врагом Габсбургов, как сам Ришелье.

В 1624 году Тридцатилетняя война шла уже шесть лет и успела привести к огромным бедствиям. Первой ее жертвой пала Богемия, где война и началась. Затем, в 1619 году, Габор Бетлен, протестантский князь Трансильвании, вторгся в имперские владения и разорил Австрию. В 1620 году католическая армия Тилли снова опустошила Богемию и совершила массу жестокостей против гражданского населения. В ответ на слабые протесты защитников гуманности Тилли только сказал, что его «солдаты — не монахины». В 1621 году протестанты под предводительством Мансфельда снова заняли Богемию, и от освободителей страна пострадала так же жестоко, как годом раньше — от оккупантов.

Когда протестантская армия истребила в Богемии все съестные припасы, Мансфельд повел ее в Пфальц. Оставшись без денег и продовольствия, он был вынужден подчинить политику и стратегию солдатским желудкам. Где была пища, туда и шла его армия, невзирая на прочие соображения. В Пфальце к Мансфельду присоединился Христиан Брауншвейгский, и вдвоем они сумели ввергнуть местных жителей в нищету и отчаяние. Потерпев поражение от имперских сил, они были вынуждены отступить в Эльзас, а обглодав Эльзас до костей, оккупировали Лотарингию. Из Лотарингии армию позвали в Голландию. По пути туда она вела сражения в испанских Нидерландах и разгромила войска, осаждавшие Берг-оп-Зум. После чего, в 1624 году, Мансфельд двинулся в Восточную Фрисландию, разделившую участь Богемии, Пфальца, Эльзаса и Лотарингии.

Ришелье и отец Жозеф, следившие из Парижа за заграничными событиями, выработали политику, откровенно рассчитанную на затягивание кровавой неразберихи. Франция не располагала боеспособной армией, по-

этому о прямом и полномасштабном ударе по Габсбургам речи быть не могло. Но если бы война в Германии затянулась, то Испания и Австрия настолько исчерпали бы свои резервы, что к моменту усиления Франции оказались бы истощены. Соответственно, в Париже приняли решение оказать дипломатическую и финансовую помощь воюющим протестантам. Одновременно следовало искать новых союзников среди пока что нейтральных государств, всеми силами стараться оторвать католических курфюрстов от императора (чье торжество, напоминали курфюрстам из Парижа, обернется к невыгоде не только для протестантов, но и для них) и объединить их в промежуточную партию под эгидой Людовика XIII. В дополнение к этим «темно-пещерным» интригам была проведена тактическая операция, искусно нацеленная в один из центральных нервных узлов Габсбургской системы — Валтеллине. По этой долине, тянущейся с Альп к северному берегу озера Комо, проходила единственная дорога, по которой Испания могла сообщаться с Австрией. Испанские войска и золотые слитки из Мексики и Перу выгружались в Генуе, перевозились по принадлежащей испанцам территории в Милан, а из Милана через находившуюся под контролем Граубюнден Валтеллине и горные перевалы — в Австрию. Окажись эта дорога перерезана, две ветви Австрийской династии соединялись бы только морскими коммуникациями, а усилившийся голландский флот фактически закрыл Ла-Манш и Па-де-Кале для испанских кораблей. Под предлогом защиты швейцарских союзников Ришелье устремился в стратегическую долину и к концу 1624 года разместил там французские гарнизоны.

Переговоры о Валтеллине были одной из целей визита отца Жозефа в Рим весной 1625 года. Он провел там четыре месяца; «Туркиада» и талант к беседе обеспечили ему у Урбана VIII подчеркнuto теплый прием. В течение всех четырех месяцев дважды в неделю папа давал ему

личную аудиенцию, уединяясь с ним иной раз на много часов. Домой он отправился в звании папского уполномоченного по миссиям. С этого дня и почти до самой смерти заграничные миссии составляли одну из главных его забот. С помощью ревностных капуцинов он продолжал насаждать веру, что так привлекало его в молодости. Его монахи разбрелись по всему свету — от Персии до Англии, от Абиссинии до Канады. Сознание, что он помогает распространять Евангелие Христа, наверное, часто ободряло его и утешало в самый разгар тяжелых и сомнительных политических предприятий. Правда, его враги в Испании и Австрии и в римской курии обвиняли его в том, что он использует миссионеров как французских агентов и антигабсбургскую пятую колонну. И увы — обвинения были не вполне беспочвенны. Подобно Кромвелю, который искренне принимал интересы истинной протестантской веры за интересы Англии, отец Жозеф, с неменьшей убежденностью, принимал интересы Франции за интересы истинного католицизма. Он знал, что куда миссионер, туда и купец, и что проповедник может с немалой пользой представлять интересы своей нации. Его французские капуцины неизбежно превращались в благовестников не только Христа, но и Бурбонов.

Миссии отца Жозефа соединяли его со всевозможными экзотическими краями; контакт с заморским миром вместе с верой в провиденциальное назначение Франции сделали его империалистом. Дедувр доказал, что основополагающий меморандум о колониях и флоте, в 1626 году поданный королю от имени другого лица, на самом деле составил отец Жозеф. Содержащиеся в этом документе рекомендации дословно исполняли сперва Ришелье, а затем Кольбер. «От имени величайших колонизаторов и мореплавателей Франции, — пишет Дедувр, — мы должны приветствовать в лице отца Жозефа одного из их самых дерзких и прозорливых предшественников на пути превращения Франции в морскую державу» — превраще-

ния, которое, как подчеркивалось в меморандуме, нужно расценивать как средство не только для торговли, но также — и в первую очередь — для миссионерства.

Не меньше, чем от низвержения Габсбургов, реализация мечты отца Жозефа о морской державе и империи зависела от объединения Франции; а это дело не обещало быть ни легким, ни скорым. Сперва Ришелье выступил против знати. В 1626 году был издан указ с повелением разрушить все крепости, не нужные для обороны национальных границ. Но срытием древних стен и башен Ришелье не мог привести грандов к повиновению; они останутся мятежниками, пока он не нанесет удар прямо по их персонам и привилегиям.

Первая подобная возможность предоставилась кардиналу весной 1626 года, когда младший брат короля Гастон согласился возглавить заговор, в котором самые активные роли принадлежали принцу Конде, двум бастардам Генриха IV и неутомимой и легкодоступной чаровнице, герцогине де Шеврёз. Одним из рядовых заговорщиков был тогдашний любовник герцогини, жизнерадостный и блестящий юноша — маркиз де Шале. У Шале, получившего поручение убить Ришелье, вдруг проснулась совесть — он явился к кардиналу и признался, что состоит в заговоре. Кардинал обещал ему вознаграждение и сразу же отправился к Гастону; перепуганный наследник престола немедленно стал свидетелем обвинения. Людовик и его министр действовали решительно и без проволочек. Обоих бастардов, Вандома и великого приора, заманили в Париж, там арестовали и бросили в тюрьму. Благоразумный Конде предупредил подобную участь, быстро заключив мир с кардиналом. Марию Медичи, обожавшую ничтожного Гастона и причастную к заговору, заставили подписаться под документом, где, как всегда в подобных обстоятельствах, она торжественно обещала впредь хранить королю верность и вести себя хорошо. С госпожой де Шеврёз не сделали ничего; но вскоре ей при-

шлось заплатить за эту безнаказанность — она стала тайным агентом кардинала в Англии. Любовница лорда Холланда и наперсница Бэкингема, посвященная во все перипетии его страсти к Анне Австрийской, она располагала источниками информации, не доступными ни одному посланнику мужского пола. Ее сообщения из Лондона были для Ришелье бесценны. Однако деятельной вражды к нему она не оставила: когда история с заговором, казалось, почти затихла, герцогиня заварила кашу заново. Одурманенный ее чарами Шале снова пустился в интриги. Тайно посещая Гастона, он уговаривал его либо бежать из страны, либо возглавить восстание гугенотов. Но агенты Ришелье и Тенебозо-Кавернозо не дремали. Новый заговор был раскрыт; во второй раз за три месяца Гастон стал свидетелем обвинения и всю ответственность возложил на Шале. Юношу арестовали, судили — не обычным судом, а одним из тех специальных трибуналов, которые в ближайшие годы станут любимым карательным инструментом кардинала, — и, вынудив дать показания против своей любовницы, казнили. Феодальную знать это происшествие удивило и встревожило. Впервые на ее памяти мятежному вельможе было воздано не пожалованьем из казны. Со смертью Шале заговоры сильно потеряли в привлекательности. Ришелье выиграл первый раунд своего боя с феодалами, и в ближайшее время с этой стороны бояться было нечего. Он развязал себе руки для борьбы с гугенотами.

После неудачной осады Монтобана Люином в 1621 году король и протестанты подписали мирный договор. Но этот договор, как все прекрасно понимали, был лишь временным и предварительным соглашением — настолько временным и предварительным, что ни одна из сторон не заботилась соблюдать его условия. Любая возможность выиграть преимущество использовалась ими без всякой оглядки на этот клочок бумаги. Рано или поздно затянувшийся конфликт между королем и двумя милли-

онами его протестантских подданных надо было раз и навсегда разрешить. Ни одна из сторон не верила, что его можно разрешить иначе, чем силой оружия; соответственно, с обеих сторон велись приготовления.

Первым серьезно нарушил мир протестант — герцог Субиз. В 1625 году во главе небольшой флотилии он занял один из стратегически важных островов против Ла-Рошели, совершил рейд по роялистским портам и в числе прочих трофеев захватил пять красивых кораблей, за немалые деньги построенных последним Палеологом для транспортировки крестоносцев отца Жозефа. Когда нахождение в отечественных водах стало слишком рискованно, Субиз вместе с трофейными судами взял курс на Англию, где как протестантский герой мгновенно сделался кумиром простонародья. Увидев это, Бэкингем тоже решил стать протестантским героем. Возглавив морскую экспедицию в помощь Ла-Рошели, он рассчитывал убить двух зайцев — вернуть популярность, утраченную им после неудачной экспедиции в помощь пфальцскому курфюрсту и женитьбы короля на католической принцессе; а также отомстить Ришелье за то, что тот перехитрил его на переговорах и, самое обидное, расстроил его романтические виды на Анну Австрийскую. Летом 1627 года он вышел в море с большой флотилией и семью тысячами солдат. После жаркой стычки он высадился на острове Ре, около Ла-Рошели, а затем окружил сильно укрепленный форт Сен-Мартен. Осада затянулась на недели, на месяцы. Голод поставил французский гарнизон на грань капитуляции; вдруг, почти чудом, с материка удалось сквозь порядки осаждающих переправить в форт продовольствие. Защитники форта воспрянули духом; осада продолжалась. Несколько попыток штурма провалились. Погода испортилась; в английских войсках начались болезни. Наконец в ноябре Бэкингем был вынужден снять осаду и отплыть на родину. Он потерял четыре тысячи человек и абсолютно ничего не добился.

Военные действия между силами короля и Ла-Рошелю открылись в сентябре 1627 года. Месяц спустя к Ла-Рошели из Парижа со свежими войсками прибыл король. Вместе с ним приехал Ришелье, облаченный в кардинальский пурпур, но в панцире и в шляпе с плюмажем — а за ним босиком по грязи пришел и отец Жозеф.

Ла-Рошель была слишком хорошо укреплена, чтобы взять ее штурмом, и королевская армия, рассчитывая на долгую осаду, стала лагерем в окрестных солончаках. Отцу Жозефу предложили поселиться в доме, где квартировал кардинал, но он отклонил эту комфортабельную честь и разместился в заброшенной беседке у широкого рва на задах кардинальского сада. Ветхие стены сквозили; при сильном ветре с моря и во время прилива вода во рве подымалась и иногда стояла в спальне монаха почти по щиколотку. Но все эти мелкие недостатки возмещались одним неопенимым преимуществом — уединением. Ложась очень поздно и вставая очень рано, отец Жозеф каждый день мог уделять по крайней мере два часа для умной молитвы. В сыром и продуваемом бельведере он спокойно предавался медитации.

В сосредоточенности безмолвного общения с Богом и распятым Спасителем он нуждался сейчас сильнее, чем когда-либо. О своей жизни под стенами Ла-Рошели в письме одной из окормляемых кальварианок он написал, что она была «хуже ада»; хуже не из-за неудобств и опасностей (они-то могли ее только украсить в глазах такого человека, как отец Жозеф), но из-за того, что разнообразные хлопоты и тревоги затрудняли мистическое обращение к Богу. По мнению теологов, главная мука грешников в аду — это их вечное и полное отлучение от божественного присутствия. Поэтому когда отец Жозеф написал, что общественная жизнь, особенно в военных условиях, хуже ада, — это была не просто эффектная гипербола. На языке воспринятой им философии он сделал точное и трезвое утверждение о своем психическом состоянии. Прежде он

добирался хотя бы до окраин Царства Божьего, переживал хотя бы частичную встречу с высшей реальностью. Теперь глаза ему застилала прах и дым кардинальского царства. Познав некогда небеса, теперь он оказался отлучен от света. Утверждая, что такое положение «хуже ада», он не преувеличивал. Слабое утешение отец Жозеф мог найти в мысли, что от божественного света его отделяет усердное творение внешней воли самого Бога и что, как следует постаравшись, когда-нибудь он с Божьей милостью научится «уничтожать» в непрерывном осознании божественного присутствия даже и такую жизнь, какую вел теперь.

Деятельность отца Жозефа в течение долгих месяцев осады была обширной и многосторонней. Во-первых — и эта обязанность безусловно была ему ближе остальных — он отвечал за моральное, духовное, а в известной степени и за физическое состояние армии. В его распоряжении находился целый отряд капуцинов, которым он не оставлял ни одной праздной минуты. В войсках служились мессы, читались проповеди, принимались исповеди. Вместе с хирургами монахи устроили госпитали и пеклись о нуждах больных и раненых. Они шли в самую гущу сражений, то работая санитарями, то напутствуя умирающих. Их храбрость и благочестие производили сильнейшее впечатление. Проповеди таких людей охотно слушали даже солдаты. По мнению современников, результаты просто поражали: никто еще не видел и не слышал о такой благовоспитанной армии.

К несчастью для отца Жозефа, миссионерская работа в войсках составляла наименьшую из его обязанностей. Он оставался правой рукой кардинала. Приходилось обсуждать международные дела, требовавшие особой тонкости в период междоусобного конфликта, принимать решения, составлять депеши; противоборствовать придворным интригам; мирить ссорящихся вельмож. Спрос на бесконечную ловкость монаха в обращении со знатью никогда

не ослабевал. Но такого рода делами он занимался еще с тех пор, как Ришелье пришел к власти. В Ла-Рошели он взял на себя — или получил — и новые обязанности. Так, он участвовал в военных советах и подавал мнения по вопросам стратегии и тактики. Одаренный воображением и остроумием, он неизменно предлагал самые блестящие планы. Иногда их пытались осуществить; но всякий раз дурная работа штабистов приводила к провалу. Вина лежала не на монахе; но репутация его страдала, и понемногу в нем начали видеть какого-то нелепого Белого Рыцаря* в рясе, переполненного сумасбродными идеями, которые казались еще комичнее из-за его привычки ручаться за их богооткровенность. Откровения посещали отца Жозефа на исходе долгих ночей, во время которых он, по его собственным словам, «удваивал молитвы о том, чтобы Бог его просветил» о наилучшем способе захвата крепости. Его метод состоял в том, чтобы собрать всю доступную информацию, разработать несколько подходящих планов, а затем представить все это на небесное благоусмотрение. Когда божественное указание приходило, он предлагал соответствующий план Ришелье и военному совету.

Сведениями, по поводу которых отец Жозеф молил Господа принять решение, его снабжали главным образом шпионы во вражеском лагере; здесь, как и в Париже, монах возглавлял секретную службу Ришелье. Это исключительно неблагоприятная роль для его «темно-пещерной» стороны была, впрочем, вполне естественной. Собственную службу осведомителей он стал создавать еще задолго до того, как вообще зашла речь о его участии в политике. Целая сеть корреспондентов держала его в курсе событий во всех частях королевства. Служба эта была настолько эффективной, что перед походом на Беарн он мог в точности описать королю и Люину, что творится во всех гугенотских цитаделях. И Францией он не ограничивался.

* Персонаж книги Льюиса Кэррола «Алиса в Зазеркалье», автор многих неудачных изобретений.

Непревзойденная осведомленность в международных делах, сделавшая его таким полезным для кардинала, была результатом той же частной разведывательной деятельности. Сбор всевозможной информации, предпочтительно по негласным и лишь ему доступным каналам, превратился у отца Жозефа в настоящую страсть. На удовлетворение этой страсти уходила большая часть его времени и энергии; а может быть, перспектива удовлетворять ее полнее, чем когда-либо прежде, как раз и послужила ему одной из приманок при вступлении на путь политики. «Праздное любопытство», как выразились бы теологи, входило, наверное, в число наживок, которыми воспользовался Сатана, чтобы отдалить его от Бога. От алчности к чисто мирским сведениям отца Жозефа предостерегал не только его собственный наставник, но и все великие мистики Средних веков и Нового времени. Все они твердили ему, что новости — одно из главных отвлечений, отлучающих сознание от реальности. Поэтому начинающему созерцателю необходимо самоотречение по отношению к любопытству точно так же, как по отношению ко всем прочим вожделениям или умственной распущенности. Отец Жозеф пренебрег единодушным советом всех мистиков — и это странно. Чем он оправдывался в собственных глазах? Отчасти, безусловно, уверенностью в том, что сумеет «уничтожить» свою разведывательную деятельность. Отчасти, возможно, уверенностью (родившейся от сознания своих огромных дарований), что у него не меньшее призвание к политике, чем к проповеди и наставничеству. Много лет назад, когда Иезекили шагал по Франции, уловляя души для Бога, Тенеброзо-Кавернозо уже предчувствовал, что тоже сможет творить Божью волю, и готовился к еще неясным задачам, скрытно и методично собирая информацию. Теперь, при посредстве Ришелье, задача была определена — и оказалась хуже ада. Хуже ада, хотя и в согласии с Божьей волей; хуже ада, хотя у капуцина был настоящий дар не только к более све-

толюбивым формам политики, но и к тайному, закулисно-му делу шпионства и организации пятых колонн. «В предприятиях Ришелье, — пишет Фанбез, — измена почти всегда либо дополняла открытое применение силы, либо делала его излишним». И дальше он приводит ряд примеров того, как отец Жозеф в качестве главы секретной службы деньгами или почестями покупал то полезные сведения, то услугу, то прямую измену. И снова возникает вопрос, как же ему удавалось оправдаться в собственных глазах. Францисканский монах, верный слуга Церкви, спасительницы душ, он, пуская в ход все свои таланты, все приманки Люцифера, Маммоны и Велиала, заставлял своих братьев-христиан губить душу ложью, клятвопреступлением, предательством. Исполняя свой, как ему казалось, политический долг, он творил те самые дела Сатаны, от которых отрекся, вступая в Церковь.

Католических тайных агентов и изменников-гугенотов отец Жозеф принимал в своей затопленной и ветхой штаб-квартире. Они являлись по ночам, незаметно проскальзывая сквозь порядки осажденных. Монах засиживался с ними за полночь, выслушивал донесения, давал инструкции. Наградив их и отпустив, он ложился спать. Еще до рассвета он поднимался и час или два простаивал на коленях в умной молитве, без которой не мог жить и к которой, по мере разрастания его политических дел, ему все труднее было приступить в нужном настроении.

Это была утомительная жизнь, тем более что отец Жозеф держал по четыре больших поста в год и большую часть зимовки в солончаках провел на хлебе и канальной воде, лишь иногда балуя себя заплесневелой вяленой рыбой. Он выказывал все симптомы изнурения и недоедания; но невзирая на уговоры кардинала, неуклонно следовал своим курсом.

Осада выродилась в гнетущую рутину, и к февралю 1628 года Людовика XIII охватила такая смертельная скука, что он решил бросить армию и вернуться в Париж.

Его манила версальская охота на лис. В окрестностях Ла-Рошели охотник мог найти только пернатую дичь, изредка — зайцев. С ястребом, аркебузой и сворой гончих король честно пытался разогнать скуку. Не раз военные операции откладывались, чтобы не сорвать охоту, не лишить Его Величество любимого, да собственно, единственного развлечения. Но к февралю тоска по лисам стала неодолимой. Ришелье умолял своего повелителя остаться. С отъездом короля, разъяснял он, армия утратит дух. Хуже того, участвующая в походе знать забудет о своей и без того шаткой лояльности. Конечно, аристократы были хорошими католиками; но наличие сильного протестантского меньшинства гарантировало слабость короля, а слабость короля была залогом силы аристократов. «Мы будем дураками, — говаривал Бассомпьер, — если возьмем Ла-Рошель». Но ему и его товарищам, пока с ними оставался король, было психологически сложнее не быть дураками, не подчинять долговременные интересы непосредственному и деятельному проявлению традиционной верности.

Ришелье боялся отъезда короля от армии еще по одной причине. В Париже находилась королева-мать; хотя и продолжая оказывать ей благодарное почтение, Ришелье делал все возможное, чтобы удержать ее от вмешательства в государственные дела — не только из-за ее глупости и некомпетентности, но и потому, что ее происпанская внешняя политика была прямой противоположностью его собственной. Былая склонность Марии к кардиналу превратилась в мстительную ненависть, а ее дворец — в сборный пункт для всех, кто почему-либо желал его низвержения. В Париже король станет доступен для недозвольных. А вдруг он прислушается к их нашептываниям? Вдруг дрогнет от грозных материнских тирад?

Но Людовик, несмотря на все уговоры министра, уехал. Ришелье смог лишь вырвать у него обещание вернуться весной. Ришелье остался в войсках, терзаемый мучительными опасениями. Из Парижа агенты сообщали

новости об интригах против него — настолько тревожные, что несколько раз он едва не помчался вслед за королем. Удержал его в Ла-Рошели отец Жозеф. Бросить в такую минуту армию, говорил он, значит изменить делу Церкви. Место кардинала — в крестовом походе против ереси. А что до парижских интриг, они кончатся ничем, Бог не допустит их успеха. Ришелье остался.

В апреле король снова поехал на юг — очень медленно, так как несколько раз пришлось остановиться для охоты на оленя, — но в конце концов все-таки прибыл. Осада затянулась. После нескольких безрезультатных попыток отрезать Ла Рошель от моря было решено перегородить внешнюю гавань большой каменной дамбой вне радиуса действия крепостной артиллерии. Это был грандиозный проект — бухта в этом месте имела ширину больше мили. Но вопреки всем возражениям пессимистов, работы начались. Они шли медленно — до того медленно, что летом 1628 года Ришелье пал духом и заговорил о прекращении кампании против гугенотов. Король теряет терпение; международная ситуация ухудшается; большинство советников кардинала утверждают, что Ла-Рошель неприступна; и каждый день осады означает новые траты, новые налоги, народный ропот. Конечно, снять теперь осаду, вяло рассуждал Ришелье, это унижение, но все же не смертельное; а вот продолжить осаду и потом все равно отступить будет катастрофой, от которой он уже не оправится. И снова вмешался отец Жозеф. Пошатнувшуюся волю кардинала он укрепил своей решимостью, не признававшей никаких препятствий. Ла-Рошель, твердил он, должна быть взята, а король и кардинал должны лично присутствовать при капитуляции. Ободренный неколебимой стойкостью друга, Ришелье ожил; а красноречие Иезикили победно загремело в совете и королевских покоях. После взятия города Людовик XIII публично признал заслугу капуцина, сказав, что «он единственный не терял надежды привести город к покорности и именно он убедил остальных».

В почти единоличной борьбе на два фронта: против героического упорства протестантов, с одной стороны, и против временного безволия кардинала и нетерпения и уныния короля и грандов, с другой, — отец Жозеф использовал все наличные ресурсы, и человеческие, и божественные. К числу последних нужно отнести его кальварианок. Общины ушедших в затвор созерцательниц он считал еще и мощными молитвенными машинами, которые могут, если поставить их на максимальную скорость и не выключать 24 часа в сутки, выпарить, если можно так выразиться, из эфира значительные объемы божественной милости.

Наряду с подробными увещаниями, наставлениями и советами в его письмах этого времени к кальварианкам излагаются основные политические и стратегические проблемы текущего момента: он просит монахинь усердно молиться об их благополучном разрешении. И поводов для таких молитв не сосчитать. Пусть монахини, например, молятся об успехе заветного плана отца Жозефа — проникнуть в город ночью через подземную клоаку и застать гарнизон врасплох (план провалился). Об обращении протестанта герцога Ла Тремуи (оно состоялось). Об исправлении королевского брата Гастона (он продолжал вести себя так же гнусно, как и прежде). О неудаче второй английской экспедиции (флот лорда Денби прибыл, несколько дней полавировал в виду города и уплыл восвояси). И так далее. В современном английском языке слово *precarious* значит «рискованный», «с неясным исходом»; этимологический же его смысл — «зависящий от ответа на молитву».

Учитывая мистическую выучку отца Жозефа, кажется странным, что он придавал такое значение просительным молитвам. Просительная молитва вполне уместна на устах у того, кто исповедует антропоцентрическую религию; но в жизни тех, кто научился не только думать, но и чувствовать и жить теоцентрически, она очевидно нестати. Резче всего теоцентрическая позиция выражена в сочинениях Мейстера Экхарта. «Истинную правду говорю вам:

пока есть у вас воля исполнять волю Бога и вы имеете какое-либо желание, относится ли оно к вечности или к Богу, до тех пор вы не нищи действительно. Ибо только тот человек нищ, который ничего не хочет, ничего не знает, ничего не домогается»*. Перед нами — полное уничтожение, пассивное в созерцании, активное в повседневных заботах, — то уничтожение, какому учил Бенет из Канфилда и какое прилежно практиковал отец Жозеф. Но теперь отец Жозеф занимался политикой, а ее природа такова, что даже самый набожный и духовный политик вынужден непрерывно проявлять личную волю — или ради себя, или ради какой-то социальной организации. Однако когда личную волю проявляет человек религиозный, молитвенные прошения об успехе представляются вполне естественными и уместными. Отсюда — ненормальность духовной жизни отца Жозефа, одной своей частью сосредоточенной вокруг Бога, другой — вокруг слишком человеческих стремлений; отсюда — общины строгих молитвенниц, которых он так заботливо наставлял в искусстве медитации и к которым в то же время обращался как к молитвенным машинам для материализации конкретных выгод.

В городе тем временем люди медленно умирали с голоду. Лошади, кошки, собаки — все было убито и съедено; снизилось даже поголовье крыс. С великолепной серебряной посуды старая герцогиня де Роган ела мышей и пила бульон, приготовленный из конской сбруи. Бедняки варили башмаки и кожаные шляпы. Но город, руководимый неукротимым мэром Жаном Гитоном, не сдавался. Через тайных агентов отец Жозеф подрывал боевой дух осажденных. Печатались, переправлялись в город и распространялись пропагандистские афиши. В них изобличалась тирания мэра и его пособников — тирания вдвойне отвратительная, ибо она, во-первых, нарушала старинную конституцию Ла-Рошели и, во-вторых, могла привести лишь к истощению

* Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М. 1991, с. 129 (пер. М.В.Сабашниковой).

королевского милосердия и страшным карам для всех обитателей города — как виновных, так и невинных. Другие листовки обвиняли богачей в спекуляции и припрятывании продовольствия. Пропаганда возымела действие. На Гитона было устроено несколько покушений; нескольких человек, заподозренных в спекуляции, линчевала толпа; из города выбралось множество дезертиров в надежде на пищу, прощение и жизнь. В надежде тщетной — всех, кто попал в руки осаждающим, сразу же повесили.

Для переговоров с городскими властями отец Жозеф использовал своего кузена, Фекьера — не последнего человека на королевской службе, захваченного гугенотами в ходе вылазки и удерживаемого в плену. (Стоит отметить, что в течение всего плена обед Фекьеру ежедневно доставляли с королевского стола. Жареные утята, миски с зеленым горошком и земляникой, сладости, большие порции говядины, баранины и оленины проносились под белым флагом через линию фронта и вручались охранникам маркиза, которые все это неизменно отдавали ему. А ларошельцы тем временем вымирали от голода. Нам этот эпизод кажется невероятным; но не забудем, что в XVII веке считалось аксиомой, что знатная особа качественно отличается от обычных людей и имеет право на соответствующее обращение.) Через Фекьера отец Жозеф попробовал убедить вождей мятежа сдаться на милость короля; но вера в кальвинистского Бога и надежда на английскую помощь сделали их глухими ко всем разговорам о капитуляции. Осада продолжалась. К концу лета большинство стариков и детей в Ларошели уже умерли, взрослые люди умирали каждый день десятками, а с наступлением осени — сотнями.

Посты, епитимьи и неустанный труд ослабили организм отца Жозефа — в августе он простудился и очень тяжело заболел. Состояние ухудшалось из-за его упрямого нежелания хоть на время отойти от дел. На одре болезни он продолжал писать политические меморандумы и руководить разведывательной службой. Последнее занятие

едва не свело его в могилу. Являясь, в силу необходимости, по ночам, шпионы не давали больному спать. Жар усиливался, и хотя монах изо всех сил старался сохранить сосредоточенность и ясную голову, внешняя реальность ускользала и тонула в фантазмагории бреда. Много дней он пробыл между жизнью и смертью. Затем начал медленно и мучительно приходить в себя. Когда явилась и ушла ни с чем третья и последняя английская экспедиция, он уже выздоравливал, а три недели спустя, когда город наконец сдался, он настолько поправился, что сопровождал победоносный вход армии и прислуживал кардиналу на торжественной мессе, проходившей в городском соборе впервые после более чем пятидесятилетнего перерыва.

Ла-Рошель немедленно объявили центром новой католической епархии, и отцу Жозефу, в признание его заслуг во время осады, король предложил честь стать первым епископом города. Капуцин ее отклонил. Ничто, сказал он, не заставит его снять рясу святого Франциска и отказаться от благословенного устава нищенства и смирения. Однако он был глубоко признателен королю за его доброту и в знак благодарности написал сочинение, озаглавленное «Победоносный король: посвящается королеве-матери». Этот образчик восторженной риторики завершался рассуждениями о том, что ныне, после падения Ла-Рошели, Его Величество свободен обратить оружие против другого врага Святой Церкви — против Турка. На одиннадцатом году Тридцатилетней войны это были, как прекрасно понимал отец Жозеф, не более чем прекраснодушные мечтания. Но что с того? Он любил свой крестовый поход той любовью, которая

глядит горё,
Сама — невиданный метис:
Ее отец — Отчаянье,
И Неосуществимость — мать*.

* Из стихотворения Эндрю Марвелла «Определение любви».



Ришелье

Деталь триптиха работы П. Дешампана

Пылая подобной любовью, он имел право положить подходящий к случаю словесный венок на могилу, куда теперь так глубоко был зарыт предмет его страсти.

С падением Ла-Рошели политическая власть гугенотов во Франции пришла к концу. Правда, в Лангедоке и Севене протестантские цитадели еще держались. Но их захват не представлял трудности, поскольку, расположенные вдали от моря, они не могли надеяться на внешнюю помощь. В начале осады Ла-Рошель насчитывала 25 000 жителей; к моменту капитуляции в живых осталось 5000. Но накал религиозной ненависти был так высок, что многие из католической партии призывали к дальнейшим и еще более страшным карам. К вечной своей чести, кардинал и слышать не захотел о репрессиях. Уцелевшие ларошельцы были прощены, их имущественные права подтверждены, свобода веры гарантирована. Наградой Ришелье стала неуклонная верность протестантов короне. Полувеком позже Людовик XIV отказался от политики кардинала, начал преследовать гугенотов и окончательно отменил Нантский эдикт. Ему наградой стало то, что Франция в результате эмиграции потеряла огромное число полезнейших граждан.

В вопросах религиозной политики отец Жозеф, как я уже имел случай отметить, стоял на позициях кардинала. Он знал, что истинная вера, принятая под давлением, не спасет ни единой души, и потому был против принудительных обращений. Он полагал, что распространять истинную веру должны миссионеры, а не драгуны. Однако порою, чтобы добиться вожеленного обращения, он прибегал к средствам, которые чисто духовными не назовешь. Например, осенью 1625 года, когда после победы под Ла-Рошелью король пошел походом на протестантскую зону Южной Франции, отец Жозеф участвовал в походе и отвечал за обращение еретиков. Его тактикой было сосредоточиться прежде всего на аристократах и других видных лицах данного города или края. По его расчету (не всегда

верному, как показали события), их переход в католичество увлек бы за собой простой народ. Добиваясь этих ключевых обращений, он использовал обычное духовное оружие — увещания, доводы, назидательные примеры благочестивой жизни; но в случае нужды прибегал и к иным, более мирским формам убеждения — сулил выплаты из королевской казны, пенсии, почести, должности. Практичные протестантские вельможи заключали выгодные сделки. Ни один дворянин, возмущались они, ни один честный человек не переменит религиозных убеждений за жалкие шесть тысяч ливров в год. Но если бы преподобный отец поднял сумму до десяти, вот тогда, может быть... Сходились на восьми, и со всеми традиционными обрядами и церемониями церковь принимала в свои объятия очередную заблудшую овцу.

Глава 8

Сейм в Регенсбурге

За годы, истекшие с тех пор, как Ришелье получил власть, ситуация в Европе радикально не ухудшилась. Главные ужасы Тридцатилетней войны были еще впереди. Пока что дьявол, казалось, довольствуется тем, что выполняет шаг на месте. В 1625 году Дания вступила в войну против императора. Англия обещала Дании финансовую помощь; но субсидии так и не были выданы, ибо парламент, заставив Якова прервать переговоры с Испанией, а затем, побудив Карла поддержать своего зятя-протестанта Пфальцского курфюрста, отказался ассигновать средства для войны. Чтобы выпутаться из финансовых затруднений, Карл вынужден был прибегнуть к противозаконным мерам, а противозаконные меры привели в результате к большому восстанию. Зло заразительно; гражданская война, казнь Карла, тирания Кромвеля были спровоцированы, по крайней мере отчасти, инфекцией, занесенной из Германии, где свирепствовала лихорадка войны. Датчане, не получившие денег, были не в состоянии нанести противнику серьезный урон. Кристиан IV собрал порядочную армию, и к нему присоединился Мансфельд со своим мародерствующим войском. Императору Фердинанду положение представлялось угрожающим — настолько угрожающим, что он уполномочил Валленштейна набрать большую армию и возглавить ее. Так было создано новое орудие угнетения и

тирании, оружие, принесшее немецкому народу неисчисли-
мые бедствия. По видимости на более законных основани-
ях, чем Мансфельд, но так же безжалостно и еще более ос-
новательно Валленштейн опустошал провинции на своем
пути, забирая деньги, продовольствие и прочие ресурсы,
какие могли понадобиться армии. Грабежи продолжались
год за годом и после смерти Валленштейна, до самого кон-
ца войны.

В кампания 1625 и 1626 годов Кристиан IV и Мансфельд действовали отдельно. Валленштейн преследо-
вал Мансфельда в Силезии, где тот объединил силы с Га-
бором Бетленом. Вскоре после смерти Мансфельда Вал-
ленштейн принудил Бетлена к перемирию. Отчаянно
нуждаясь в провианте для своих войск, которым он не мог
платить (из-за отсутствия английских субсидий), Крис-
тиан IV двинулся в Брауншвейг, некоторое время грабил
страну, а затем потерпел поражение от Тилли под Лютте-
ром. После этого война на время затихла и свелась к по-
очередной осаде датских крепостей. Вернувшись из Силе-
зии в 1627 году, Валленштейн поставил перед собой две
задачи: покорить свое новое герцогство Мекленбург, кон-
фискованное у его владельца за участие в датской войне и
подаренное Фердинандом своему главнокомандующему,
и завоевать для императора все балтийское побережье.
Ганзейские города, дорожа своими свободами, отказались
открыть ему ворота, и в начале 1628 года Валленштейн
приступил к осаде одного из них, второразрядного города
Штральзунд. В это же время, в сотнях миль к юго-западу
Ришелье и его армия стояли под стенами Ла-Рошели. Но
если осада Ла-Рошели, благодаря отцу Жозефу, была до-
ведена до конца, то Валленштейн потерял терпение и по-
сле шести месяцев безуспешных попыток бросил невы-
годное предприятие и отошел. В результате, как показало
время, положение Ришелье значительно укрепилось, а
позиции Габсбургов соответственно ослабли. Взятие Ла-
Рошели привело к объединению Франции и закрыло

брешь, пользуясь которой враждебные державы могли вмешиваться во внутренние дела страны; поражение под Штральзундом оставило балтийское побережье открытым для вторжения из Скандинавии, но поскольку судьба крепости долго висела на волоске, страх побудил северных протестантов сплотиться для более решительного сопротивления экспансии Габсбургов. В следующем, 1629 году император предпринял шаг, который мог лишь prolongировать и увеличить враждебность протестантов: он издал «Реституционный эдикт» о возвращении католикам всех секуляризованных после 1552 года церковных земельных владений. Перспектива потерять полтораста с лишним богатых епископств объединила правителей протестантского Севера, а перспектива подвергнуться преследованиям со стороны иезуитов объединила их народы в противостоянии тому, что они считали неприкрытой религиозной и политической агрессией.

Тем временем беспокойно стало и в Италии. В конце 1627 года умер бездетный мантуанский герцог Винченцо II, завещав свои владения старому другу отца Жозефа Шарлю Палеологу Гонзага, герцогу Неверскому. Новый суверен поспешил в Италию и расположился в мантуанском дворце среди великолепных, веками копившихся сокровищ. Многие из них, в том числе картину Мантеньи «Триумф Цезаря», ныне находящуюся в Хэмптон-Корте, Невер был вынужден продать английскому королю Карлу I, поскольку отчаянно нуждался в деньгах для защиты своего наследства. Юридическая действительность завещания Винченцо оспаривалась еще при его жизни, и новый герцог, едва заняв престол, был со всех сторон атакован соперничающими Гонзага — герцогом Гуасталла, вдовствующей герцогиней Лотарингской и еще более опасным герцогом Савойским, который требовал принадлежащего Мантуе герцогства Монферрато для жены своего племянника, дочери старшего брата Винченцо II, его предшественника на троне. Расположенное на пути из Турина в Алессандрию и

Геную, Монферрато с его мощной крепостью Казале имело важное стратегическое значение. Карл Эммануил Савойский не желал, чтобы французский герцог, поддерживаемый французским оружием и финансами, обосновался в такой близости от его столицы. Еще неприятнее эта перспектива была для мадридского двора, ибо Монферрато лежало на линии коммуникаций между испанской провинцией Милан и морем. В начале 1628 года Карл Эммануил и посол Филиппа IV подписали соглашение о том, что обе державы предпримут совместные военные действия против Монферрато, после чего поделят его между собой. Были собраны и оснащены войска, и в том же году Карл Эммануил захватил часть герцогства, лежавшую по левую сторону реки По, а испанский губернатор Милана занялся более трудной задачей — осадой крепости Казале.

Пока сопротивлялась Ла-Рошель, Ришелье не мог придти на помощь своему аванпосту по ту сторону Альп, доставшемуся Франции по милости генеалогии. Капитуляция гугенотов развязала ему руки. Со всей быстротой, какую позволяла зимняя погода, дурная организация и дворцовые интриги, он устремился туда. В первых числах марта 1629 года французская армия, насчитывавшая тридцать пять тысяч солдат с королем и кардиналом во главе преодолела Альпы, разбила савойские войска и захватила опорный пункт Сузу. Через несколько дней Карл Эммануил подписал договор, продиктованный французами, а 15 марта была прекращена осада Казале, и испанская армия вернулась в Милан. Ришелье обеспечил город на случай новых нападений, зная, что они возобновятся, как только отойдут французские войска, усилил укрепления и оставил значительный гарнизон под началом Туара, командира, который так доблестно противостоял Бэкинге-му на острове Ре. Отец Жозеф в это время был в Мантуе и объяснял герцогу, чего ожидает от него кардинал, и чего он сам может ожидать в плане помощи от французов. Ришелье задавал трудные задачи, и герцог сетовал на его су-

ровость; но страх перед Габсбургами и убедительные речи его старого друга и коллеги-крестоносца побудили герцога принять все условия кардинала — и благодаря этому согласию (хотя в 1630 году Мантуя была разграблена императорскими войсками) он сумел сохранить за собой титул и передать по наследству своему малолетнему внуку. Внук вырос распутником и, в свою очередь, оставил герцогство почти слабоумному сыну, у которого в 1708 году его отобрали австрийцы. Это печальная и отчасти поучительная история — как и вся вообще история, она предупреждает о последствиях, ожидающих того, кто ведет себя как обычное человеческое существо, ведет существование естественного, нераскаянного человека. Пусть мы искренне хотим избежать преступлений и безрассудств прошлых поколений, но в то же время мы хотим жить земной жизнью, которая (наряду с добром и красотой) родит те же самые преступления и безрассудства. Вот почему для всех — кроме святого, который в ее уроках вообще не нуждается, — уроки истории совершенно бесполезны.

Из Италии отец Жозеф проследовал с королевским войском во Францию, где всю весну и лето 1629 года оно сокрушало политическую власть гугенотов в Провансе и Лангедоке. Это была жестокая кампания с масштабным истреблением жителей завоеванных городов, вешанием мятежников, отправкой людей в рабство на галеры. Отец Жозеф старался, как мог, смягчить эти жестокости, но король и, главное, Конде, командовавший частью сил, были безжалостны. К концу июля королевские войска одержали полную победу, и кардинал смог совершить турне по усмиренным провинциям — триумфально въезжая в один протестантский город за другим, принимая покорность магистратов, назначая королевских интендантов, которые будут править от имени короля, наблюдая за разрушением крепостных стен и башен. Вернувшись в Париж, чтобы пресечь все более опасные интриги Марии Медичи, он оставил отца Жозефа в южной Франции с трудным задани-

ем — начать обращение отступников в католичество. О методах, иногда при этом применявшихся, я уже упоминал. Они бывали сомнительными, если не сказать больше; но речь шла о максимально быстром и эффективном выполнении внешней воли Божьей...

В начале 1630 года снова начались неприятности в Италии. Нарушив условия мирного договора, которые он подписал год назад, Карл Эммануил снова связал свою судьбу с испанцами. Испанская мощь была угрозой для всех итальянских правителей; но пока что, во всяком случае, Мадрид был заинтересован в том, чтобы сохранить Савойю как буферное государство между Францией и своими владениями в Ломбардии. Отношение французов к Савоие было неопределенным, двойственным. Известное зло лучше неизвестного. Кроме того, Карл Эммануил хотел свой кусок Монфферато.

Испанская армия снова приступила к осаде Казале. Командовал ею Амброз Спинола, который сохранился живым для нас на картине Веласкеса «Сдача Бреды», — большой мастер осадного дела, послуживший испанской короне не только шпагой, но и жертвой всего своего личного состояния, когда надо было удержать от бунта его войска, не получавшие платы, — за что ему отплатили в последние годы жизни самой черной неблагодарностью. Обиды и оскорбления, которые беспрестанно наносил ему Оливарес во время этой кампании, настолько мучили его, что в сентябре 1630 года он заболел и умер на посту — под стенами Казале.

Прийти на выручку Казале в 1630 году было так же необходимо, как в 1629-м; но на этот раз Ришелье был связан по рукам оппозицией внутри королевской семьи и в собственном кабинете. Главным образом, из личного недоброжелательства к кардиналу, но также из-за того, что она уверовала в особую католическую международную политику — политику сотрудничества с Габсбургами в искоренении ереси, Мария Медичи решительно возражала

против военных действий в Италии. Молодая королева Анна Австрийская в прошлом была испанской инфантой и, по крайней мере, в этом пункте сходилась со своей свекровью. Их сильнейшим сторонником в государственном совете был Марийак, хранитель печати. Другим сторонником был кардинал Берюлль, который вплоть до своей смерти в 1629 году использовал весь свой авторитет, обеспеченный саном и исключительной святостью его жизни, для того, чтобы поддерживать королеву-мать в ее противостоянии Ришелье. Он толковал о цельнотканой Христовой ризе, об очищении западного мира от ересей и о воссоединении его под властью трех великих католических держав — Франции, Испании и Австрии. Интересно было бы знать, употребил ли он когда-нибудь свою фантазию для того, чтобы представить себе содержание этой метафоры зрительно. Его целью было превратить ризу, лопнувшую по швам, в бесшовную. Для достижения этой цели он предлагал Бурбонам и Габсбургам совместными усилиями взрезать и прижечь тело внутри ризы. На какой-то стадии этого процесса швы автоматически исчезнут, и весь христианский мир увидит себя объединенным. Возможно, Берюллю посчастливилось в том, что он своевременно умер. Продлись его дни и восторжествуй его политика, он, как и его однокашник, отец Жозеф, все глубже и глубже втягивался бы в несправедные дела, с горечью наблюдал бы губительные последствия своих благих намерений и понял бы наконец, что его политика и политика Ришелье — одного поля ягоды, ибо обе предлагали средства, которые никак не могли улучшить существующего положения вещей.

Людовик XIII в мучительной неопределенности колебался между матерью и кардиналом. Кардинала он не любил, чувствовал себя униженным из-за его превосходства; в то же время он признавал его способности, был благодарен за все, что совершено кардиналом во славу монархии, и знал, что заменить его некем. А против Ришелье

стояла Мария Медичи, пышная, распираемая женской энергией, вульгарная, громогласная, мстительная и упрямая в своей глупости. С несчастных детских лет король ненавидел и боялся ее, но всегда — с ощущением вины от того, что должен был бы ее любить и слушаться. А требовала она сейчас, чтобы он немедленно прекратил войну и уволил кардинала. Не сомневаясь в том, что прав Ришелье, что он и дальше будет приносить великую пользу дому Бурбонов, король, однако, прислушивался к словам матери, и они его наполовину убеждали. Весна и лето 1630 года были потеряны в военном смысле потому, что король никак не мог решиться: продолжать войну или заключить мир, отправиться с войсками в Италию или остаться дома. Человек, от природы хрупкий и слабый здоровьем, он пережил несколько тяжелых приступов, а лечение, прописанное врачами, — ежедневное очищение кишечника и еженедельное кровопускание — грозило сделать болезнь хронической. Вдали от двора, солдатом среди солдат, он всегда чувствовал себя бодрее, но рано или поздно письма матери обостряли неврастению, и он требовал, чтобы кардинал вернулся вместе с ним с границы в Лион, где расположились обе королевы. Там, в зале совета, кардиналу снова и снова приходилось излагать свои доводы в пользу итальянской войны. Совет выражал ему поддержку, и Людовик успокаивался. Это повторялось трижды; а между тем, время шло, в армии разразилась чума, и солдаты дезертировали тысячами. Туара в Казале, однако, держался.

В этой сложной ситуации Ришелье старался компенсировать свое вынужденное бездействие на войне удвоенной активностью на дипломатическом фронте. Его первая конструкция из протестантских союзников не удалась. Людовик XIII отдал свою сестру за Карла I понапрасну; вместо того, чтобы сотрудничать с Францией, Англия ввязалась в войну на стороне гугенотов. Датчан разгромила императорская армия. Голландия была слишком

слаба, чтобы эффективно действовать на суше. Оставалась только Швеция. Осенью 1629 года Ришелье послал агента к Густаву Адольфу, предлагая французское посредничество между ним и его родственником польским королем Сигизмундом, с которым он уже несколько лет воевал. Королей быстро помирили, и они заключили перемирие на шесть лет. Обезопасив этим свой фланг, Густав теперь мог свободно вторгнуться в Германию — к этому он давно стремился, как по религиозным соображениям (он был рьяным протестантом и габсбургскую Контрреформацию считал дьявольщиной), так и потому, что мечтал превратить Балтийское море в шведское озеро. Но Швеция была бедная страна, и, хотя Густав располагал лучшей в Европе армией, ему мешала нехватка материальных средств. Ришелье предложил ему субсидию в 600 тысяч ливров — менее одной восьмой своих доходов — при условии, что Густав вступит в Германию, разобьет императорские войска, но будет уважать права католических князей. Густав, не желавший уважать католиков, отказался от предложения и летом 1630 года, без всяких субсидий, смело вторгся в Померанию. Ришелье выжидал и не убирал золотую наживку, отлично понимая, что рано или поздно бедность заставит короля принять его условия.

Тем временем на другом краю Германии, в Регенсбурге, Фердинанд созвал Сейм. Он хотел убедить курфюрстов, чтобы они назначили его сына королем римлян — этот титул делал его официальным преемником отца на императорском троне. Он ожидал, что за этот титул придется платить — как и сколько именно, решит долгий торг на Сейме.

Созыв Сейма дал повод Ришелье отправить в Регенсбург чрезвычайное посольство — формально, чтобы обсудить вопрос о Мантуанском наследстве, фактически, чтобы посеять раздор между императором и курфюрстами. Официальным послом короля был профессиональный дипломат Брюлар де Леон, но все знали, что на самом

деле Францию представляет скромный капуцин, сопровождавший посольство. Официальной должности отец Жозеф не имел и мандат не давал ему никаких полномочий: он значился всего лишь наблюдателем. Как наблюдатель он обладал свободой в действиях и разговорах, которой посол был заведомо лишен; как ближайшего сподвижника кардинала Ришелье, его слушали с вниманием и почтением, на которое не мог рассчитывать обычный государственный служащий Брюлар.

В это время активные военные действия не велись, и, поскольку какая-то еда в южной Германии еще оставалась, Валленштейн расположился со штабом в Меммингене, приблизительно на полпути между Аугсбургом и швейцарской границей. Узнав о приближении французского посла и его интересного спутника, командующий императорской армией выехал из города им навстречу в сопровождении «восемнадцати карет с князьями, герцогами и пфальц-графами Венгрии и Богемии». Можно вообразить эту сцену: жаркий июльский день, вереница карет, остановившаяся на пыльной дороге, между послом и генералом снуют эмиссары, обсуждающие деликатный и для XVII века бесконечно важный вопрос о порядке соблюдения старшинства; счастливое разрешение проблемы таким образом, что обе стороны спешатся одновременно, дабы приветствовать друг дружку точно посередине между двумя передними экипажами; затем торжественное сближение, изысканные приветствия: низкий поклон, правая нога впереди и слегка развернута в третьей танцевальной позиции, взмах оперенной шляпой, затем рукопожатие, несколько продуманных слов, пышные комплименты. Когда два протагониста закончили ритуал, такой же вычурный обмен любезностями происходит между свитой Брюлара и князьями, герцогами и графами из восемнадцати карет. На заднем плане, выделяясь серой и обтрепанной одеждой среди всего этого вишневого бархата, кружев и драгоценных камней, стоит капуцин, босой, с загрубелыми пыль-

ными ногами. Когда его приветствуют, он наклоняет голову и осеняет приветствующего крестным знамением. Валленштейн предлагает ему сесть вместе с собой и послем в громадную золоченую карету; отец Жозеф отказывается: он не заслуживает такой чести; полководец настаивает; в конце концов, монах влезает туда вслед за ними, и они едут в Мемминген: там их ждет официальный банкет, в котором он не сможет принять участие, поскольку сейчас — один из его четырех больших постов.

На другой день во время затишья в празднествах Валленштейн пригласил монаха к себе для долгого конфиденциального разговора, суть которого была передана кардиналу с первым же курьером. Это был интересный разговор, и человеку, случайно подслушавшему его, он показался бы крайне странным. Ибо обсуждали эти двое Византию и Святую землю, турецкую державу и объединенные экспедиции Запада. Ни разу после тех счастливых дней, которые он провел в беседах с герцогом Невером и Павлом V, отец Жозеф не имел удовольствия разговаривать с таким горячим энтузиастом крестовых походов. Валленштейн желал сокрушить неверных не менее страстно, чем Людовик Святой, хотя, как постепенно выяснил отец Жозеф, не совсем по тем же причинам. Ибо человека, который учился вместе с моравскими братьями, затем с иезуитами, который сменил лютеранскую веру на католическую из соображений выгоды и по-настоящему верил только в астрологию, — этого человека торжество воинствующей Церкви не интересовало ни в малейшей степени. В глазах Валленштейна крестоносное движение было лишь поводом для *Drang nach Osten**. А то, что, рассуждая о своих гигантских планах, он прибегал к образам креста и полумесяца, было лишь данью историческому моменту и вопросом удобства. Если бы в XVII веке существовали паровозы, он с таким же энтузиазмом рассуждал бы о желез-

* Натиск на восток (нем.)

ной дороге Берлин-Багдад. Заветной его целью было создание великой федеративной империи, простирающейся от Балтики до Босфора и дальше — в Малую Азию и Сирию. Такой империи могли бы управлять Габсбурги при его, Альбрехта фон Валленштейна, участии в качестве главнокомандующего и майор-дома, или же (тут генерал доверительно склонился к монаху и его мрачное, невыразимо зловещее лицо — лицо раскормленного Мефистофеля, «князя тьмы», но не «джентльмена», осветилось внутренним восторгом) или же — почему бы и нет? — сам Альбрехт Валленштейн от собственного имени и посредством непреборимой военной силы. Такие речи в устах императорского главнокомандующего и обращенные вдобавок к человеку, который направлялся в Регенсбург, между прочим, с отчетливой целью подорвать авторитет Валленштейна при дворе, были, мягко говоря, удивительны. Но, при всем своем коварстве и осторожности, Валленштейн обладал отчаянностью человека, который знает, что все на свете предопределено, судьба написана в звездах и ее нельзя изменить. Пусть все они знают, что он задумал, — император, кардинал, папа, испанский король, — все до единого! Не все ли равно, коли из своих небесных домов планеты смотрят на него с благосклонностью?

От крестовых походов разговор перешел через Палеологов на Мантую; и с той же поразительной откровенностью Валленштейн объявил, что решительно не согласен с политикой Габсбургов в Италии. Он знал Невера и был расположен к нему; кроме того, последний Палеолог однажды мог оказаться полезным. Да и вообще как неразумно со стороны императора добавлять к своим неприятностям войну с Францией из-за пустычного мелкого герцогства, которое никому, кроме испанцев, не интересно. Эти его чувства отец Жозеф горячо разделял и выразил надежду, что Его Высочество постарается склонить Его Императорское Величество к тому же мнению. Едва ли у Валленштейна будет много времени и возможностей для

воздействия на императора, думал он про себя; он почти не сомневался в том, что сумеет убедить курфюрстов добиться отставки генерала. Что, с одной стороны, огорчительно — Валленштейн мог быть весьма полезным союзником в мантуанском деле. Однако Густав Адольф уже двигался по немецкой земле, и важно было, чтобы еще до начала кампании императорская армия оказалась ослабленной из-за потери командующего. Позже, когда шведский король сделает свое дело, Валленштейна можно будет снова призвать, поддержать его неистовое стремление к единоличной власти — поддержать ровно настолько, чтобы он стал парализующей помехой для императора, но не настолько, конечно, чтобы позволить ему сделаться военным диктатором всех германских государств.

Отдохнувший и существенно обогативший свои познания, отец Жозеф поехал с Брюларом и его спутниками дальше, в Регенсбург, где уже заседал Сейм. Император и пять католических курфюрстов присутствовали лично; два протестантских курфюрста прислали своих представителей. К своему удивлению — ибо он упорно продолжал считать себя тем, кем и был в частной жизни, — смиренным монахом-капуцином — отец Жозеф оказался персоной, о которой больше всего говорили, самой заметной, известной всем и каждому в Регенсбурге. Шесть лет тесного сотрудничества с Ришелье уже создали ему международную репутацию. Каждый хорошо осведомленный человек в Европе давно прослышал о босоногом монахе, который покинул свой монастырь, чтобы стать сотрудником самого хитрого и, в глазах сторонников Габсбургского дома, самого опасного политика своей эпохи. Повсеместно знаменитый, отец Жозеф и осуждаем был почти повсеместно. Этот последователь святого Франциска, изменивший своей даме Нищете чтобы жить среди князей, этот преданный слуга Церкви, действовавший заодно с еретиками, чтобы воспрепятствовать Контрреформации, — кто он, как не ренегат, не враг Божий и человечес-

кий? В Регенсбурге отец Жозеф впервые услышал, что думают о нем современники.

Первый раз эта правда открылась ему еще в самом начале, когда он отправился засвидетельствовать свое почтение к Тилли, старому генералу, которому он посвятил в «Туркиаде» две изящные строчки:

Tilli, etenim te nostra canet testudo, nec unquam
Egrerium nomen gelidi teget umbra sepulcri.*

Этот комплимент он написал в ту пору, когда был горячим поклонником империи; теперь же, придя к убеждению, что если истинной вере суждено расцвести под надзором Бурбонов, то держава Габсбургов должна быть разрушена, — теперь он написал бы это иначе. Но как бы ни относился он теперь к Тилли, этикет требовал, чтобы он посетил генерала. Когда беседа закончилась, Тилли проводил гостя до дверей приемной, а оттуда вниз по лестнице его сопровождали адъютанты. Один из этих господ, Фламель, обратился к монаху с вопросом, действительно ли он — отец Жозеф, и, получив утвердительный ответ, продолжал: «Так вы капуцин, то есть, согласно обету, должны всеми силами способствовать миру среди христиан. А между тем именно вы затеваете кровопролитную войну между католическими суверенами — между императором, королем Испании и королем Франции. Вам должно быть стыдно».

Не потому, что была задета его честь, но потому, что оскорблен представитель Его Христианнейшего Величества, отец Жозеф потребовал извинений. Тилли принес извинения и велел заковать обидчика в кандалы; но, несмотря на это, отец Жозеф имел основание думать, что оскорбление было продумано заранее и весь инцидент на лестнице тщательно подготовлен самим Тилли. Что ж, слуги Христовы были научены ожидать клеветы, — да, и

* Тилли, и тебя воспевает моя лира, и никогда не скроет твое славное имя холодная тень склепа (*лат.*).

даже радоваться ей, ибо, если следуешь путем совершенства, испытание клеветой есть знак того, что ты созрел для самых трудных уроков. Терпеть наветы без возмущения и озлобленности может только та душа, которая потеряла себя в Боге. Будучи в Регенсбурге, отец Жозеф с удвоенным усердием упражнялся в пассивном и активном уничтожении своего «я». Он нуждался в этом — а фронт у генерала был лишь первым в длинном ряду подобных испытаний его выдержки. На улицах Регенсбурга распространялись памфлеты, осуждавшие его и его хозяина кардинала с той яростной несдержанностью в выражениях, которая была характерна для всех полемических писаний XVII века. Памфлеты были анонимные, на латыни. По слухам, их сочинили два испанских церковника; но то, что авторы были политическими противниками отца Жозефа, не помешало им высказать вполне разумные и справедливые соображения — аналогичные высказывались людьми рядового ума и обычных понятий о морали во всех уголках Европы. Подобно Фламелью, люди недоумевали: как может капуцин примирить свое звание с разработкой и осуществлением политики, приводящей — что очевидно каждому зрячему — к умножению несчастий и преступлений. Им казалось, что он намеренно использует репутацию своего ордена, чтобы повапнить гроб ришельевских злодеяний. На афористической латыни памфлетов — *huic ille tegendo sceleri cucullum praebet*. (Он предоставляет ему — Ришелье — капюшон, чтобы покрыть преступления). Сам Ришелье отлично знал, как важно для политика прикрывать свои действия авторитетом религии и высокой морали. В своих делах с зарубежными странами он прилагал все усилия, чтобы не выглядеть агрессором, соблюдать видимость законности и моральной правоты. Больше того, по словам итальянского дипломата, его современника: «говорят, что когда кардинал Ришелье затевает какую-то хитрую проделку, не говоря уже — мошенничество, — он всякий раз использу-

ет благочестивых людей». Дурные люди никогда не могли бы причинить вред, который они причиняют, если бы им не удалось привлечь к этому хороших людей, сделав их сперва своими пешками, а затем — более или менее сознательными соучастниками. *Huic ille tegendo sceleris cucullum praebet.*

Что происходит, когда хорошие люди начинают заниматься государственной политикой в надежде насильно затолкать человечество в Царствие Божие? Вторя здравому смыслу простого человека, авторы регенсбургских памфлетов дали отточенный ответ: *Sacrilega sunt arma qua sacra tractantur manu... Miles mitrae imperat cum mitra militibus imperat.* (Святотатственно оружие, используемое святой рукой. Когда митра командует солдатами, солдат командует митрой). В этих фразах подытожена вся политическая история Церкви. Раз за разом священнослужители и набожные миряне становились государственными деятелями в надежде поднять политику до собственного высокого морального уровня, и раз за разом политика низводила их до низкого морального уровня, на котором вынуждены в своем политическом качестве существовать государственные деятели. То, что авторы регенсбургских памфлетов предпочли завернуть великую моральную и политическую истину в оболочку лжи и грубостей, достойно сожаления: это была гарантия, что отец Жозеф не обратит внимания на их слова.

Деятельность отца Жозефа в Регенсбурге была чудом виртуозной дипломатии. Первой его задачей было рассеять подозрения императора, которого враги Ришелье во Франции (Марийак, королева-мать, гранды — самые убежденные сторонники союза с Испанией) настойчиво предупреждали о том, что кардинал замышляет не что иное, как подрыв могущества Габсбургов. Это, разумеется, было правдой, но тем больше причин убедить Фердинанда, что это ложь. Отец Жозеф более или менее справился со своей задачей, дискредитируя людей, от которых

исходили предостережения. Это амбициозные люди, которым помешал приход Ришелье к власти, и люди, которые противятся усилиям кардинала, стремящегося к тому же, к чему мудро и из лучших побуждений стремится в Германии Его Императорское Величество — к объединению раздробленной страны под центральной властью. Верно, что Франции пришлось защищать себя от испанской агрессии; но утверждать, будто кардинал и его монарх замышляют что-то против Австрии — злонамеренная ложь.

После бесед с императором босоногий дипломат отправлялся к Максимилиану Баварскому или другим курфюрстам. Им он говорил о глубокой озабоченности Его Христианнейшего Величества свободами его кузенов, германских князей. Он огорчен тем, что их свободе ныне угрожают; сердце его скорбит о несчастных жертвах императорской тирании. Императорская армия во главе с этим выскочкой Валленштейном была создана для войны с еретиками; но еще усерднее ее используют для того, чтобы подчинить католических курфюрстов. Когда Валленштейн стоит в Меммингене, этот торжественный Сейм — не более чем фарс. Под угрозой мощной армии курфюрсты теряют самостоятельность; это — конец великой и древней германской конституции, которой искренне и непоколебимо преданы Его Христианнейшее Величество и кардинал. Единственная надежда для курфюрстов — в немедленном действии, пока император нуждается в них, чтобы провозгласить своего сына Королем Римлян. Пусть они откажутся даже обсуждать этот вопрос, пока Валленштейн остается командующим. А если возникнут сложности, Их Высочества могут быть уверены, что кардинал придет им на помощь. Курфюрсты послушали и отважились сделать то, что давно уже сами желали сделать ввиду военных успехов императора и навязанного им Реституционного эдикта. Они потребовали отставки Валленштейна и сокращения императорской армии.

Сомневаясь в верности Валленштейна и будучи вполне осведомленным о его непомерных амбициях, император не слишком любил своего генерала. Однако убирать его в данных обстоятельствах было крайне нежелательно. Густав укреплял свои позиции на севере и готовился к наступлению. Отец Жозеф поспешил успокоить императора. Густав, презрительно восклицал он, кто такой Густав? Жалкий, ничтожный князек во главе шайки голодных варваров. Нет, Густав просто не в счет; армия императора сметет его с лица земли. А если, паче чаяния, с ним возникнут сложности, император всегда может призвать Валленштейна обратно и набрать несколько новых полков. А что касается нынешних выборов — Его Императорскому Величеству нечего опасаться. Если Валленштейн будет уволен, благодарные курфюрсты проголосуют как надо, и то, что они проголосуют добровольно, приумножит славу императора и поднимет его моральный авторитет во всех Германиях.

Все это звучало вполне убедительно, и, полагая, что Валленштейн — умеренная цена за избрание его сына, император согласился уволить генерала. В сентябре в Мемминген были отправлены эмиссары с приказом Валленштейну подать в отставку. Одновременно отец Жозеф послал генералу письмо, где вспоминал их вдохновенные беседы о неверных и советовал ему без возражений подчиниться требованию императора. В конце концов, пояснил он, Густав Адольф — в Померании. Со своей великолепной армией он непременно выиграет несколько сражений, и император покорно придет к единственному в Европе воину, способному справиться с таким могучим врагом. Тогда Его Высочество сможет потребовать практически чего угодно; а сейчас согласие на отставку будет умнейшим политическим ходом. Валленштейн послушался совета, совпадавшего, кстати, с тем, что его астрологи (во главе с Иоганном Кеплером) прочли в звездах. Послушно, без возражений он сдал командование, и с ним

были уволены восемнадцать тысяч кавалеристов и, по крайней мере, вдвое больше пехотинцев. Одними разговорами отец Жозеф добился того, что можно было приравнять к крупному военному успеху.

Теперь, когда Валленштейна убрали и его армия сократилась наполовину, император обратился к курфюрстам за своим вознаграждением. Однако Тенебросо-Кавернозо черным ходом успел проникнуть в их совещательные комнаты раньше него. Их высочества, нашептывал он, одержали знаменательную победу; но плоды ее пропадут втуне, если за ней не последует вторая. Теперь, когда они ослабили императора, надо быстро нанести еще один удар — удар по самому уязвимому звену в броне Габсбурга — по престолонаследию. Отказавшись назвать сына Фердинанда наследником и только намекнув, что они могут избрать императором представителя какого-нибудь другого королевского дома, они вселили бы страх Божий в мадридского и венского тиранов. А если тираны возмутятся и станут угрожать, курфюрстам достаточно лишь обратиться к Его Христианнейшему Величеству; все ресурсы Франции будут к их услугам. Настало время их высочествам утвердить себя, напомнить этим Габсбургам, что они императоры не по праву наследства, а лишь по милости курфюрстов и великой германской конституции.

Когда император официально попросил для своего сына титул Короля Римлян, курфюрсты проголосовали против: Валленштейном и армией он пожертвовал зазря. Оглядываясь на причины своего поражения, император различал на каждом повороте извилистого дипломатического пути безмолвно скользящую в тени фигуру в сером. Своим министрам император сокрушенно признался, что «капуцин побил его своими четками, и, как ни узок капюшон монаха, он ухитрился запихнуть в него шесть курфюрстовых шапок».

Между тем, на некоторых других дипломатических фронтах переговорная война шла для отца Жозефа не-

удачно: события во Франции поставили его в весьма затруднительное и даже опасное положение. У колеблющегося между матерью и кардиналом Людовика XIII неврас- тения переросла в физическую болезнь. 22 сентября в Ли- оне он слег с лихорадкой, настолько тяжелой, что спустя неделю состояние короля сочли безнадежным и его собо- ровали. Затем, 1 октября, врачи сообщили, что абсцесс в теле короля прорвался; лихорадка пошла на убыль; каза- лось, что Людовик может выздороветь. Положение Рише- лье в эти последние дни сентября напоминало положение человека, повисшего над пропастью на веревке, чьи воло- на лопаются одно за другим под его тяжестью. Если бы ко- роль умер, неизбежно пришел бы конец и ему. Гастон, ко- торому предстояло унаследовать трон после бездетного брата, не переносил кардинала; равно как и королева-мать; равно как и гранды, чью власть он стремился ограничить; равно как и простые люди, в чьих глазах он был только безжалостным сборщиком податей и поджигателем бес- причинной и бессмысленной войны, которая в любую минуту могла перекинуться из Италии на любую страну Европы и даже на саму Францию. Как только состояние короля серьезно ухудшилось, группа аристократов собра- лась на тайное совещание и решила в случае его смерти расправиться с Ришелье так же, как тринадцать лет назад расправились с Кончини. Помня о том раскромсанном трупе, который был подвешен за ноги на Новом мосту, кардинал готовился бежать от опасности в папский город Авиньон. Предстояла гонка убийц и их жертвы. И вот, пе- ред самым ее стартом король начал поправляться. Для Ри- шелье это была отсрочка ожидаемого смертного пригово- ра — но только отсрочка, а не полная и окончательная его отмена. Немедленная опасность королю не грозила, но он по-прежнему был больным человеком, и у его одра сидели королева-мать и Анна Австрийская. Король поправлялся, а они продолжали свои уговоры, и все настойчивее. Они были — сама преданность, сама нежность, сама любовь и

всепрощение, но настойчиво уговаривали несчастного сделать то, что требовалось им и их политическим друзьям. Днем и ночью, сменяя друг друга, как пара следователей, ломающих упорного арестанта, они уламывали молодого короля сделать решительный шаг — прогнать министра, прекратить войну, переменить политику. У Людовика не было сил спорить с ними; но в конце концов, собравшись с духом, он решительно сказал, что не примет никакого решения, пока не выздоровеет окончательно и не вернется в Париж. Отсрочка для кардинала продлилась еще на несколько недель.

Прослышав о том, что происходит в Лионе, отец Жозеф оказался в очень трудном положении. Его тайная миссия — вбить клин между императором и курфюрстами — была выполнена; но оставалась еще официальная миссия — договориться по вопросу о Мантуе. Император, как и ожидалось, настаивал на общем урегулировании всех первостепенных противоречий между Францией и Австрией; но поскольку кампания Ришелье против Габсбургов только началась, такое общее урегулирование было бы преждевременным, и его следовало избегать. До сих пор отец Жозеф успешно парализовал все попытки императора увязать Мантую с общеевропейской ситуацией. Это была политика оттяжек и уверток, направленная на то, чтобы продлить борьбу между Габсбургами и Францией с союзниками. Проводиться такая политика могла лишь при условии, что Ришелье сохранит достаточную власть и сможет преодолеть сопротивление войне со стороны аристократов и народа. Но сейчас кардиналу грозила отставка и даже смерть; главнейшая опора антигабсбургской политики — абсолютная власть кардинала — заколебалась. Отцу Жозефу в Регенсбурге казалось ясным, что единственная надежда для Ришелье — вернуть себе популярность и умиротворить грандов. Но вернуть себе популярность и умиротворить грандов можно было только одним способом — переменив внешнюю политику. Это был

чрезвычайно серьезный шаг, и прежде чем его сделать, отец Жозеф запросил точные инструкции. Отчасти из-за того, что замешкался кардинал, отчасти из-за непогоды, задержавшей курьера, ответа не последовало, и 13 октября, взяв на себя ответственность, отец Жозеф велел Брюлару подписать документ, обеспечивавший общее разрешение франко-австрийских противоречий. Значась всего лишь наблюдателем, он сперва отказался поставить свою подпись на договоре; но император настаивал, и в конце концов он уступил. Глядя на церемонию, Фердинанд ликовал: ему удалось добыть из этого серого францисканского капюшона политические преимущества, намного весомее шести княжеских шапок, которые незадолго до этого монах туда запихнул. Но торжество императора было недолгим. Известие о том, что подписано соглашение, кардиналу принесли 19 октября, когда он с выздоравливающим королем возвращался в Париж. Полный же текст соглашения был отправлен ко двору в Лион и был одобрен там всеми, кто прочел его.

Весть об окончании войны и прекращении военных авантур распространилась по Франции точно лесной пожар и, в соответствии с ожиданиями капуцина, вызвала всеобщую радость. На другой день копию договора доставили Ришелье в Роанн. Он прочел ее и в гнев разорвал. Послы превысили свои полномочия, сказал он; договор не будет утвержден. С его стороны это был необычайно смелый поступок. Отвергнув договор, он вызвал ненависть народа и еще более острую враждебность королевы-матери и грандов. Ему представился случай спасти свою голову — и он отказался. Если король отступится от него теперь — а при дворе ставили десять против одного на королеву-мать, — ему конец.

События показали, что Ришелье рисковал не напрасно. Через три недели после того, как он отказался утвердить договор отца Жозефа, произошел решительный разговор между Людовиком и его матерью — и Мария Ме-

дичи была уверена, что результатом этого разговора будет ее победа над кардиналом. Подкравшись через незапертую заднюю дверь, Ришелье застал их за этим разговором; при виде кардинала королева-мать потеряла самообладание и начала кричать на него, как базарная торговка. Грубость ее погубила. Абсолютный монарх семнадцатого века был персоной священной, и в его присутствии всем, даже самым близким людям, полагалось вести себя со сдержанностью стоических философов, сохраняя поистине конфуцианский декорум. Пролетарские вспышки матери были оскорблением королевского достоинства. Возмущенный Людовик поспешил прочь от этой отвратительной сцены и удалился в Версаль. Мария Медичи торжествовала мнимую победу. В тот же вечер Людовик вызвал кардинала и заявил, что поддерживает его позицию. Марийак был арестован, и при этом известии Гастон Орлеанский, совещавшийся с матерью наедине, поспешил в Версаль, чтобы заверить короля в своей преданности, а кардинала — в своих отныне неколебимых добрых чувствах. Для Марии этот «День одураченных» означал решительное поражение. Еще несколько месяцев она продолжала строить козни; но кардинал умелыми маневрами подвел ее к тому, что она совершила непоправимую ошибку: она бежала из страны. Людовик так и не позволил ей вернуться из добровольной ссылки, и последние двенадцать лет своей жизни королева-мать переезжала от одного двора к другому, все менее желанной гостьей, постоянно нуждаясь в деньгах и завися от унижительных подачек человека, который некогда был ее подбострастным протеже, а теперь стал хозяином Франции и всеевропейским арбитром.

Вскоре после «Дня одураченных» отец Жозеф вернулся в Париж, где его сердечно приветствовал шеф. Ришелье не держал на него зла за превышение полномочий. Моментально отвергнутый договор не успел причинить вреда. В остальном миссия отца Жозефа закончилась вполне успешно. Валленштейн был смещен, и его армия ослаблена;

курфюрсты продемонстрировали свою независимость от императора и очевидно склонялись на сторону Франции. Что не менее важно, было выиграно время — время для того, чтобы Густав подготовился к кампании будущего года, время для того, чтобы кардинал опрокинул своих внутренних врагов и укрепил свои позиции. Сейчас время работало на Бурбонов и против Габсбургов, которым оставалось лишь терпеть продолжающийся хаос в Германии, тогда как их соперники к западу от Рейна могли спокойно дожидаться истощения императорских ресурсов.

В меморандуме о германских делах, написанном в январе 1631 года для разъяснения ситуации королю, отец Жозеф настаивал на том, что стержнем французской политики должно быть систематическое использование фактора времени как самого смертоносного оружия в арсенале Бурбонов. Для этого переговоры, которые он начал в Регенсбурге, надо продолжать безостановочно. Королю через своих агентов следует и дальше предлагать курфюрстам французское покровительство — с условием, что все они, и протестанты, и католики, объединятся в чисто германский, антииспанский блок, независимый от императора. Такой блок будет достаточно силен, чтобы вести переговоры с Габсбургами на равных, и если король Франции возьмет на себя роль посредника, курфюрсты могут быть уверены в благоприятном характере окончательного урегулирования.

Если такие предложения не сделать немедленно, причем с видом величайшей искренности, курфюрсты из страха перед Густавом могут вернуться в императорский лагерь. Если это произойдет, продолжал отец Жозеф, император получит возможность моментально разрешить все споры. Что будет бедствием для Бурбонов, ибо тогда Габсбурги смогут обратить всю свою военную мощь против Франции. Поэтому всякое поползновение быстро установить мир внутри империи и между императором и его иностранными врагами следует выявлять и немедленно пре-

секать. Но как? У отца Жозефа был ответ. Его Христианнейшее Величество сможет отвратить эту катастрофу — скорое заключение мира, — если предложит себя в качестве миротворца. Приняв роль посредника и третейского судьи и пообещав курфюрстам помощь в случае нужды, король может затягивать дело до бесконечности, создавать противовесы для императорской власти и откладывая наступление мира в Германии до той поры, когда мы станем уверены в надежности всеобщего умиротворения — всеобщего умиротворения, отвечающего, разумеется, интересам Бурбонов.

Пока заседал Сейм, изо всех уголков Германии нескончаемым потоком шли просители, ожидавшие от князей возмещения ущерба, который нанесли им кампании предыдущих лет. Ничего, конечно, для них сделано не было, и они либо возвращались, озлобленные, к своим разрушенным домам, либо, как Кеплер, приехавший из далекой Силезии, чтобы просить о выплате задержанного жалования, положенного ему как Императорскому математику, тихо умирали и перемещались на одно из регенсбургских кладбищ. Среди этих просителей была группа делегатов из Померании. Смиренно, но оттого не менее настойчиво, они умоляли императора и курфюрстов вспомнить о плачевном положении их провинции. В прошлом году армии Валленштейна настолько разорили страну, что люди с тех пор голодали. Очень многие умерли, а те, кто выжил, ели траву и коренья — и малых детей, и больных, и даже только что похороненных мертвецов.

Кажется, это был один из первых случаев во время Тридцатилетней войны, когда внимание общества обратили на вынужденный каннибализм, чудовищно распространившийся в Германии в эти роковые годы. Император и курфюрсты сочувственно выслушали жителей Померании, заверили их в своей глубокой озабоченности и этим ограничились. При той политической системе, в которой они существовали и выполняли свои функции, при

том строе мыслей и чувств, который господствовал во властных кругах, ничего большего от них и ожидать было нельзя. Кроме того, за все тридцать лет войны ни один германский правитель ни разу не голодал. Для герцогов и епископов всего было вдоволь. Простой народ мог умирать с голоду или питаться человеческой падалью; но в пиршественных залах императоров, князей и епископов знатная немецкая традиция обжорства и питья никогда не прерывалась. Наполнив животы мясом и вином, князья переносили несчастья своих подданных с великой стойкостью.

Но что же отец Жозеф? Он жил среди бедных и в бедности. Он знал их страдания, он принадлежал к религиозному ордену, присягнувшему, между прочим, служить им. И вот он терпеливо, с несравненным мастерством проводит политику, способную лишь увеличить несчастья бедных, которым он поклялся служить. Отлично зная, что уже произошло в Померании, он продолжает отстаивать меры, которые определенно приведут к распространению людоедства в других провинциях.

Хочется знать, что творилось в голове у монаха во время этого ежедневного подведения итогов, когда, перебирая свои мысли и поступки, он готовился к тому, что его наставник в мистицизме называл «пассивным уничтожением своего я» в созерцательной молитве. Прежде всего и каждый раз он, конечно, напоминал себе, что, трудясь для Франции, он исполняет внешнюю волю Божию. *Gesta Dei per Francos* было аксиомой, из которой следовало, что Франция божественна, и те, кто трудится ради величия Франции, — орудия Божьи, а это значит, что средства, ими используемые, не могут не согласоваться с Божьей волей. Когда Сатана закидывал свою удочку, для души отца Жозефа он наживлял крючок благороднейшими искушениями — патриотическим долгом и самопожертвованием. Отец Жозеф заглотал крючок и отдал себя Франции с тем же жаром, с каким отдавал себя Богу. Но двум

господам нельзя служить, Господь есть Бог Ревнитель, и последствия идолопоклонства губительны. Поскольку отец Жозеф упрямо отождествлял французскую монархию с высшей реальностью, постигаемой в созерцании, он не мог связать плачевное состояние померанских каннибалов с нарушением первых двух заповедей, в котором повинен был он сам и все остальные государственные деятели Европы.

Иногда во время такого самоанализа ему, конечно, приходило в голову, что в переговорах он прибегал к весьма сомнительным методам. (Современник отца Жозефа сэр Генри Уоттон определил посла как «честного человека, посланного лгать за границей во благо своей страны». В семнадцатом веке посланнику полагалось не только лгать, но и вести шпионаж в стране, где он аккредитован.) Отец Жозеф мог оправдать свою дипломатическую деятельность двояко: во-первых, действовать так ему велел патриотический долг; во-вторых, совершая эти действия, он усерднейшим образом занимался «активным уничтожением своего я» в Боге. Тилли, де Фламель и анонимные испанские авторы памфлетов могли обвинить его в преступном поведении; но они не знали и не могли знать, что все эти действия совершал человек, строго державшийся высшей, всеобъемлющей добродетели, которую святой Франциск Сальский назвал «святым безразличием».

Первое литературное упоминание о «святом безразличии» встречается в «Бхагавад-гите», где Кришна заверяет Арджуну в том, что он вправе убивать своих врагов при условии, что не будет вкладывать в это душу. Когда ту же доктрину использовали иллиуминаты Пикардии для оправдания беспорядочных сексуальных связей, все благонамеренные люди, включая отца Жозефа, естественно, этому ужасались. Но по какой-то странной причине убийство всегда представлялось более респектабельным, чем прелюбодеяние. Немногих людей шокирует, когда при них Бога называют богом битв; но какой крик поднялся

бы, заговори о нем кто-нибудь как о божественном борделе! Отец Жозеф провел небольшой крестовый поход против иллюминатов, которые утверждали, что могут ложиться в постель друг с другом в духе святого безразличия; но он не видел совершенно ничего предосудительного в хладнокровном интриганстве, шпионаже и разжигании войны.

Истина, разумеется, состоит в том, что безучастность можно практиковать лишь в отношении действий, сущностно благих или этически нейтральных. Что бы ни говорил Кришна и кто угодно еще, дурные действия несовместимы с уничтожением своего «я». Несовместимы благодаря тому элементарному психологическому факту, что у тех, кто их совершает, они способствуют разрастанию эго. Но «чем больше твари, — сказал Таулер, — тем меньше Бога». Любое деяние, способствующее увеличению отдельного, персонального «я», автоматически уменьшает для деятеля возможность установить контакт с реальностью. Он может очень стараться уничтожить себя в Боге, искать непосредственной близости к Нему, даже когда действует. Но характер его действий неизбежно делает его старания тщетными. Регенсбургская деятельность отца Жозефа в качестве министра иностранных дел при Ришелье была в принципе несовместима с жизнью в Боге, к которой он стремился с молодых лет и которую отчаянно пытался сочетать теперь с государственной политикой. Он мог извинять себе свои самые сомнительные действия, думая, что старается совершать их в состоянии активного уничтожения себя в Боге. Определенную безуспешность своих усилий он приписывал не тому, что деяния его по своему характеру принципиально неуничтожимы в Боге, а собственным несовершенствам — несовершенствам, лекарство от которых — еще больший аскетизм, еще более суровая самодисциплина.

Возвращаясь к самоанализу, он мог обнаружить некое космическое и метафизическое оправдание в мысли, что кажущееся с чисто человеческой точки зрения дур-

ным на самом деле может быть благом. «Il faut aimer Dieu vengeur, — говорил он своим монахиням, — aussi bien que Dieu miséricordieux».* У Бога мстителя, возможно, были свои резоны желать истребления большого числа жителей Центральной Европы. В самом деле, поскольку историю отец Жозеф считал выражением божественного промысла и поскольку в данный исторический момент большое число жителей Центральной Европы умирало с голоду и подвергалось истреблению, это означало, что Бог мститель *желает* их гибели. Следовательно, политика продления войны не является порочной.

Здесь самоотверженное радение о Франции заставляло его забывать слова Евангелий о том, что невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Есть очевидная связь между некоторыми нежелательными образами мыслей и действий, с одной стороны, и некоторыми катастрофами, такими, как Тридцатилетняя война, — с другой. Но отсюда отнюдь не следует, что, если в этом смысле войну можно считать волей Божьей, то индивидуум, старающийся продлить войну, исполняет Божью волю.

Так, блуждая в лабиринтах добровольного неведения, отец Жозеф рассуждал с собою каждый вечер и утро, когда стоял на коленях перед распятием. От оправдательных доводов он переходил к размышлению о Страстях Спасителя, чье истерзанное тело висело перед его глазами. А иногда эти размышления, в свою очередь, сменялись вневременным и экстатическим созерцанием Христовых мук — созерцанием на грани транса. Отец Жозеф уносился в то место, которое с ранних детских лет стало приютом его странного духа; он был на Голгофе, у подножия креста, с любимым учеником и святыми женщинами.

Можно подумать а priori, что те, чья религиозная жизнь сосредоточена на страданиях Божественного Спа-

* Надобно любить Бога мстителя так же, как мы любим Бога милостивого (франц.)

сителя, будут особенно сострадательны и щепетильно, как никто, будут избегать действий, способных причинить или продлить боль. «Но никакие априорные принципы не определяют и не ограничивают возможностей опыта. Опыт определяется только опытом». Исторические факты свидетельствуют, что те, чья религиозная жизнь концентрировалась на страданиях Божественного Спасителя, не отличались исключительной сострадательностью, не заботились больше прочих о том, чтобы не причинить боль. Исторические факты свидетельствуют, что послушной список буддизма в этом отношении гораздо лучше, чем у христианства. Рассмотрим некоторые причины безусловной жестокости, с одной стороны, и безразличия к страданиям, с другой, которыми так часто отличались действия ревностных христиан.

Если видеть в ней просто повесть о том, как хорошего человека заманили в ловушку, пытали и несправедливо казнили, то история Страстей сама по себе достаточно трогательна; а для тех, кто воспринимает эту историю как подлинную, теологические обертоны сообщают ей гораздо более глубокое значение. Эмоциональная реакция доброго христианина на эту историю всегда сильна, но, к сожалению, не всегда похвальна. Рассмотрим раньше всего обычный тип реакции, которую ярко иллюстрирует рассказ о старшем современнике отца Жозефа, Луи де Крийоне, по прозвищу Смелый. Находясь на покое в Авиньоне, старый воин однажды слушал проповедь. Темой ее были Страсти Господни, а проповедник — красноречив и пылок. Внезапно на середине патетического рассказа о распятии старик вскочил на ноги, выхватил шпагу, которая так доблестно поработала при Лепанто и против гугенотов, и, потрясая ею над головой с видом человека, вставшего на защиту гонимой невинности, воскликнул: «Où etais-tu, Crillon?»*

* Где ты был, Крийон? (франц.)

В трогательном изложении история о жестокой несправедливости способна подвигнуть людей на ответные жестокости в отношении либо истинных виновников преступления, либо, если таковые мертвы или недосягаемы, — в отношении мужчин и женщин, которые из-за неправильного пользования языком временно отождествляются с виновниками. Мотивы, двигавшие антисемитами, крестоносцами, инквизиторами и другими христианскими гонителями, многочисленны и разнообразны; но среди них неизменно фигурировала жажда мести — совершенно символической и направленной не по адресу — за зло, совершенное на Голгофе. Эмоциональное христианство — медаль о двух сторонах. На лицевой выбиты крест и персонажи, которым сострадают и поклоняются, — и слишком часто в ходе истории на оборотной стороне выступают отвратительные символы войны и хладнокровной жестокости.

Идея искупительного страдания близко ассоциируется с историей Страстей Господних, и в умах христиан производила действие не менее двойственное. Благодарность Богу, воплотившемуся в человека и страдавшему, чтобы люди могли быть спасены от заслуженной вечной кары, влечет за собой в виде ложного вывода тезис о том, что страдание само по себе — благо и что, поскольку добровольное самопожертвование похвально и благородно, должно быть нечто великолепное и в самопожертвовании невольном, навязанном извне. Следующие строки взяты из письма, адресованного западной газете англиканским священником и опубликованного весной 1936 года. «История пронизана принципом искупительного страдания — страдания и смерти ради других. Мать за больного ребенка, медик в лаборатории, миссионер среди язычников, солдат на поле боя — они страдают и иногда умирают, дабы другие жили, были счастливы и здоровы. И не в согласии ли с этим великим принципом животные тоже исполняют свою роль, иногда страдая и умирая, чтобы британцы оставались

здоровыми, закаленными и смелыми?» Откуда, естественно, следует, что охота на лис есть дело превосходное и христианское.

То, что подобные строки мог написать священнослужитель, многим покажется почти неправдоподобным. Но то, что они в самом деле написаны, весьма знаменательно, ибо показывает, насколько опасной может стать идея искупительного страдания, какие несправедливости можно ею чистосердечно оправдать. Бог взял на себя грехи человечества и умер ради спасения людей. Следовательно (подразумевается вывод), мы можем затевать войну, эксплуатировать бедных, обращать в рабство цветных — и все это без малейших угрызений совести, ибо наши жертвы иллюстрируют великий принцип искупительного страдания, и мы им отнюдь не вредим, а наоборот, оказываем услугу, давая возможность «пострадать и умереть», «дабы другие (по счастливому совпадению — именно мы) жили, были счастливы и здоровы».

И еще одно: страдания просто людей и, а *fortiori**, животных — ничто против страданий Бога, который принял человеческий облик, взял на себя грехи мира и решил их все искупить единым актом самопожертвования. На таком фоне страдания людей и животных мало значат. Постоянные размышления о страданиях Спасителя и мучеников могут породить в эмоциональном христианине вполне замечательное безразличие к собственным мучениям; но если он не будет старательнейшим образом развивать в себе способность к состраданию, соизмеримую с его мужеством, он может стать равнодушным к чужим мучениям. Ребенок, безутешно плакавший от того, что мучили и убили бедного Иисуса, был отцом взрослого, который пятьюдесятью годами позже сделал все, что в его силах, дабы продлить войну, унесшую уже сотни тысяч его сородичей, а живых довела до людоедства.

* Тем более (*лат.*)

Глава 9

Нет ничего опаснее успеха

После «Дня одураченных» власть Ришелье стала неоспоримой. Он сделался постоянным первым министром короля, а отец Жозеф, примерно тогда же официально введенный в Государственный совет, — его постоянным секретарем по иностранным делам — и, начиная с 1634 года, официальным преемником кардинала в случае его смерти.

Об образе жизни монаха в эти годы — годы его наибольшего политического влияния — мы располагаем самыми подробными сведениями. В капуцинском монастыре на улице Сент-Оноре у него была келья, в Лувре — своя комната. Но для удобства кардинала, любившего советоваться со старым другом по всем важным вопросам, большую часть времени отец Жозеф проводил в отведенных ему апартаментах в загородном доме Ришелье в Рюэле, в шести милях к западу от Парижа, — или в самом Париже, в Кардинальском дворце, ныне — Королевском (Пале-Рояль). Здесь, среди более чем королевской пышности кардинальского двора, он жил, словно и не покидая монастыря, в самой аскетической простоте и строгости.

Каждое утро, что зимой, что летом, он вставал в четыре часа. Первый час дня посвящался созерцательной молитве перед распятием — актам неколебимого намерения, самоуничужения, преклонения, за которыми следо-

вали сперва словесные медитации о каком-либо из божественных совершенств, затем — пассивное уничтожение в страдающем Христе и воплотившемся в Нем Божестве. Встав с колен, отец Жозеф звал своего секретаря и с 1519 года постоянного спутника, отца Анжелюса де Мортаня, и они вместе читали часы. В шесть начинался рабочий день. Отец Анжелюс зачитывал — в случае надобности дешифруя — свежие депеши от французских посланников и от менее явных заграничных агентов отца Жозефа, от его пятых колонн. По прочтении депеш отец Жозеф диктовал ответы. Это занимало три часа. В девять двери апартаментов распахивались — монах давал аудиенцию высокопоставленным чиновникам и посланникам зарубежных держав. В особо сложных и деликатных случаях он шел с посетителем к кардиналу, в чьи апартаменты вела тайная лестница. В полдень или чуть позже прием завершался, и отец Жозеф удалялся в одну из часовен того дворца, в котором в данное время проживал, чтобы отслужить мессу (кардинал отстаивал мессу в те же часы, но — примечательным образом — в другой часовне). Вернувшись с мессы, отец Жозеф заставал у себя в прихожей толпу посетителей всех родов и состояний — придворного, выпрашивающего очередную милость, монаха с отчетом о миссионерских трудах среди гугенотов, опального чиновника, обезумевшую от горя жену бастильского узника. Никто ни разу не ушел непринятый, и лишь после часа дня отец Жозеф впервые за день усаживался поесть. Обычное меню составляли суп и «всего одно мясное кушанье, не тушеное и не пожаренное». Монастырская простота его рациона производила на современников глубокое впечатление — их поражало, что человек его ранга так непритязателен в еде. (В скобках сказать: как наши предки носились с едой! Все Средние века и долгое время спустя, почти до наших дней, тот, кто не пил вина и жил на вегетарианской или бедной мясом диете, считался носителем поистине героических добродетелей. Условия пере-

менились, и сегодня миллионы людей обходятся без мяса и алкоголя и, вовсе не считая себя мучениками, вполне довольны жизнью и вряд ли променяли бы ее на другую. Если наши предки страдали и сознавали свою добродетельность из-за постной диеты, которая теперь многим показалась бы обильной и изысканной, то дело было в их вере. Они верили в мясо и алкоголь; соответственно, отсутствие мяса и алкоголя расценивалось как тяжкое лишение.)

При случае отец Жозеф обедал за столом кардинала; но чаще всего он ел у себя, вместе с секретарем, а иногда — с одним-двумя близкими друзьями — из числа клириков или литераторов, которым (особенно самым назидательным и скучным) создатель «Туркиады» неизменно оказывал покровительство. Когда он ел один, отец Анжелюс или другой монах читали ему из молитвослова или какой-нибудь книги по церковной истории.

Собственных денег у отца Жозефа не было; жалованья он не получал. Его пропитание оплачивалось из специальной субсидии, выделенной королем. Этой субсидии хватало, чтобы обеспечить его не только пищей, но и экипажем, на пользование которым по деловым надобностям он получил «благословение», лошадьми, кучером и четырьмя лакеями в особых серо-желтых ливреях.

После обеда, если имелись неотложные дела, его призывал к себе кардинал. Но чаще у него бывало несколько свободных часов для аудиенций. Именно в это время люди большого света обычно наносили ему визиты и обращались с просьбами.

В четыре он выпроваживал последних гостей, вместе с отцом Анжелюсом выходил в сад или, если шел дождь, на одну из дворцовых галерей и дочитывал остаток дневной службы, после чего обычно находил время для умной молитвы. В пять он возвращался к работе; двери закрывались, и следующие три часа проходили в диктовке меморандумов королю, политических документов

или писем к агентам короны за границей. В восемь он ужинал. Вечернее меню до нас не дошло. Известно лишь, что «на сладкое он всегда ел коврижку — то ли потому, что любил коврижки, то ли подражая вкусу короля, который часто их ел». После ужина монах по потайной лестнице спускался в апартаменты Ришелье, где они уединялись и обсуждали государственные дела, пока не пора было идти спать. Иногда, если в политике царило затишье, приглашали нескольких придворных, и заходил общий разговор — о новосозданной Французской академии, о трех единствах, которые господин Шаплен так усердно прививал французской драме, о войне в Германии, о последних случаях колдовства и бесовской одержимости.

Постель, в которую наконец укладывался отец Жозеф, была тощий жесткий матрас, положенный на доски. Спал он без простынь, не снимая власяницы, которую весь день носил под заскорузлой и изодранной рясой. От покаянных бичеваний на спине и плечах почти никогда не заживали раны, и первое соприкосновение с матрасом, когда он ложился, наверное, причиняло ему острую боль. Но отец Жозеф привык к таким неудобствам и выучился не только терпеливо их сносить, но даже им радоваться; ибо эта боль посылалась и терпелась ради вящей славы Божией и во спасение души. Долгая привычка развила в нем такую выносливость, что позже к религиозному умерщвлению плоти он прибавил еще и пытку, прописанную врачами. Считалось, что эта пытка, состоявшая в прижигании затылка раскаленным железом, поправит его слабевшее зрение. Откидывая капюшон, он обнажал красневший ниже тонзуры, вечно воспаленный от регулярных ожогов рубец.

Таков был режим отца Жозефа — политика. Но у министра иностранных дел были и иные обязанности, которые он ставил не ниже служебных. Раз или два в неделю он покидал дворец кардинала и проводил день среди

капуцинов на улице Сент-Оноре или в монастыре кальварианок в квартале Марэ. На улице Сент-Оноре он занимался делами широко разветвленной организации внутренних и зарубежных миссий, которую возглавлял с 1625 года. В Марэ он проповедовал, читал лекции по схоластической философии и психологии, обучал искусству умной молитвы, выслушивал отчеты о духовном преуспевании и давал монахиням советы по всем вопросам духовной жизни.

Нужно отметить, что, как и в Регенсбурге, в Париже у отца Жозефа была очень плохая репутация — настолько плохая, что современники ни за что бы не поверили истинным причинам его еженедельных отлучек. Поговаривали, что в то время, когда он якобы гостит у капуцинов или кальварианок, он, на самом деле, переодетый рыщет по городу, шпионя для кардинала или раздавая деньги и инструкции своим агентам — до того тайным и гнусным, что и встречаться-то с ними можно только ночью, на перекрестках или в задних комнатах сомнительных таверн. Вымысел всегда беднее и банальнее, чем искаженные и упрощенные им факты. Воображаемый отец Жозеф, прототип своего тезки, смехотворного злодея в «Сен-Марэ» Виньи, просто скучен, тогда как подлинный отец Жозеф проходит по истории семнадцатого века как самая увлекательная загадка.

Хорошо знавшие капуцина люди, разумеется, не были подвержены заблуждениям тогдашней молвы. Вот, например, краткое сообщение, оставленное Аво — надежным свидетелем, часто встречавшимся с отцом Жозефом. Описав его удивительное умение концентрироваться, он продолжает: «От природы и нарочитых стараний он был замкнутым в себе человеком, который, кроме как в случае необходимости, редко давал себе отдых в обычной чувственной жизни и который вдобавок к уставу ордена, казалось, предписал себе еще и собственный устав. И потому, всецело располагая всеми способностями души, из-

бавившись от всех тех отвлечений, которые занимают половину нашей жизни, и регулярно упражняясь в медитации, он имел более правильное суждение о вещах и делах». Вот настоящий отец Жозеф — человек дела, самодисциплиной и привычкой к концентрации достигший сверхчеловеческой работоспособности и пронизательности. За рассказом современника о других гранях личности монаха можно обратиться к Дом Тариссу, выдающемуся бенедиктинцу, который часто с ним встречался и который, подобно Аво, изумлялся тому, как человек со столь многими и важными обязанностями умеет сосредотачиваться на любом вопросе, пусть самом ничтожном, словно это единственная его забота. Наряду с умственной сосредоточенностью ему было свойственно «столь великое владение своими страстями, что если в ходе частых нелегких собеседований ему случалось сказать что-либо грубое или резкое, то не успевали еще слова слететь у него с языка, как он уже понижал голос и улыбался». Затем Дом Тарисс переходит к его аскетизму и описывает «recollection incroyable»*, с которой он принимал причастие. В самой гуще забот, читаем мы, среди самых неотложных дел, если разговор вдруг обращался к духовным предметам, лицо его просветлялось, и он мог целый час проговорить о молитвенной жизни с «таким удовольствием, чувством и знанием, что легко было принять его за отшельника, погруженного в непрерывную молитву». Но еще сильнее Дом Тарисса поражало то, как монах пекся о монахинях своего ордена. Иностраннный министр, второе лицо великой державы, наставлял их в духовной жизни «с таким пылом и знанием, со столь глубокой мистической ученостью, что ему мог бы позавидовать самый сведущий созерцатель и мистик». Эта аскетическая и многотрудная жизнь шла на фоне усугублявшейся народной нищеты, растущей безжалостности правительства. Ог-

* Невероятную сосредоточенность (франц.)

ромные суммы, которых требовала внешняя политика отца Жозефа и его начальника, кардинала, по грошу выжились из самых бедных. «Деньги, — заметил Ришелье барским тоном человека, роскошно живущего за чужой счет, — деньги вздор, если мы достигаем наших целей». Заботясь лишь о внешней политике, лишь о большой игре переговоров и войн, которую государи вели за собственную славу и династический престиж, внутри страны он был готов на любые крайности. К высшим сословиям, пока те не дерзали выступать против центральной власти, Ришелье был неизменно и принципиально снисходителен. Вся тяжесть его фискальной тирании ложилась на бедняков — на ремесленников и мелких торговцев в городах, на бессловесные миллионы крестьян. К концу царствования Генриха IV *taille* — обычная подушная подать — составляла ежегодно около десяти миллионов ливров; к концу правления Ришелье незначительно возросшее население выплачивало правительству в четыре с половиной раза больше. Гнет проводимой кардиналом фискальной политики был настолько тяжок, что ее отчаявшиеся жертвы раз за разом устраивали мятежи, тщетность которых заранее сознавали и от которых ждали лишь виселицу, колесо, клеймо, галеры, а для ушедших от палача — еще большую безжалостность налоговых сборщиков. И тем не менее бунт следовал за бунтом. Бунтовали в Бургундии в 1630 году, в Провансе в 1631, в Лионе и Париже в 1632, в Бордо в 1635, по всем юго-западным провинциям — в 1636, в 1639 — в Нормандии.

Ришелье высылал войска для умирения беспорядков и объявлял всё новые повышения налогов. Он сочувствовал бедным; но, как он философски писал, «один Бог может творить из ничего, и изъятия, нетерпимые по своей природе, извиняются необходимостями войны». Необходима ли сама война, он не давал себе труда задуматься. Он считал самоочевидным, что необходима. За восточной границей Франции положение было, конечно же,

несравненно тяжелее. В 1633 году в Париже вышла avec Privilege du Roy* серия гравюр, открывающаяся титульным листом со следующим текстом: Les Misères et les Malheurs de la Guerre, representés par Jacques Callot, Noble Lorrain, et mis en lumiere par Israel, son ami**. Подобно «Los Desastres de la Guerra»*** Гойи, «Misères et Malheurs» Калло — репортаж очевидца. И та и другая серия — портрет войны, написанный с натуры. Но в первом случае его писал обладатель страстного темперамента и непревзойденного дара передавать негодование и жалость в графических образах, а во втором — рисовальщик, чей талант состоял в полной эмоциональной отрешенности, которая парадоксально сочеталась с даром к реалистическому воспроизведению действительности во всех ее аспектах — страшном и приятном, трагическом и фарсовом. Как художник Гойя, несомненно, гораздо выше; но в искусстве Калло есть что-то такое, из-за чего тянет снова и снова возвращаться к его гравюрам, подолгу рассматривать эти гипнотические и загадочные, вызывающие то улыбку, то страх композиции. Эти маленькие, многолюдные, с тщательно выписанными деталями, но идеально построенные и скомпонованные рисунки — вещь единственная в своем роде; их предмет — флорентийские маскарады и праздники, персонажи комедии дель арте, ярмарки и карнавалы, солдаты в парадном строю, премудрости осадного искусства, ужасы и зверства войны. Единственная в своем роде — потому что ни один другой художник не приступал к своей теме в духе столь полного беспристрастия, с такой глубокой невозмутимостью, со столь неколебимой пирроновой ataxia****. Искусство Калло — эстетический аналог поведе-

* С королевской привилегией (*франц.*)

** Несчастья и Бедствия Войны, рисованные Жаком Калло, Лотарингским Дворянином, и изданные Израилем, его другом (*франц.*)

*** Бедствиям войны (*исп.*)

**** Безмятежностью (*греч.*)

ния Франциска Сальского, о котором говорили, что ему безразлично, находится ли он в состоянии благодати или богооставленности. Но делать из искусства Калло вывод, будто он был равнодушен к изображенным сценам, конечно же, нельзя. Само его решение изобразить бедствия войны убедительно свидетельствует, что он этими бедствиями терзался. Невозмутимость Калло — в его стиле; а стиль — отнюдь не всегда и отнюдь не весь человек. В искусстве искренность есть функция таланта. Человек без таланта не способен «честно» выразить свои чувства и мысли; ибо его мазня или вирши окажутся в полном разладе с тем, что творится у него в душе. С другой стороны, наследственность и выучка иногда наделяют человека талантом определенного рода, позволяющим ему выражать один разряд идей, но непригодным для выражения других. По своей сути сухая и изящная точность стиля Калло лучше всего подходила для декоративных или видовых сюжетов. Но он предпочел пустить свой талант на изображение бешеного веселья и еще более бешеного ужаса — дурачеств Франкатриппы и компании в карнавальных масках и пестрых платьях, зверств небывало жестокой войны. Результат получился неизъяснимо странный. Словно Джейн Остен изложила содержание «По ком звонит колокол» стилем «Эммы». Декоративно, бесстрастно, с неизменной заботой о мельчайших деталях и формальном изяществе, сперва он рисует красивые приготовления к войне: войска в парадном строю под штандартами, — затем саму кампанию: сражения и — пространнее и подробнее — страдания мирного населения от рук солдат-мародеров, беспощадные расправы наводящих дисциплину командиров. Перебирая гравюры, мы следим за рассказом художника о грабежах, убийствах, поджогах, изнасилованиях, пытках, казнях. Крошечные фигурки в широких шляпах, мешковатых штанах, кожаных сапогах с отвернутым ниже колена мягким голенищем застыли в разгар самых жестоких занятий — но не-

изменно (благодаря предельно нейтральной манере Калло) сохраняя вид танцоров, принявших балетную позу. На первом листе изображен разгром трактира. На другом солдаты занимаются разбоем. Третий изображает зал большого дома; полдюжины негодяев взламывают шкафы и сундуки; на заднем плане еще один повалил на пол хозяйку, а его товарищ, даже не сняв шляпу, готовится ее изнасиловать; правая группа стоит у костра из сломанной мебели, над которым вниз головой подвешен хозяин дома; рядом на полу туго связанный сидит его то ли сын, то ли верный слуга — ноги ему лижет пламя, к спине приставлены мечи мучителей. Сцена ужасная; но стиль Калло дистиллирует ужас в хореографический символ ужаса. На следующей гравюре мы видим горящую церковь и солдат, грузящих на телегу церковную утварь, а из соседнего монастыря, говоря словами рифмованной подписи, какими сопровождаются эстампы, — другие солдаты

Tirent des saints lieux les vierges desolées,
Qu'ils osent enlever pour estre violees*

Монахинь двадцать ведут под конвоем, чтобы изнасиловать не торопясь вечером на бивуаке. Одну послушницу, несомненно самую молодую и хорошенькую, двое рядовых подсаживают в седло офицеру, высящемуся на боевом скакуне. Через год или два эти монахини — если кто из них выживет — вольются в орду обозников мужского и женского пола, таскавших за армиями по всей Германии. Отощавшие, едва прикрытые вонючими лохмотьями, завшивевшие, изъеденные сифилисом, согнувшись под поклажей и волоча за собой голых, со вздутыми животами, детей, все лето они будут плестись за своими хозяевами, всю нескончаемую зиму — коченеть от дождей и морозов, пока наконец, задолго до конца войны, покинувший их было Бог снова над ними не сжалится — и тог-

* Похищают из святого места несчастных дев,
Которых они уносят, чтобы изнасиловать (*франц.*).

да они умрут и достанутся на съедение псам, а быть может, и своим голодным спутникам. Такая же судьба, доведись им жить по другую сторону Рейна, могла бы выпасть и кальварианкам отца Жозефа.

От изнасилованных монахинь Калло переходит к убитым или уводимым в рабство крестьянам, к путникам, наткнувшимся на лесную засаду, ограбленным ради выгоды и зарезанным ради развлечения. Затем, по приказу генерала, наступает заслуженное наказание (Калло, видимо, забывает, что генералы нередко бывали пособниками солдат, что к грабёжам, поджогам, убийствам не всегда приводила анархия — к ним прибегали и умышленно, из стратегических или политических соображений.) Наказаниям проштрафившихся солдат Калло посвящает пять своих лучших гравюр. На первой их только пытаются на глазах у большой толпы. Но это лишь начало. Перейдя ко второй, в центре листа мы видим величественный дуб, на ветвях которого висит, уже обмякнув, двадцать один труп. На приставной лесенке стоит двадцать вторая жертва, которую вот-вот вздернет палач; стоящий тремя-четырьмя ступеньками ниже монах подносит к лицу приговоренного распятие. У подножия лесенки второй монах напутствует двадцать третьего; двадцать четвертый играет в кости на перевернутом барабане с несколькими алебардистами, а на переднем плане еще один монах беседует с двадцать пятым. Вдалеке виднеются палатки бивуака, а на среднем плане на фоне неба щетинятся пики двух пехотных полков.

На следующей гравюре два мушкетера, с пучками лент на коленях мешковатых коротких штанов, целятся в привязанного к столбу преступника. За столбом валяются три или четыре трупа, а с еще одним арестантом, который скоро свалится рядом с ними, говорит монах — по остроконечному капюшону мы узнаем капуцина. За сценой наблюдают несколько офицеров и тощая охотничья собака.

На следующем листе монахов еще больше: они готовят целую группу приговоренных к той же казни, какую уже терпит их товарищ — его сжигают заживо. Их вина — святотатство; это они подожгли те церкви, которые еще пылают на заднем плане. Рифмованную подпись Калло завершает двестишестидесятью, достойным попасть в одну из «Поучительных историй» Джейн и Энн Тейлор:

Mais pour punition de les avoir brulez,
Ils sont eux-mesmes enfin aux flammes immolez*.

После чего мы переходим к самой изощренной и самой невозмутимо-страшной из всех пяти гравюр — к колесованию на высоком помосте *voleur inhumain*** . Палач занес лом, чтобы перебить ему голень; с другой стороны колеса к обнаженной жертве наклоняется священник в биретте, прикладывая маленькое распятие к запрокинутому лицу и неслышно молясь под непрерывные вскрики казнимого. На углу помоста аккуратной кучкой, будто оставленная купальщиком, который вот-вот вернется, лежит одежда и широкополая шляпа жертвы.

От казней Калло переходит к действиям небесного правосудия. На первом из трех посвященных этой теме листов мы видим, как несколько искалеченных ветеранов ковыляют по дороге на своих обрубках. На втором изображена приятная загородная прогулка во время перемирия. Местная армия распущена, закон и порядок временно восстановлены. Безработные и не имеющие на что жить солдаты вынуждены просить милостыню. Но их *mendicite faict rire le passant****, и кое-кто из них уже умирает на обочине. Более драматичный исход представлен на следующей гравюре. Разъяренные крестьяне мстят своим разорителям: кучка солдат попала в устроенную

* Но в наказание за поджог церковей

Они и сами казнимы огнем (*франц.*)

** Чудовищного вора (*франц.*)

*** Нищенство лишь смешит прохожего (*франц.*)

крестьянами засаду и гибнет в жестокой резне. В центре гравюры — полуобнаженное тело пехотинца: с него уже сняли рубашку и камзол. Над ним стоят два крестьянина: один стягивает с него сапоги, другой большим цепом безостановочно молотит труп — в припадке скопившейся против всех солдат ненависти, в безумной и бессмысленной попытке отомстить — пусть лишь символически и уже мертвой плоти — за все ужасы, пережитые в течение долгих лет войны.

Этим вечером молотильщик вернулся к семье, в разоренную лачугу, конечно же, торжествуя. Спина сгибалась под грузом трофеев — двадцать фунтов муки, две-три рубашки, пусть разорванных и окровавленных, но вполне еще годных, целый окорок, пара сапог, два пистолета и фляжка спиртного. После заката устроили пир; все село радовалось и надеялось. Казалось, мир наступит чуть ли не со дня на день; солдаты исчезнут, кошмар прекратится. Но молотильщик и его односельчане были жалкой несмысленной деревенщиной; им было невдомек, что в сотнях миль к западу, в Париже, два человека, один — одетый в пурпур, другой — в серую ветошь, работают, работают день напролет и до глубокой ночи ради того, чтобы мир не настал, солдаты не разошлись, кошмар не кончился. К 1633 году, когда Калло нарисовал сухой и бесстрастный портрет «Человека с цепом», Тридцатилетняя война прошла ровно половину своего пути. Оставалось еще пятнадцать лет *miseres et malheurs**.

Здесь нужно вернуться к тем политическим и военным событиям, которые послужили непосредственной причиной несчастий и бедствий в начале 1630-х годов. В первые недели 1631 года Густав Адольф наконец клюнул на золото, выжатое Ришелье из доведенных до отчаянья французских крестьян, и согласился на условия кардинала. По Барвальдскому трактату короля Швеции нанима-

* Несчастий и бедствий (*франц.*)

ли не столько «эспадой» всеевропейского боя быков, сколько «бандерильеро» и «пикадором». У Ришелье и отца Жозефа не было ни малейшего желания увидеть гибель габсбургского чудовища, тем более — от рук протестантского матадора. Густаву предстояло обескровить и изнурить — не только быка, но и себя самого и всех протестантов. После чего Франция вышла бы на арену и заняла всю ее целиком. В прошлом веке политику столкновения своих противников лбами применял Ватикан, натравливавший Карла V на врагов католического единства, то есть на протестантов, а протестантов — на врага папской власти, то есть на Карла V. Политика это была остроумная, но вряд ли самая привлекательная для французских налогоплательщиков или немецких жертв солдатской жестокости.

Заряженный французскими деньгами, Густав рвался в бой; но протестанты и в первую очередь Иоганн-Георг, могущественный саксонский курфюрст, пока что не торопились к нему примкнуть. С началом военной кампании 1631 года Тилли выдвинулся в северо-восточную Германию и в конце марта уничтожил шведский гарнизон в Новом Бранденбурге. Две недели спустя Густав взял Франкфурт-на-Одере и, по принципу око за око, убил ровно столько католических пленных, сколько Тилли вырезал шведов. Тем временем помощник Тилли, Паппенгейм, осадил Магдебург. 10 мая город был взят штурмом, подожжен, в резне погибла большая часть более чем тридцатитысячного населения. Католическая Германия звонила в колокола, пела *Te Deum* и напивалась за здоровье своих победоносных героев. Протестанты кипели ненавистью, выражать которую мешал страх перед императором и неверие в военные таланты Густава. В победном упоении Фердинанд совершил ошибку: он категорически отверг просьбу Саксонии об отмене Реституционного эдикта и вторгся во владения курфюрста. Тут Иоганн-Георг наконец-то решил объединиться со шведами. Тилли провел



*Après plusieurs degast par les soldats commis
A la fin les Paysans, qu'ils ont pour ennemis*

*Les guettent à lésart et par une surpriso
Les ayant mes à mort les mettent en choinse.*

*Et se vengent ains contre ces Malheureux
Des pertes de leurs biens, qui ne viennent que d'eux. 17*

Месть крестьян

Гравюра из сборника "Великие бедствия войны" Жака Калло

два безрезультатных сражения с Густавом и, оторвавшись от него, пошел на Лейпциг. Густав начал преследование и 17 сентября вынудил его принять сражение под Брейтенфельдом, в котором разбил его наголову. От Лейпцига шведы двинулись в юго-западном направлении — в Рейнскую область — и там, в той части Германии, которую несколько лет обходили стороной ужасы войны и оккупации, устроили себе роскошную зимовку, а их вождь тем временем сбивал победоносных ныне протестантов в Евангелическую лигу под шведским контролем.

Между тем Валленштейн из своих дворцов в Праге и Гитчине отправлял к победителю одного секретного гонца за другим, предлагая Густаву союз в целях создания новой и большей Германской империи: объединенная железом под диктатурой двух величайших полководцев современности, она будет свободна от французского, испанского и габсбургского влияния. Об этой грандиозной, безумной мечте годом раньше он говорил с отцом Жозефом — и вот настал благоприятный, предвещенный звездами час, когда ее, быть может, удастся осуществить. Но Густаву не захотелось вступать в союз с человеком, без зазрения совести предававшим своих старых друзей и снисходительного повелителя, и он вежливо отклонил предложение из Богемии. Вопреки своим планам, Валленштейну пришлось сохранить сомнительное подобие верности императору.

В марте 1632 года Густав выступил против Баварии. На реке Лех имперские армии были еще раз разбиты; Тилли получил ранения, от которых вскоре и умер. Шведы заняли Аугсбург и Мюнхен, и крестьяне, которых за несколько лет до того тирания их собственного правительства довела до безрезультатного восстания, теперь оказались во власти вражеской армии.

В отчаянии император был вынужден — как и предсказывали отец Жозеф и планеты — снова обратиться к Валленштейну. Тот вышел из затвора и за несколько не-

дель, благодаря одной магии своего имени, набрал большую армию разноплеменных наемников — шотландцев, венгров, немцев, ирландцев, хорватов, поляков, испанцев, итальянцев — сплошь профессиональных солдат без работы и сплошь

Равнодушных к знамени, будь то
Лев, Лилия или Орел двуглавый,

равнодушных ко всему, кроме надежды на жалованье, грабежи, женщин и службу под началом умелого и до сих пор удивительно удачливого полководца. Четырнадцать лет войны, а перед тем — долгий период перевооружений, породили по всей Европе целый класс военных авантюристов — безземельных, бездомных, бессемейных, избавленных от любых природных уз, от религии и совести, не знающих иного ремесла, кроме войны, и непригодных ни к чему, кроме разрушения. Этим людям Тридцатилетняя война казалась обидно короткой. Они поставили на нее все, и любой намек на мир приводил их в такое же смятение и бешенство, как епископов — отделение церкви от государства, а фабрикантов — закон об ограничении детского труда. В 1648 году, когда наконец был подписан Вестфальский мир, многие армии взбунтовались, и лишь с огромным трудом полководцы уговорили их смириться с *fait accompli**. Демобилизацию пришлось растянуть на несколько лет; но она все равно шла со скрипом — многие наемники так и не сумели заново встроиться в общественный механизм и по-прежнему, но уже в качестве бандитов, сутенеров, профессиональных убийц, вели паразитическое существование, к какому привыкли за долгие годы войны.

С этой разношерстной армией Валленштейн выбил саксонцев из Богемии, а затем выступил против Густава. Несколько недель под Нюрнбергом они стояли

* Совершившимся фактом (*франц.*)

друг против друга. Затем, оголодав в подчистую разоренной местности, шведы снялись с позиций и начали перемещаться в поисках провианта. Тогда Валленштейн вошел в Саксонию и сумел ее опустошить с изумительной методичностью. Густав совершил возвратный марш и в ноябре вынудил Валленштейна принять сражение у Лютцена. Имперские войска были разбиты; но сам Густав погиб в бою.

У Ришелье и отца Жозефа известие о смерти Густава сняло камень с души. Верный сын воинствующей Церкви, отец Жозеф был против договора со шведами, но не видел иного средства обеспечить победу истинным католическим принципам. О союзах с протестантами вообще он говорил, что «ими надо пользоваться как снадобьем, которое в малых дозах служит противоядием, а в больших — сразу убивает». Беда с Густавом была в том, что этот гениальный полководец кормил своих французских союзников конскими дозами протестантизма, непосильными для католического желудка. Или, если вернуться к прежней метафоре, пикадор превратился в матadora и, не случись так кстати его смерть при Лютцене, нанес бы австрийской державе смертельный удар. Но как мы помним, Ришелье не хотел гибели Габсбургов. Он хотел только, говоря словами одного французского историка, «разбить кольцо католических государств, объединившихся вокруг австрийской династии, и перетянуть их под опеку и покровительство Франции». Он сочувствовал не Евангелической лиге, а «немецкой католической партии и ее вождю, Максимилиану Баварскому». Использовать протестантскую Англию, протестантскую Голландию, протестантскую Данию и, наконец, протестантскую Швецию ему приходилось потому, что немецких католических князей могли убедить аргументы лишь одного типа — те, какими оперировали англиканские, лютеранские и кальвинистские армии. Чересчур успешно возглавляя эти армии и потому став за несколько меся-

цев хозяином почти всей Германии, Густав совершил прискорбную ошибку. И только его смерть восстановила необходимый баланс между католиками и протестантами, равновесие взаимоотношений сил. Тем, кто разбирался во внешней политике Франции, событие это показалось весьма своевременным — настолько своевременным, что многие отказывались считать его случайностью. Поговаривали, что Густава убили не солдаты Валленштейна, а убийцы из его собственной армии. А кто убийц нанял? Кто дал им инструкции и пристроил к Густаву? Конечно же, глава секретной службы Ришелье — отец Жозеф, вездесущий злодей.

У монаха была такая репутация, что теперь с его именем связывали любое странное или сомнительное происшествие. Он не только спланировал убийство Густава-Адольфа; он еще и играл первую скрипку в том *cause celebre**, которое много месяцев подряд служило главной темой разговоров при дворе, среди жителей Парижа и всех провинциальных городов, во всех мужских и женских монастырях, во всех приходах — дело отца Урбена Грандье из Лудена и якобы околдованных им монахинь. Одержимость бесами, которую искусно симулировал целый монастырь истеричных урсулинок по шпаргалкам духовников; сговор монахов с адвокатами в целях лжесвидетельства против ненавистного конкурента в религиозной и сексуальной сфере; блудливый священник, угодивший в сети собственных похоти и тщеславия и казненный по ложному обвинению и со всеми тонкостями садизма, — эта история занимает почетное место в анналах человеческого скотства вообще и религиозного скотства в частности. Молва обвиняла обоих Преосвященств — и пурпурное, и серое. Считалось, что Ришелье подстроил сожжение Грандье, мстя за ходившую под именем последнего сатиру. Про отца Жозефа

* Громком деле (франц.)

говорили, что он подстрекал протагонистов чудовищной драмы из чистого тщеславия. Во время экстазов урсулинкам Лудена являлся святой Иосиф, и капуцин будто бы принял явления своего святого тезки за изысканный комплимент. Оба обвинения были беспочвенны. В Луденском деле ни Ришелье, ни отец Жозеф не согрешили ничем, кроме слабости. Рассчитывая приобрести популярность участием в разжигавшем такой интерес и (на ранних стадиях) фанатический энтузиазм деле, Ришелье заплатил экзорцистам, которых в 1633 году пригласили поработать над монахинями. Это был неудачный шаг — тем самым весь процесс как бы получал официальную санкцию. Что до вмешательства отца Жозефа, оно заключалось в посещении Лудена, быстром опросе свидетелей и поспешном возвращении в Париж. Луден был осиным гнездом; делу дали пойти его естественным ужасным чередом. 18 августа 1634 Грандье исправно взлез на костер.

А в Германии между тем положение быстро ухудшалось. Весной 1633 года возник новый франко-протестантский союз — Гейльбронская лига: ее армиями командовали Бернгард Саксен-Веймарский, Горн и Баннер. Авантюрист королевской крови в поисках свободного престола, Бернгард решил добыть себе герцогство. Воспроизводя — с обратным знаком — политику императора по возвращению протестантов в лоно Церкви, он захватил большие куски епископальных территорий в Рейнской области, провозгласил себя их правителем и начал навязывать католическому населению протестантизм. На сторонников Империи это оказало такое же действие, как четыремя годами ранее на протестантов — Реституционный эдикт: у них возродилось желание воевать. Краткосрочный опыт Бернгарда по принудительному обращению бросил императора в объятия ультракатолической партии.

А Валленштейн тем временем пытался осуществить свою давнюю мечту — объединить Германию под цент-

ральной властью, которая будет подконтрольна ему самому. Заключив сепаратный мир с саксонским курфюрстом, в котором он видел потенциального союзника, Валленштейн двинулся на север, разбил шведов у Штейнау, захватил ряд городов, где Густав оставил гарнизоны, и, дойдя почти до Балтийского моря, дотла разорил и ту часть страны, которую больше двух лет почти не затрагивали солдатские бесчинства. Пока Валленштейн действовал на севере, шведы и немецкие протестанты терзали южную Германию.

После того, как Бернгард захватил Регенсбург, Валленштейн был вынужден оставить Мекленбург и Померанию, так и не добившись ничего, кроме их полного разорения. Зима парализовала действия обеих армий. Солдат отправили на зимние квартиры — отбирать у мирных жителей их скудные припасы. Валленштейн не прекращал попыток установить мир и объединить Германию под собственным началом. Одновременно — с помощью агентов отца Жозефа и некоторых чешских аристократов — он интригами добивался богемской короны. Император встревожился и вторично дал ему отставку. Валленштейн обратился к своим офицерам и стал открыто искать шведской помощи. Шведы осторожничали; большинство офицеров остались верны императору. Объявленный вне закона, Валленштейн бежал и 25 февраля 1634 года был убит в Эгере двумя шотландскими пресвитерианцами и ирландским папистом — офицерами его разноязычной армии.

Место Валленштейна занял Галлас, при номинальном командовании короля Венгерского, сына и наследника Фердинанда. Имперские войска отбили Регенсбург и осадили Аугсбург, в 1632 году захваченный Густавом. На следующий год город сдался, от голода и болезней потеряв четыре пятых населения. Летом 1634 года кардинал-инфант во главе пятнадцати тысяч отборных, закаленных в боях испанских солдат выступил из Италии,

перешел Альпы и соединился со своим кузенном, королем Венгерским. Рубенс оставил нам прекрасное полотно, изображающее, как темноволосый король и блондин инфант почтительно приветствуют друг друга посреди своих войск и множества аллегорических орлов, лавровых венков, речных богов и Муз — а может быть, это главные добродетели? Как узнать? Все его жемчужно-телесные создания удивительно похожи одно на другое, и нигде нет даже родинки, чтобы отличить Пасифаю, скажем, от Умеренности, а Беллону — от Елены Фурман. Эта картина подтверждает одно обстоятельство, слишком часто упускаемое из виду историками «философского» направления, — что искусство может и не иметь к жизни никакого отношения и что изучение шедевров живописи, поэзии, музыки проливает лишь очень слабый свет на реальный характер той эпохи, в которую они созданы. Кто бы сумел из собрания итальянской живописи XV века вывести общество, описанное Маккиавели? Обычно произведение даже самого «верного натуре» художника изображает в лучшем случае то, чем его современники хотели быть, а не то, чем они действительно были. Такие художники, как, скажем, Рубенс или Корнель, исторически значимы не потому, что сообщают что-то о конкретных фактах и реальных людях своего времени, а потому, что их картины и драмы ярко иллюстрируют боваристские* мечтания, владевшие душой XVII века, — мечту о сверхчеловеческой пышности и мечту о сверхчеловеческом благородстве, стремление к большей, чем персидская, роскоши в невозможном сочетании с большим, чем спартанский, героизмом.

На короткое время королю и кардиналу-инфанту почти удалось воплотить в реальность то великолепие, которым их наделили кисть и воображение Петера-Пау-

* «Боваризм» — термин писателя Жюль де Готье, образованный от имени героини романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» — желание жить придуманной жизнью, быть не тем, что ты есть.

ля. 6 сентября в Нордлингене они сошлись с главными шведскими силами под предводительством Бернгарда Саксен-Веймарского и разгромили их. Эгер покончил с мечтой Валленштейна о Германии, объединенной под военной диктатурой; Нордлинген покончил с мечтой Густава о великой протестантской Германской империи под верховенством Стокгольма. Парадоксальным образом, Нордлинген покончил и с мечтой Фердинанда о католической, контрреформаторской империи под властью Габсбургов. Слишком уж решительная победа Галласа привела к активному вмешательству французов; а оно, в свою очередь, привело к краху Испании и окончательному уходу Австрии из Западной и Северной Германии.

Для Франции несколько месяцев после Нордлингена прошли в подготовке солдат и вооружения к грандиозной кампании на нескольких фронтах — в Италии, Валтеллине, на Рейне, во Фландрии. Было набрано двести тысяч войска, в очередной раз повышены налоги, усилено выжимание соков из беднейших слоев. В своих гольях, холодных покоях в Рюэле или в Кардинальском дворце отец Жозеф еще напряженней, чем обычно, трудился над проведением политики, которую становилось все труднее и труднее «уничтожать» в сознательно творимой воле Божьей. Особенно тяжким испытанием его не только мистических, но и казуистических способностей стал следующий план. Этот убежденный крестоносец теперь пытался, при посредничестве правителя Трансильвании, подписать с турками соглашение, по которому Турция, получив от Франции деньги, напала бы с суши на австрийских Габсбургов, а с помощью галерного флота — на Габсбургов испанских. И в собственных глазах и в глазах других щепетильных католиков отец Жозеф оправдывал этот замысел примерно теми же аргументами, какие приводил и в защиту союзов с протестантами. Небольшая доза Турции, утверждал он, послужит противоядием не только против габсбургского могущест-

ва, но и (довольно неожиданный ход) против могущества самой Турции. Каким же образом отец Жозеф рассчитывал совершить это чудо политической гомеопатии? Самый ясный ответ дан в словах Людовика XIII его духовнику, отцу Госсену. «Я бы хотел, чтобы турки оказались в Мадриде, — сказал король, резюмируя хитроумные проекты своего министра, — испанцам пришлось бы заключить со мной мир; и тогда вместе с испанцами мы бы ударили на турок». Это *reductio ad absurdum** государственного маккиавеллизма; Тенеброзо-Кавернозо поистине превзошел себя. К счастью не только для Габсбургов, но возможно, и для французов, турки уклонились от предложенного альянса.

Переговоры с правителем Трансильвании и, при его посредничестве, с Портой продолжались до самой смерти отца Жозефа и время от времени возобновлялись еще несколько лет после нее. Они так и не привели к конкретным результатам, когда Вестфальский мир сделал союз с турками ненужным, и весь план тихо сдали в архив.

В то время как Ришелье и отец Жозеф готовились объявить Австрии войну, император впервые всерьез попытался заключить мир. Покинув крайние контрреформаторские позиции, он пришел с Иоганном-Георгом Саксонским к компромиссу относительно Реституционного эдикта. Теперь и сам курфюрст и любой другой протестантский князь могли заключить с императором мир на основе возврата к *status quo* 1627 года. Мирный договор, в конце концов подписанный в Праге в середине мая 1635 года, закладывал прочную и, в общем, справедливую основу для всеобщего мира. К несчастью, за неделю до его подписания на Большой площади в Брюсселе появился французский герольд и с изысканными средневековыми церемониями возвестил, что Его Христианнейшее вели-

* Доведение до абсурда (*лат.*)

чество отныне находится в состоянии войны с Австрийским домом.

За день или два до объявления войны отец Жозеф писал Аво, что «Король желает как можно скорее заключить всеобщий мир с гарантиями на будущее — этот мир станет Золотым веком и, так сказать, новой эпохой Августа. Добиваться своей цели он намерен следующим образом: поддерживать действиями нескольких армий любые серьезные переговоры и мирные предложения». Иными словами, Людовик XIII будет вести войну затем, чтобы избавить мир от Габсбургов и подчинить Бурбонам, а сам при этом играть заглавную роль — не столько в драме (поскольку драмы динамичны, а отец Жозеф лелеял иллюзию, свойственную почти любому политику, об окончательном и прочном урегулировании), сколько в пышной и неподвижной *tableau vivant** Августовского века.

И Ришелье, и отец Жозеф рассчитывали на быструю и решительную кампанию. Тщательно продуманный французский стратегический план одновременного наступления на нескольких фронтах (план, кстати сказать, беспрецедентный по своему размаху) предполагал сокрушить австро-испанское могущество одним ударом. Решающего успеха предстояло добиться за одну летнюю кампанию. К плачевному провалу плана привела комбинация нескольких причин — отсутствие боевой выучки у французских армий и высокая боеспособность испанской пехоты, которая по-прежнему (хотя ее полководцы вели войну в довольно старомодной манере) не имела равных в Европе; проблемы со снабжением широко разбросанных сил, вызванные негодностью имевшихся у Ришелье служб; наконец, хроническая нехватка денег. Кроме как в Валтеллине, запланированных успехов достичь нигде не удалось. Единственным ощутимым результатом кампании 1635 года стало доведение Эльзаса

* Живой картине (*франц.*)

до состояния, едва ли не худшего, чем у Померании в 1630 году. Итогом регенбургской политики отца Жозефа оказался голод, истребивший десятки тысяч людей, а тех, кто выжил, превративший в людоедов. Казненных преступников снимали с виселиц и пускали на мясо; скорбящим родственникам приходилось охранять свежие могилы от гнусных покушений охотников за трупами. После Нордлингена многие тысячи обозников из разбитых протестантских армий рыскали повсюду, словно огромные стада бабуинов, в поисках хоть чего-то съедобного. Они грабили и опустошали неохраемые деревни; города покрупнее запирали от них ворота и высылали им навстречу солдат. Страсбург ворота не закрыл — тридцать тысяч уже не похожих на людей существ вошли в город и, истощив филантропические ресурсы горожан, принялись сотнями умирать на улицах. Тех, кто не успел умереть, солдаты, по решению отцов города, пиками, будто скотину, выгнали за городские стены. К этим обозникам надо прибавить и бесчисленные жертвы солдатских бесчинств — ограбленных до нитки крестьян, разоренных ремесленников, обнищавших лавочников и людей свободных профессий. Сколько-то времени они могли протянуть на падали и траве. Потом умирали; или же, наткнувшись на солдат все равно какой армии, бывали убиты — не ради имущества, которого у них не было; просто ради забавы. «Тот, у кого есть деньги, — писал современник, — солдатам враг. Того, у кого их нет, истязали именно потому, что их нет», — и еще потому, что от привычки к зверствам развивается и вкус к ним. В делах жестокости — как и в делах похоти, алчности, обжорства, властолюбия — *l'appetit vient en mangeant**. Поэтому так важно во что бы то ни стало поддерживать иррациональную традицию цивилизованного поведения, общественный договор о минимальных приличиях. Унич-

* Аппетит приходит во время еды (франц.)

тожьте их — и огромные массы людей, увидев, что у них в душе нет устоев, запрещающих им вести себя как звери, как звери себя поведут и не остановятся до тех пор, пока или физически друг друга не истребят, или не изнемогут от напряжения и риска звериной жизни, или же, по какой-то спасительной причине, не увидят глубоко у себя в душе родники сострадания, потенциальной доброты, таящиеся даже в худшем из людей, а у лучших бьющие сверхчеловеческим фонтаном святости. В 1635 году военный откат от цивилизованных норм дошел до предела, и в несколько последующих лет поведение армий стало еще более зверским, чем было в ту пору, когда Калло копил впечатления для «*Miseres et Malheurs de la Guegге*». Запасы имущества и продовольствия, в результате прежних набегов, сократились — соответственно, методы их добывания стали более варварскими; а чем дольше это варварство продолжалось, тем больше с обеих сторон появлялось людей, приобретших к нему вкус. Солдаты развлекались, постреливая в мирных прохожих; науськивая мастифов не на медведей или быков, а на людей; выясняя экспериментальным путем, сколько колотых ран и какой глубины может вынести человек; прикручивая людей к козлам и распиливая их пополам точно бревна. Вот такими оказались первые результаты вступления Ришелье в войну. На второй год кампании хорошо продуманные планы кардинала и капуцина привели к вторжению противника во Францию и почти что к взятию Парижа. Неудача экспедиции голландских союзников Ришелье в Бельгию и прибытие подкреплений из Германии позволили кардиналу-инфанту прорвать заслон на северо-западной границе Франции. Испанцы взяли Корби и Ла-Капелль, форсировали Сомму и дошли до самого Компьена. Слабоукрепленный и практически необороняемый (все французские войска дислоцировались или на границах или на чужой территории) Париж, казалось, уже был у испанцев в руках. Подня-

лась паника; а вместе со страхом пришла и ярость против его виновников. Вся ненависть к Ришелье, скопившаяся в народе за одиннадцать лет его правления, которое легло тяжелым бременем почти на каждого француза, вырвалась наружу. Ему припомнили и грабительские налоги, и его собственные баснословное богатство и бесстыжую роскошь. Ему припомнили и бессмысленную войну в Италии, упущенные мирные шансы, отказ утвердить Регенсбургский мир — а этот отказ общественное мнение объясняло не его реальной причиной, то есть не патриотической верой кардинала в войну как лучший путь к величию французской монархии, а его честолюбием, его желанием сделаться незаменимым, ввергнув страну в пучину войны, с которой только он мог управиться. Вот, он добился своей войны — и что теперь? Испанцы стоят в Компьене, а через несколько дней будут в Париже. Народ вспомнил, что случилось пять лет назад в Магдебурге, а вспомнив, возненавидел кардинала еще более пылкой ненавистью.

Ришелье был болен и изнемогал от переутомления и неослабной тревоги. Непредвиденная катастрофа, страшное бремя ответственности, а теперь еще и открытая враждебность народа лишили его сил. Он пал духом. Он заговорил об отставке, об уходе на покой, о том, чтобы поручить кому-то другому мирные переговоры с испанцами. И снова, как в Ла-Рошели, вмешался отец Жозеф. Красноречиво, с пророческими интонациями Иезекии, он убеждал кардинала, что, уходя сейчас в отставку, он уклоняется от долга, явно возложенного на него Промыслом, отвергает свой крест, пренебрегает волей Божьей, сдается силам зла. Кардинал слушал и чувствовал, как слова отца Жозефа вливают в него силу и тепло. Божество, о котором он в молодости сочинял катехизисы и богословские трактаты, которое защищал от еретиков, о котором ежедневно читал в молитвеннике, о котором слышал и которое, как он верил, субстанционально вкушал во время

мессы, — от слов Иезекиили словно обретало новую реальность и спасительную силу. «С Божьей помощью» — до чего часто (и до чего машинально!) он произносил и писал эти слова! А теперь, стоя перед ним в грязной ветхой рясе, с вдохновенно горящими глазами, с дрожащим от набожного рвения грудным голосом, Иезекиили сумел его убедить, что у этих слов есть реальный смысл. Для Ришелье монах стал живым проводом, по которому прямо в душу кардиналу текла энергия из областей, неподвластных превратностям времени и случая.

От общего отец Жозеф перешел в своих увещаниях к частностям. Недостаточно, утверждал он, побороть соблазн отставки; недостаточно вернуться к работе в надежно охраняемых дворцовых покоях. Кардинал должен выйти и показаться народу; словами и личным примером он должен возродить в людях мужество, вернуть им веру в счастливую звезду Франции. Пусть он призовет их на защиту отечества — они с восторгом за ним пойдут. При мысли о парижской толпе — толпе, которая вырыла Кончини из могилы и плясала, непотребно ликуя, вокруг искромсанного трупа, толпе, которая теперь ненавидела его уж точно не меньше, чем двадцать лет назад — итальянца-фаворита, ненавистью, — ощущение спасительной силы Божьей начало покидать кардинала. Он запротестовал, начал спорить, предлагать другие, не столь неприятные варианты. Поняв по этим симптомам, что нравственный недуг кардинала дает рецидив, отец Жозеф внезапно оставил пророческий тон и заговорил с почти грубой непринужденностью старого товарища, соратника, своего брата дворянина. Не выбирая выражений, он сказал кардиналу, что тот ведет себя *comme une pouillee**. Это было оскорбление — «мокрая курица» в разговорном языке символизировала трусость, — но оскорбление из уст друга, желавшего не просто обидеть, но,

* Как мокрая курица (*франц.*)

обидев, расшевелить и привести в чувство. Слова возымели желаемый эффект. Ришелье пришел в себя. Он приказал заложить карету и без охраны выехал на парижские улицы. Остановившись, где толпа была гуще, он высовывался из окна экипажа и обращался к народу с призывом мужаться, сохранять спокойствие, записываться на защиту города. Парижане отвечали приветственными воплями. В восторге от храбрости человека, из мокрой курицы превратившегося в льва, народ забыл свою ненависть. На короткое время кардинал стал чуть ли не народным любимцем.

Париж спасли энтузиазм ополченцев и некомпетентность вражеских генералов. Вместо того, чтобы сразу наступать на Париж, испанцы промешкали у Компьена, дав французам время и на организацию народного ополчения, и на прибытие профессиональных войск с удаленных фронтов. Увидев, что возможность упущена, они без боя отступили на север, оставив лишь гарнизон в Корби, который в ноябре сдался — в соответствии с подробными пророчествами вдохновленных отцом Жозефом кальварианок.

После этого война свелась к монотонным качелям тактических успехов и неудач. В Северной Германии шведы сражались с имперскими и саксонскими силами. Голландцы сражались с испанцами в Нидерландах и на море. Французские войска сражались с испанскими, императорскими и баварскими в Рейнской области. Бернгард Саксен-Веймарский выступал со своей базы в Эльзасе и снова отступал — он оптимистически рассчитывал стать владетельным герцогом этой провинции, но у кардинала на сей счет были иные планы. В Италии французские силы взаимодействовали с савоярами в малоэффективных операциях против испанского Милана. А другие французские армии вторгались в Испанию то из Байонны, то из Перпиньяна, встречали отпор и отступали. Первого значительного успеха французы добились

лишь за день или два до смерти отца Жозефа, когда Бернгард Саксен-Веймарский взял Брейзах — крепость, господствовавшую над испанскими коммуникациями между Италией и Нидерландами (несколько месяцев спустя Бернгарда свела в могилу очень своевременная лихорадка, что уладило неудобный вопрос о его герцогстве и позволило влить его практически самостоятельную армию во французские войска). Но Брейзах был только началом, и лишь в 1643 году, когда умер уже и сам кардинал, в войне, столь молниеносной и сокрушительной по своему замыслу, наметился перелом в пользу Франции. При Рокруа герцог Энгиенский наголову разбил отборную армию Нидерландов, служившую стержнем испанской военной машины. С этого момента колоссальная арка Габсбургской империи, воздвигнутая Карлом V и Фердинандом II, начала рушиться. В 1648 году Вестфальский мир положил конец австрийским притязаниям, а в 1660 Пиренейский мир ознаменовал окончательный упадок Испании и превращение Франции в европейского гегемона.

Но пока что все это оставалось делом далекого будущего. В последние годы жизни отец Жозеф и кардинал руководили войной, которая хотя и не обернулась катастрофой, но отнюдь не была победоносной.

После возвращения из Регенсбурга политическое влияние отца Жозефа постоянно росло. Оставаясь правой рукой кардинала, он сделался еще и любимцем короля. Людовик восхищался его талантами, уважал его бескорыстие и честность и питал к нему благодарность за многолетние — иногда успешные — старания водворить гармонию и дисциплину в невыносимом королевском семействе. И это еще не все. Набожный до суеверия, Людовик XIII испытывал что-то вроде благоговейного трепета перед своим иностранным министром, который был еще и мистиком, пророком, основателем одного из строжайших орденов во всей католической Церкви. Он восхищался



8. Israël et Cum Prun. Reg.

*L'œil toujours surveillant de la divine Astree
Bannit entièrement le duel d'une contrée.*

*Lors que tenant l'épée, et la Balance en main
Elle juge et punit le voleur inhumain ;*

*Qui guette les passans, les meurtriers et son ioué,
Puis luy mesme devient le jouet d'une raie*

Колесование

Гравюра из сборника "Великие бедствия войны" Жака Калло

его безмятежным спокойствием, безупречным самообладанием — результатом непрерывных медитаций. Но еще сильнее поражали короля внезапные вспышки ветхозаветного пророка, озарения экстатического визионера, даруемые то самому монаху, то какой-нибудь из подопечных кальварианок.

Подобно большинству необразованных людей, король питал острейший интерес именно к этой — духовно сомнительной, но эффективной — стороне мистической жизни. На него сильно действовали любые проявления того, что индусы называют *siddhi*, то есть психической энергии, которую иногда пробуждают медитации и на которую умудренные мистики стараются обращать как можно меньше внимания. Отец Жозеф застрял ниже той ступени, докуда добрались иные из его младших современников — например, Олье, чье мнение о видениях и пророческих откровениях мы уже цитировали. Даже в ранние и счастливые дни своей жизни мистика отец Жозеф оставался строго ортодоксальным христианином; а в ортодоксальном христианстве всегда имелась тенденция к завышенной оценке сверхъестественных явлений, к отождествлению необычайного и божественного, к смешению психического и духовного. Это преклонение перед аномальным наблюдается обычно на двух уровнях, примитивном и высоколобом — среди доверчивых простаков вроде Людовика XIII или рядового крестьянина, и среди ученых, пораженных фактами, которые не поддаются объяснению в рамках общепринятых в данный момент теорий, — таких ученых, как Паскаль, который выводил из чудес истинность христианской теологии; или Декарт, который в юности заигрывал с розенкрейцерством; или Оливер Лодж, который пытался положить в основу религии факты, говорящие о посмертном существовании некоего психического фактора; или Каррель, которого потрясли сверхъестественные исцеления и сила молитвы.

Привыкшие заниматься только пространственно-временными событиями, люди науки, обратившись к религии, особенно подвержены той примитивной форме религиозности, в которой важную роль играют «чудеса». Их привлекает не столько «царство небесное внутри», сколько внешние «знаменья», не столько познание вечности, сколько сила в пространстве-времени. Одним словом, они исповедуют не мистическую религию, а разновидность оккультизма. Во всех исторических религиях есть и оккультизм и мистицизм — очень много первого, совсем чуть-чуть второго. Люди огромной духовной одаренности, как известно из их биографий, нередко начинали свой религиозный путь оккультистами, погруженными в «знаменья», а заканчивали чистейшими мистиками, погруженными — в первую очередь или исключительно — в царство небесное, узрение Бога, познание вечной реальности. Но гораздо чаще, вступив на мистический путь, человек все равно не мог до конца избавиться от оккультизма, в котором был воспитан. Одним из таких людей был и отец Жозеф.

Он занимался пассивным и активным уничтожением, готовя свою душу к слиянию с не имеющим образа, вечным Божеством; но очень высоко ставил и *siddhi*, да и вообще все необычные феномены, имевшие место во время его медитаций. Тому, что он сам практиковал, он обучал и монахинь. Он подробно наставлял кальварианок в искусстве умной молитвы, но одновременно призывал их культивировать *siddhi* и внимательно следить за подсознательными процессами. Как мы уже видели, отец Жозеф использовал подведомственные монастыри не только в качестве молитвенных машин, материализующих божественные милости, но и в качестве машин пророческих, обостряющих политическое и военно-стратегическое предвидение. И это еще не все. В ответ на его письма, излагавшие неудовлетворительную ситуацию при дворе, монахини испрашивали свыше поучений, обращенных к

той высокой особе, которая в данный момент доставляла больше всего хлопот.

Отчеты о подобных откровениях записывались и отсылались отцу Жозефу, который и вручал их по назначению, с подходящими случаю комментариями Иезекили. Вот, например, послание Христа к Людовику XIII, принятое одной из кальварианок и зачитанное царственному адресату отцом Жозефом. «В настоящее время (это собственные слова Второго Лица Троицы) необходимо, чтобы король занимался только войной и позаботился внушить своим подданным, что наградит или накажет каждого соответственно его заслугам». И тому подобное, со множеством полезных рецептов о поведении монарха в военное время. В конце откровения указано, что Людовику нужно работать усерднее и не предаваться черной тоске и нытью. Подобные сообщения вместе с комментариями монаха Людовик выслушивал смиренно и с благоговейным сознанием близости к Источнику всякого блага, силы и премудрости. Решив исправиться, он излагал свои благие намерения в форме юридического документа, подписывал при свидетелях и скреплял печатью. Он заключал договор со своим лучшим «я», выдавал небесам долговое обязательство. Искренне желая сдержать слово, он начинал старательно исполнять божественные указания. Но увы — через несколько дней его несчастный невротический темперамент брал свое, и решимость пропадала. Всегдашнее безволие сводило на нет все его попытки трудиться; всегдашняя патологическая скука гасила в нем интерес даже к войне; всегдашние чувства вины и собственного ничтожества снова омрачали мир, превращая его в страшное и бесконечно унылое место. И тогда Иезекили снова приходил на выручку, с новым откровением, с новыми пророческими тирадами.

Еще в 1632 году было неофициально решено, что в случае смерти Ришелье отец Жозеф займет его место председателя Государственного совета. Чтобы придать

его выступлениям необходимый вес, нужно было сделать его князем Церкви. Через своего посла в Риме Людовик попросил при ближайшем назначении кардиналов выделить одну шапку для его капуцина. В течение следующих шести лет это ходатайство несколько раз повторялось, со все большей настойчивостью. Но Урбан VIII, при всем восхищении «Туркиадой» и при всей личной симпатии к ее автору, не спешил исполнить королевское пожелание. Он не хотел делать отца Жозефа кардиналом по нескольким причинам. Во-первых, уже имелся один кардинал из капуцинского ордена, и этот человек категорически возражал против любых действий, которые создали бы ему соперника и конкурента в Священной коллегии. Затем имелся император Фердинанд, который не забыл свою регенсбургскую встречу с отцом Жозефом и нисколько не желал, чтобы столь могущественный противник занял высокое положение и превратился в еще большую угрозу интересам Австрии. Такие же возражения раздавались и из Мадрида. И наконец, имелось обстоятельство, которым не смел пренебречь ни один папа периода Контрреформации, — отвратительная донельзя репутация отца Жозефа среди рядовых католиков — и мирян, и духовенства. Имевший дурную славу и до регенсбургского сейма, после 1630 года он достиг высочайших вершин бесславия. В свете всего этого нисколько не удивительно, что папа так долго отказывал Христианнейшему величеству в его просьбе. Удивительно другое — в конце концов он все-таки уступил. В 1638 году шапка была твердо обещана — слишком поздно: монах умер, не успев ее получить. Человек, чье место в Государственном совете предназначалось отцу Жозефу, пережил его на четыре года — человек хотя и вправду слабого здоровья, но до самой кончины сохранивший ясную голову и ту несгибаемую волю, которая привела его к власти и восемнадцать лет удерживала наверху. Жизнь Ришелье, как и всякого храни-

ческого больного, состояла из периодических подъемов и спадов, из череды улучшений и ухудшений. В 1632 году, когда была отправлена первая просьба о шапке для отца Жозефа, Ришелье мучился от обострения той болезни, которая впервые поразила его десятью годами ранее. Геморрой — именно от него мучился кардинал — это недуг иногда очень болезненный, изнурительный и угнетающий психику. В сочетании с другими немочами, он отнимал у кардинала все силы.

В семнадцатом и восемнадцатом веках в жизни видных особ ни одно событие не бывало вполне приватным. Даже акт испражнения нередко совершался на людях, и тех, кого ранг наделял такой привилегией, короли и принцессы удостоивали приема и беседы, сидя на *chaise percuse**. Болезни и самые деликатные формы лечения протекали столь же публично. Клизмы Людовика XIV обсуждал весь двор, а его фистула, или анальный свищ, стала вопросом государственной важности. Поколением раньше так же обстояло дело и с кардинальским геморроем. Известия о нем проникли в самые глухие уголки королевства. К кардиналу отовсюду слали соблезнования и будто бы безотказные средства — в том числе изобретенный одним капуцином порошок, от которого непременно прошел бы не только геморрой кардинала, но и бесплодие короля. Когда все это не помогло, делегация духовенства отправилась в собор города Мо и вернулась оттуда с мощами того ирландского отшельника седьмого века, под чьим покровительством живет город Бри и чьим именем назван наемный экипаж, — святого Фиакра. Испробовали и мощи — но несмотря на свою репутацию целителя, святой Фиакр оказался не удачливее других. Об этом можно пожалеть — не только из-за бедного Ришелье, но и из-за того, что неудача святого Фиакра лишила нас нескольких любопытных текстов, а быть может —

* Стульчаке (*франц.*)

и великолепных произведений искусства. Если бы чудо произошло, легко вообразить сборник написанных разными поэтами од, который вышел бы в честь события. Они отличались бы скорее экстравагантностью, нежели поэтическими достоинствами. Иное дело — огромное полотно Рубенса. Оно стало бы образцом непревзойденной красоты и роскоши. Справа, на переднем плане, облаченный в струящийся красный шелк, стоит на коленях Ришелье, закатив темные бесстрастные глаза к небесам, на которых — в левом верхнем углу, на высоте примерно в двести пятьдесят футов — с мягкого облака на него взирают Святая Троица и Дева Мария, сильно уменьшенные перспективой, но с выражением живейшего участия. Спускаясь с небес, всего в футах или двух над головой кардинала завис святой Фиакр с клочковатой бородой и в приличном анахорету драном рубище. Одну руку подняв в благословении, на сгибе другой он держит свои эмблемы — ломоть сыра Бри, ирландскую дубинку и миниатюрную повозку. Прикрывающая его с воздуха эскадрилья херувимов делает виражи над прелестным ландшафтом, в дальней части которого полным ходом идет осада Ла-Рошели. Сразу за кардиналом на вершине широкой лестницы стоит Людовик XIII — левая рука на бедре, правая покоится на ротанговой тросточке. Над ним парит Победа в развевающихся розовых драпировках, а у его ног пресмыкается сизая Ересь. В глубине холста, прямо под Троицей, на втором или третьем плане видна группа: молящийся отец Жозеф, священная Теология в голубом и белом атласе и олицетворение *Litterarum Humaniorum** — догола раздетая молодая жительница Антверпена, указующая перстом на мраморную плиту, на которой выбита латинская надпись об основании Французской академии... Но увы — эта прекрасная картина так и осталась ненаписанной; кости святого Фиакра верну-

* Светской учености (*лат.*)

лись в Мо, а несчастный кардинал по-прежнему терпел адские муки.

Угнетающее воздействие этой и других его болезней — одна из причин морального упадка Ришелье в 1636 году. Вмешательство отца Жозефа помогло кардиналу преодолеть психические симптомы, но разумеется, не устранило их органическую причину. И после кризиса, как и до него, Ришелье оставался больным человеком, с подавленной болезнями психикой и постоянной нуждой не только в лечении, но и в моральной поддержке. За последней он обращался к отцу Жозефу, который боролся с унынием друга, подолгу рассуждая о религии и уговаривая его переменитьсь. Под воздействием этих разговоров Ришелье начал проявлять неожиданное благочестие. Он щедро раздавал деньги религиозным учреждениям. Он часто исповедовался и еженедельно причащался. Но еще неожиданнее, что в 1636-1639 годах он сочинил «Трактат о христианском совершенстве» — апологию того, что отец Жозеф и его учитель Бенет Фитч называли «активным уничтожением», а брат Лоуренс и большинство других мистиков — «опытом божественного присутствия». «Достаточно, — писал Ришелье, — несколько раз в день ставить себя перед лицом Божиим и не совершать действий, способных божественное присутствие разрушить; ибо нет сомнений, что оно длится и сохраняется, если мы не совершаем враждебных ему действий». Следует предположить, что кардинал — хотя бы в какой-то мере — применял свои проповеди на практике. Эффект, судя по всему, оказался благотворным; ибо кардинал, хотя всю жизнь и боялся ада, встретил смерть мужественно и в явной уверенности, что не совершил ничего, заслуживающего вечной муки. Священник, бывший с ним в его последние часы, посоветовал ему простить всех врагов, чтобы приготовить душу к встрече с ее Создателем. Со смертного одра кардинал безмятежно ответил, что «он никогда не имел врагов, если не считать вра-

гов государства». Столь грандиозное и высказанное в подобную минуту самодовольство внушает чуть ли не благоговение. Узнав о его смерти, старый Урбан VIII несколько секунд задумчиво молчал. «Что ж, — произнес он наконец, — если Бог есть, кардиналу Ришелье за многое придется ответить. Если Его нет, кардиналу можно только позавидовать».

А человек, к которому кардинал обращался за моральной поддержкой («ou est mon arrii?» вскричал он, узнав о смерти отца Жозефа, «j'ai perdu mon arrii»), сам нуждался в утешении. Попытка служить двум господам — в качестве государственного деятеля защищать интересы Бурбонов, а в качестве созерцателя поклоняться Богу «в духе и истине» — провалилась, и он все острее сознавал свою неудачу. Ришелье, как человек совершенно неосведомленный об истинной природе Божества, мог позволить себе убаюкивающую фразу, что «достаточно несколько раз в день ставить себя перед лицом Божиим и не совершать действий, способных божественное присутствие разрушить». Отец Жозеф о Боге кое-что знал и потому понимал, что этого *не* достаточно и что действия, неспособные разрушить то, что Ришелье наивно принимал за божественное присутствие, абсолютно губительны для присутствия подлинной реальности. Он пытался «уничтожить» свою деятельность министра, дипломата, главы разведслужбы, политического публициста; но занятия эти — и по своей многочисленности и по несправимо порочной сути — уничтожению не поддавались. «Во всех обстоятельствах жизни, — написал он двадцать лет назад, — каждый человек обязан сохранять способность, даже в самый разгар бури, поднять взор, если понадобится, к верховному благу, будто к путеводному факелу, который светит издали и к которому он стремится в этом акте слияния — не так, конечно, как один из совершенных и не притязая на высшие степени, — не на всех парусах и не в открытом море полного совлечения,

окончательного отказа от всех привычных подмог, как пристало большим океанским судам, — а держась знакомого берега, не оставляя ни медитацию, ни иные описанные в этом Методе вспоможения, которые ведут к слиянию». В те годы он, еще новичок, держался берега устной молитвы и словесной медитации; затем, становясь все опытнее в чистом созерцании, забирался все дальше в безбрежное море божественной реальности. И тут появился Ришелье, и монах увидел свой долг в том, чтобы творить внешнюю волю Божию, пойдя в услужение к французской монархии — орудию Промысла. Поначалу он не сомневался, что сумеет и выполнять политические обязанности, и оставаться в морских водах — в божественном присутствии. Но с течением времени ему пришлось повернуть обратно к берегу, и проблески так ярко прежде горевшего верховного блага становились все реже. В молодости опыт единения он описывал с красноречием, страстный накал которого свидетельствует, видимо, о двух вещах: первое, что он сам испытал это единение, и второе, что это был опыт не высшего порядка; ибо мистический опыт высшего порядка не поддается выражению на том бурно-эмоциональном языке, к какому прибегает отец Жозеф. «Бог желает, — писал он, — войти в нас и милостиво позволяет нам войти в Него, в некоем обоюдпогружении и взаимопроникновении, о чем сказано и в Писании, когда Бог велит нам открыть уста и обещает наполнить их. Отвержение уст означает, что душа должна расширить всю способность своей свободной воли, то есть должна совершать акты самой великой и самой самоотверженной любви, какую может иметь. И мало открыть уста обычным способом, как мы открываем их для еды, речи, дыхания; нужно уподобиться человеку, который, долго и изо всех сил гнавшись за тем, что до крайности хотел поймать, встал, задыхаясь, и слышит, как колотится его сердце, будто вот-вот разорвется. Иные открывают свою волю Господу словно для еды, то есть

словно для вкушения какой-то душевной сладости; иные — словно для разговора, и рассуждают о Боге; иные — словно для дыхания, чтобы оживить дух, задохнувшийся от мирских забот. Поступающие так не имеют совершенной любви к Господу. Нужно в каждом нашем выдохе расставаться с самостной волей, нужно затравить как зверя нашу собственную природу в неуклонном беге к совершенству, чтобы выдохнуть потом, открыв уста, все свое существо и перелить его в уста Божии... Так Писание говорит, когда читаем его на еврейском языке, что Моисей умер на устах Божиих... О святое место упокоения от счастливых изнеможений! О сокровище вечного покоя, которое вмещает наша душа во всей ширине его и глубине, ибо Бог открывается ей в точно той мере, в какой она готова Ему открыться».

Спокойна была только мирская часть отца Жозефа, только Тенеброзо-Кавернозо. Его религиозная часть, Иезекили, жила в состоянии хронической страстности, в какой-то лихорадке религиозного рвения. Иезекили казалось самым естественным делом неистово разглагольствовать о тишайшей молитве, сравнивать созерцателя с запыхавшимся бегуном. Все практические мистики, включая Бенета из Канфилда, предостерегали начинающего созерцателя от чрезмерного рвения. Жажда Бога, если ее не контролировать, может превратиться в преграду, отлучить душу от предмета ее желаний. Если человек собрался в долгое странствие по мистическому пути, он должен научиться желать Бога изо всех сил, но в сердечной тишине, желать Его пассивно — но всем сердцем, душой, всем своим существом. Сам отец Жозеф говорит о внутреннем смятении, подстерегающем душу, «которая не научилась управлять своими помыслами, не приняла от благодати, изобильно подаваемой в акте слияния, жезл духовный для владычества над своими чувствами». Однако можно усомниться в том, что ему самому был дарован этот духовный жезл. Что он вполне властвовал над всеми

своими низшими страстями, неоспоримо; но его страстные и бурные сочинения, как и описанная современниками склонность к внезапным откровениям, видениям и восхищениям, свидетельствуют, что он так и не сумел преодолеть свое слишком естественное желание взять царство небесное силою. Позволительно верить, что если бы он его преодолел, если бы его опыт слияния был более спокойным и умиротворенным, заполненным не столько его сильными чувствами к Богу, сколько самим Богом, то он никогда не согласился бы рискнуть истинным познанием реальности ради политических обязательств, едва ли совместимых даже с его монашескими обетами и уж точно несовместимых с созерцательной жизнью.

Пусть отец Жозеф имел лишь неполный и не высшего порядка опыт единения; но на своем уровне это был опыт, безусловно, подлинный. Однако с течением лет и этот опыт приходил все реже. Отдавшись неуничтожимым занятиям, он, несмотря на ежедневную умную молитву, стал добычей горечи и разочарования. Конечно, видения и пророческие откровения по-прежнему ему даровались; но жизнь в близости к Богу, какую он знал в молодости, закончилась; теперь он жил в страшном и непреложном сознании, что Бог от него отошел. Настала темная ночь души — не та спасительная темная ночь, о которой писал Хуан де ла Крус, не темная ночь тех, кто претерпевает последнее и мучительное очищение от самостной воли; нет, это была иная, намного более ужасная, ибо бесплодная и обессиливающая, темная ночь, которая выпадает тем, кто видел Бога, а потом, по собственной вине, Его утратил. Отец Жозеф знал, что с ним случилось. Это ясно из следующего места в письме, которое он написал в последний период своей жизни одной из кальварианских аббатис. «Я знаю, — пишет он, — по личному опыту; я, в наказание за мои грехи и за небрежение данным мне от Бога временем, имеющий так мало покоя для размышлений о моем внутреннем существе и вечно отвлекаемый

всевозможными заботами; — я знаю, как плохо не иметь союза с Богом, не вверять свою душу духу Иисусову, покоряясь его руководству; и я знаю, как необходимо поэтому иметь хорошее сообщество, где христиане подают друг другу помощь и силу. Когда я размышляю об этом и потом оглядываюсь на жизнь, какую ведем и я и большинство людей, то начинаю верить, что этот мир — лишь призрак и что все мы не в своем уме — ибо я не делаю различий, за вычетом внешней стороны, между нами, язычниками и турками».

Это — слова отчаяния, слова, заставляющие думать, что несчастный усомнился в своем спасении. А написав их, он обязан был возвращаться к отвратительной работе, в которую его запрягла верность Бурбонам, — к работе по распространению во всей Европе голода, людоедства, неопикуемых зверств. Возвращаться к отвлекающим заботам, которые отлучали его от созерцания реальности; к дурному сообществу короля и кардинала, послов и шпионов; наконец, ко всем преступным безрассудствам высшей государственной политики; к сатанинской борьбе за власть над миром, про который он знал, что это призрак, кошмарная иллюзия; к оргиям насилия и коварства; к безотрадным битвам грубой силы и хитрой лжи, где с обеих сторон сражались безумцы, между которыми, как он теперь понимал, не было никакой разницы. И в награду за то, что он отвернулся от Бога, ему обещали красную шапку.

Глава 10

Политика и религия

Характер жизни отца Жозефа таков, что описание ее почти наверняка поставит перед пытливым умом ряд вопросов, непосредственно не связанных с самой биографией. Все эти вопросы более или менее затруднительны, но принципиально столь важны, что задача пишущего об этой странной карьере не будет выполнена до конца, если он хотя бы не попытается на них ответить.

Первый вопрос касается фактов. Каковы были исторические последствия политики, которую отец Жозеф помогал проводить кардиналу Ришелье? Остальные имеют более спекулятивный характер и затрагивают проблемы морали. Как должен относиться к политике человек в положении отца Жозефа? Что может сделать для людей созерцатель вне области политики? И наоборот — что могут сделать для людей политики в своей области без помощи созерцателя? Рассмотрим эти вопросы по порядку.

О непосредственных результатах международной политики Ришелье в плане человеческих несчастий я уже говорил. Какова, статистически, сумма этих несчастий? В Германии распространена была тенденция преувеличивать эти цифры. В конце XVII и в XVIII веке сложился миф о Тридцатилетней войне — миф более драматичный и страшный, чем реальность, и потому сильнее действовавший на воображение тех, кто в него уверовал. Послед-

ние исследования показали, что прежнюю мифическую статистику надо существенно уменьшить. Но даже после всех необходимых сокращений цифры вполне ужасны. В 1618 году население Германии составляло около двадцати одного миллиона. К 1648-му оно сократилось примерно до тринадцати миллионов. В тот исторический период, когда кривая общего народонаселения Европы шла вверх, земли к востоку от Рейна потеряли больше трети жителей из-за резни, голода, холода и болезней. Более, чем какая-либо другая война в новой истории Европы, Тридцатилетняя была народной войной — в том смысле, что мирные жители были захвачены ею так же, как и профессиональные солдаты.

Материальный ущерб по сравнению с людскими потерями был относительно невелик. В XVII веке массовое производство взрывчатых веществ отсутствовало, и сами они были относительно неэффективны. А без большого количества взрывчатки разрушить прочные каменные сооружения трудно. Страдало в результате то, что легко загоралось, — жилые дома и, в первую очередь, хлипкие лагуги бедняков. Город и деревня страдали почти одинаково. Бюргеры лишались денег и занятий. У крестьян отнимали продукты, они лишались домов, орудий, семян и скота. Потеря овец, коров и свиней была особенно болезненна. Как показал опыт революционной России, чтобы восполнить убыль стада, требуется долгое время. Прошло два или три поколения, прежде чем естественный прирост компенсировал опустошения, причиненные Валленштейном и Мансфельдом, Тилли и Густавом, испанцами и французами.

На структуре германского общества Тридцатилетняя война сказалась отрицательно, и это имело далеко идущие последствия. Опять-таки, миф, способствовавший формированию современного германского сознания, во многих пунктах расходится с реальностью. В Германии было принято приписывать все беды страны

Тридцатилетней войне. Но истина заключается в том, что и до начала войны Германия была в плохой форме. Экономическое благополучие Германии зиждилось на коммерции и было связано с экономикой Венеции. В XVI веке торговые пути изменили направление. Средиземное море потеряло свое коммерческое значение, и экономический фундамент, на котором была построена городская жизнь Германии, стал крошиться. После Крестьянской войны пришло в упадок и сельское хозяйство: угнетенное большинство испытывало неуголимую ненависть к победителям-хозяевам. Сельское хозяйство не процветает, когда работники и землевладельцы находятся в состоянии латентной гражданской войны. Деградации способствовал религиозный и политический раскол. Наличие двухсот суверенных государств, как правило окруженных таможенными барьерами, с собственными валютами, в большей или меньшей степени обесценивавшимися, создавало такие внутренние трения, что обмен товарами и услугами между частями страны был крайне затруднен. В то же время Реформация разделила народ сначала на два, а затем, с приходом кальвинизма, и на три враждебных лагеря. В конце XVI и начале XVII века эта унылая Германия не родила ни одной выдающейся фигуры. Застой царил в интеллектуальной жизни. Моральные и бытовые нормы опустились до скотского уровня. Путешественников поражало в Германии только одно — отвратительное обжорство и пьянство ее обитателей. Немцы, по крайней мере состоятельные, ели и пили больше любого другого народа в Европе и чрезвычайно этим гордились. На данном историческом этапе гордиться им было больше нечем.

Тридцатилетняя война довершила разорение, начало которому было положено открытием Америки, Реформацией и Крестьянской войной. Торговля и промышленность хирели, из-за этого значительная часть бюргеров потеряла экономическую независимость, и бюргер

превратился в мелкого служащего на жаловании у какого-нибудь из двухсот независимых суверенов, которые правили страной после Вестфальского мира. Так в XVII веке выкован был могучий инструмент правительственной тирании — немецкая бюрократия.

Правящая бюрократия не может действовать эффективно без надлежащего дополнения — покорного народа, смирившегося с тем, что им командуют. Это покорное немецкое население тоже было продуктом Тридцатилетней войны. Крестьянская война закончилась победой землевладельцев, но, несмотря на это, в конце XVI века наблюдалось некоторое ослабление феодальных пут. Во время Тридцатилетней войны и сразу после нее, благодаря острой нехватке рабочей силы, крестьяне, пережившие кровопролития и голод, получили возможность требовать лучших социальных и экономических условий. Казалось, что катастрофа дала, по крайней мере, один хороший результат — большую свободу германского крестьянства. На самом же деле действие ее было прямо противоположным. Вестфальский мир усилил независимость князей и аристократии — усилил настолько, что они смогли повернуть вспять процесс модернизации Германии и вернуть крепостному порядку жесткость, какую успели забыть предыдущие поколения. В том, что касается сельского населения Германии, самым важным результатом французской международной политики было воцарение нового, искусственного и чудовищного средневековья. Когда пришло время родиться новой германской державе, к услугам пруссаков в полной готовности была развитая бюрократия и смиренное подконтрольное население.

Внутри самой Германии политические последствия Тридцатилетней войны были почти без исключения отрицательными. Подражая Людовику XIV, князья послевестфальской Германии либо придавили, либо просто отменили местные парламенты, до некоторой степени ограничи-

вавшие самовластие их отцов. Автократия стала традицией этой страны.

Австрия навсегда потеряла власть над северными и западными землями Германии. Государства, номинально входившие в империю, фактически стали независимы от Габсбургов — независимы настолько, насколько это требовалось Ришелье и отцу Жозефу, желавшим распространить на них французское влияние. С французской точки зрения эта конфигурация была превосходна, но сохраниться такая конфигурация могла только при двух условиях: во-первых, если французская монархия будет оставаться стабильной, не упуская, но и не расширяя свою власть, и, во-вторых, если немцы не воссоединятся — ни добровольно, ни по принуждению. К началу XIX века оба эти условия перестали выполняться. Французская монархия пришла в упадок и рухнула, сменившись агрессивной военной диктатурой, восстановившей против себя всю напуганную Европу, и возникла прусская монархия, способная создать новое объединенное германское государство. Подорвав власть Австрии, Ришелье и отец Жозеф тем самым проложили путь к будущему объединению Германии не в виде наднациональной, не только германской федерации, а в виде централизованного чисто тевтонского государства. Завершающий удар по федеративной идее — единственному политическому принципу, который мог в современных условиях обеспечить порядок в Центральной и Восточной Европе, — был нанесен в 1919 году, когда вместо того, чтобы реформировать и укрепить империю Габсбургов, союзники разбили ее на полдюжины независимых, но не вполне жизнеспособных национальных государств.

Политика Ришелье имела целью ослабить Испанию и Австрию, раздробить Германию и вместо Габсбургов сделать доминирующей европейской силой Бурбонов. Политика эта была успешной — успешной настолько, что когда Людовик XIV довел ее до логического и безумного

завершения — перманентной агрессивной войны против всех, — вся Европа объединилась против Бурбонов точно так же, как в прошлом вся она, включая Францию, объединилась против Габсбургов. К концу долгого своего господства Франция разорилась, ее торговля и промышленность захирели, угнетенное крестьянство находилось в состоянии латентного бунта, и большие пространства на ее территории почти обезлюдели. В экономической области частное предпринимательство не поощрялось, в религиозной и политической — свобода вероисповедания и все традиционные автономии и ограничения тирании были отменены. Подготовлена была почва для революции, а из революции вышел — наряду с «прогрессом через катастрофу», о котором любят рассуждать политические оптимисты, — наполеоновский империализм и, как реакция на него, немецкий национализм, прусская империя и катастрофы XX века.

Относительно политики можно сделать лишь одно безусловное обобщение, а именно — что государственные деятели не могут предвидеть, иначе как в ближайшем будущем — результаты какого бы то ни было масштабного политического действия. Правда, многие из них оправдывают свои действия, убеждая себя в том, что видят далеко вперед, но на самом деле это не так. Будь они вполне честны, они повторили бы за отцом Жозефом:

*J'ignore ou mon dessein, que surpasse ma vue,
Si vite me conduit;
Mais comme un astre ardent qui brille dans la nue,
Il me guide en la nuit.*

Если дорога в ад вымощена благими намерениями, то между прочим — из-за того, что вычислить последствия невозможно. Епископ Стаббс осуждает поэтому таких историков, которые забавляются тем, что возлагают на отдельных людей или группы ответственность за отдаленные последствия их действий. «Мне это представ-

ляется, — пишет он, — не только несправедливостью, но и незнанием очевиднейших заключений здравого смысла... сделать историческое лицо ответственным за зло и преступления, произошедшие из его действий благодаря процессам, которых он не мог предвидеть.» Это верно отчасти — отчасти, но не целиком. Историк, помимо того, что он моралист, пытается сформулировать обобщения относительно развития человечества. Когда он их сформулировал, они становятся доступны политику, разрабатывающему план действий. Таким образом, прошлые данные о связи между действиями и последствиями перемещаются в сферу этики как значащие факторы в ситуации выбора. И тут следует сказать, что если отдаленные последствия данного образа действий предвидеть невозможно, то отнюдь не невозможно предвидеть в свете прошлого исторического опыта, какого рода последствия в принципе могут проистекать из определенного рода действий. Так, данные прошлого опыта достаточно ясно показывают, что последствия действий, приводящих к широкомасштабной войне, кровопролитной революции, неограниченной тирании и гонениям, скорее всего будут плохими. Следовательно, политик, избирающий такой образ действий, не может оправдываться незнанием. Отец Жозеф, например, был достаточно начитан в истории, чтобы понимать, что такого сорта политика, какую проводили Ришелье и он, пусть даже номинально успешная, редко приносит долговременные блага той стороне, которая ее спланировала. Однако, радуя о Бурбонах, он предпочел закрыть на это глаза и свое добровольное неведение оправдывать рассуждениями о воле Божьей.

Здесь стоит сказать несколько слов о странном чувстве времени у тех, кто мыслят категориями политики. Конкретный образ действий рекомендуется на том основании, что, если его придерживаться, он неизбежно приведет к решению всех важнейших проблем — решению,

либо окончательному и вечному, вроде бесклассового общества у Маркса, либо весьма долговременному, наподобие тысячелетних проектов Муссолини и Гитлера или же более скромному, пятисотлетнему *Rex Americana**, о котором говорила мисс Дороти Томпсон. Поклонники Ришелье ожидали Золотого века Бурбонов, более долгого, чем гипотетическая фашистская или нацистская эра, но более короткого (поскольку он все же имел пределы), чем финальная бесклассовая стадия коммунизма. Вуатюр, тогдашний защитник антигугенотской политики Ришелье, оправдывает большие расходы тем, «что один захват Ла-Рошели сэкономил миллионы, ибо Ла-Рошель еще две тысячи лет поднимала бы восстания при каждом несовершеннолетнем короле, при каждом мятеже аристократов». Такие иллюзии характерны для политически мыслящих, когда они рассуждают о последствиях политики непосредственно до или непосредственно после того, как она начнет осуществляться. Но когда плоды политики становятся очевидны, чувство времени у этих людей радикально меняется. Они перестают оперировать веками и тысячелетиями. Теперь одна какая-нибудь победа — основание для *Te Deum***, а если политика приносит успехи хотя бы в течение нескольких лет, государственный деятель испытывает удовлетворение, а подхалимы осыпают гения похвалами. В подобном духе выражаются даже трезвые историки, пишущие о событиях ретроспективно. Так, современные авторы славят Ришелье как великого и дальновидного государственного деятеля, хотя совершенно ясно, что действия, предпринятые им для возвеличения династии Бурбонов, подготовили социальные, экономические и политические условия, которые привели к падению династии, возвышению Пруссии и катастрофам XIX и XX веков. Его политику оценивают как исключительно успешную, а тех, кто про-

* Американский мир (*лат.*)

** Тебя Бога [хвалим] (*лат.*)

тив нее возражал, упрекают в близорукости. Вот как, например, выражался Гюстав Фаньез о французских крестьянах и горожанах, недовольных военной политикой кардинала — политикой, которую им приходилось оплачивать своими деньгами, лишениями и кровью. «Всегда корыстные и неразумные, массы не могут долго мириться с тяготами, плоды которых суждено собрать грядущим поколениям». И это — сразу после пассажа, описывающего как раз сами плоды — объединение всей Европы против Людовика XIV и бедствия французского народа. Такую поразительную непоследовательность можно объяснить только тем, что, когда люди говорят об успехах своей страны, они мысленно оперируют лишь самыми короткими отрезками времени. Триумф надо воспевать, даже если он длится не дольше дня. Когда речь идет о таких людях, как Ришелье, Людовик XIV и Наполеон, их короткими триумфами восхищаются больше, чем возмущаются долгими несчастьями, которыми эти триумфы оплачены.

Среди тысячи шестисот с лишним дам, числящихся в каталоге побед Дон Жуана, без сомнения, было несколько, чья благосклонность побуждала героя обратиться потом к врачу. Но с шанкром ли, без шанкра, а сам факт завоевания был предметом гордости и заслуживал быть занесенным в лепорелловскую хронику побед. История стран пишется в том же духе.

Это — что касается первого вопроса, о последствиях политики, в разработке и осуществлении которой участвовал отец Жозеф. Теперь об этических вопросах. В этическом плане положение отца Жозефа было не такое, как у обыкновенного политика. Не такое потому, что, в отличие от обыкновенных политиков, он стремился к святости, был созерцателем, практически осведомленным в мистицизме, человеком, знавшим природу духовной религии и действительно продвинувшимся по «пути совершенства» к единению с Богом. Теологи согласны в

том, что все христиане призваны к единению с Богом, но лишь немногие готовы сделать выбор, позволяющий им стать избранными. Отец Жозеф был одним из этих немногих. Но, сделав выбор, на этом не остановился и через сколько-то лет сделал другой: заняться политикой и стать сотрудником Ришелье. Как мы уже видели, намерением отца Жозефа было сочетать политическую деятельность с созерцанием, делать то, что требовала государственная политика, и в процессе делания уничтожить это в воле Божьей. Однако на практике то, что приходилось делать, оказалось неуничтожимым, и частью своей души отец Жозеф горько сожалел о том, что ввязался в политику. Но была и другая часть — жаждавшая действия, требовавшая героических свершений во славу Божию. Оглядываясь на свою жизнь, отец Жозеф — созерцатель, чувствовал, что поступил несправедливо или, по крайней мере, очень неразумно, вмешавшись в политику. Но если бы он так не поступил, если бы остался проповедником, учителем и религиозным реформатором, то, возможно, до конца своих дней сознавал бы, что поступил неправильно, пренебрегши возможностью исполнить волю Божию в большом мире международной политики — *gesta Dei per Francos*.

Дилемма отца Жозефа стоит перед всяким духовным человеком и созерцателем, всяким, кто хочет поклоняться Богу теоцентрически и ради Него самого, всяким, кто пытается соблюдать заповеди, чтобы стать совершенным, как совершенен их Отец на небесах. Чтобы мыслить об этой дилемме ясно, мы прежде должны научиться ясно мыслить о некоторых проблемах более общего характера. Католические богословы этим усиленно занимались, и, пожелай воспользоваться их усилиями отец Жозеф, он нашел бы в учениях своих предшественников и современников много материала для надежной философии действия и надежной социологии созерцания. То, что он не воспользовался ими, обусловлено осо-

бенностями его темперамента и талантов, но прежде всего его горячим бескорыстным радением о французской монархии. С пути совершенства его сманило самое утонченное из искушений — соблазн верности и самопожертвования, но — верности делу не такому высокому, как высшее благо, и самопожертвования — во имя чего-то, что меньше Бога.

Для начала рассмотрим теорию действия, как она излагалась в теоретических писаниях, доступных отцу Жозефу. Прежде всего, мы должны помнить, что когда богословы говорят о деятельной жизни, противопоставляя ее созерцательной, они имеют в виду не то, что понимают под ней современные писатели не богословы. Для нас «деятельная жизнь» — это жизнь, которую ведут герои фильмов, руководители бизнеса, военные корреспонденты, члены правительства и так далее. В глазах богословов — это лишь мирская жизнь, проживаемая людьми, духовно не обновленными, не сделавшими ничего или почти ничего, чтобы избавиться в себе от ветхого Адама. Но в глазах богословов деятельная жизнь — труд Божий. Быть деятельным, значит следовать путем Марфы, которая посвятила себя обслуживанию материальных нужд учителя, тогда как Мария (во всей мистической литературе она есть образец созерцателя) сидела и слушала Его слова. Когда отец Жозеф выбрал жизнь политика, он очень хорошо понимал, что это не деятельная жизнь в теологическом смысле, что путь Ришелье не тождествен пути Марфы. Действительно, Франция была, *ex hypothesi** и почти по определению, орудием Божьего Промысла. Следовательно, всякая политика, направленная на возвышение Франции, должна быть в сущности благой. Но хотя ее сущность может быть благой и вполне согласной с Божьей волей, акциденции ее часто были сомнительными. Тут вступала в действие практика активного уничтожения. С

* По допущению (*лат.*)

ее помощью отец Жозеф надеялся стерилизовать свои довольно грязные мероприятия и сделать их безвредными, по крайней мере для себя.

В наши дни большинство людей принимают как само собой разумеющееся утверждение прагматистов, что целью мысли является действие. Философия, которую изучал и усвоил отец Жозеф, придерживается противоположной позиции. Здесь созерцание является целью, а действие (включая дискурсивное мышление) ценно лишь как путь к узрению Бога. По словам св. Фомы Аквинского, «действие должно быть тем, что прибавляется к жизни в молитве, а не тем, что от нее отнимается». Для человека от мира сего это утверждение почти лишено смысла. Для созерцателя, сосредоточенного на духовном, на Царствии Божиим, а не на самости, это — аксиома. Отправляясь от этого фундаментального принципа теоцентрической религии, практические мистики подвергли критическому анализу всю идею действия и установили правила, которыми должен руководствоваться тот, кто желает следовать мистическим путем к узрению Бога. Одна из лучших формулировок традиционной мистической доктрины касательно действия принадлежит современнику отца Жозефа — Луи Лаллеману. Лаллеман был иезуитом, которому, несмотря на антимистические тенденции, господствовавшие в его ордене, было разрешено приобщать доверенных его попечению людей к весьма передовой (но вполне ортодоксальной) разновидности спиритуализма.

Когда мы предпринимаем какое-то действие, утверждает отец Лаллеман, мы должны брать за образец самого Бога, который творит и поддерживает мир, никоим образом не изменяя своей сущности. Но мы не можем этого сделать, пока не обучимся практике правильного созерцания и не будем постоянно сознавать себя в присутствии Бога. И то, и другое трудно, особенно второе, ибо доступно лишь тем, кто очень далеко продвинулся

по пути совершенства. Что же до начинающих, то даже добрые дела могут отвлечь душу от Бога. «Если мы далеко ушли в молитве, — говорит Лаллеман, — мы много отдадим действию; если мы средне продвинулись во внутренней жизни, мы должны отдавать себя внешней жизни лишь умеренно; если духовного начала в нас совсем немного, мы ничего не должны отдавать внешнему, покуда того не потребует наш обет послушания». К уже приведенным причинам такого предписания мы можем добавить другие, чисто утилитарного свойства. Опыт и наблюдения показывают, что действия, предпринятые обычными нераскаившимися людьми, погруженными в свою самость и духовно не прозревшими, редко приносят большое благо. За одно поколение до Лаллемана св. Хуан де ла Крус суммировал всю проблему в одном вопросе и ответе. Те, кто, очертя голову, устремляются в добрые дела, не приобретя через созерцание способность действовать хорошо, — что они совершают? «Poco mas que nada, у a veces nada, у aun a veces дано» (немногим больше, чем ничего, иногда совсем ничего, а иногда даже приносят вред). Одна причина того, что дорога в ад вымощена благими намерениями, уже упомянута, и к ней — невозможности предвидеть последствия действий — мы должны теперь добавить другую: принципиально неудовлетворительный характер действий, совершаемых обычными, средними, духовно не обновленными мужчинами и женщинами. Раз так, Лаллеман рекомендует по возможности минимальную внешнюю деятельность до тех пор, пока созерцанием и неукоснительной практикой пребывания в присутствии Бога душа не научится отдавать себя Ему полностью. Те, кто недалеко ушел по пути к единению, «не должны выходить из себя для службы ближнему, иначе как для пробы и эксперимента. Мы должны быть подобны тем охотничьим собакам, которых еще не спустили со сворки. Когда мы придем через созерцание к обладанию Богом, мы сможем дать больше

воли нашему рвению». Внешняя деятельность не вызывает перерывов в молитве искусных, наоборот, она есть средство приближения их к реальности. Те, для кого она не является таким средством, должны по мере возможности воздерживаться от деятельности. Отец Лаллеман вновь обосновывает свою мысль ссылкой на опыт и чисто утилитарным соображением о последствиях. Во всем, что касается спасения душ и улучшения качества человеческих мыслей, чувств и поведения, «человек молитвы достигнет большего за один год, чем другой — за всю свою жизнь».

То, что верно в отношении благочестивых дел, верно а fortiori и в отношении чисто мирской деятельности, особенно когда эта деятельность масштабна, предполагает сотрудничество с большим числом людей, в разной степени не просвещенных. Добро есть продукт этической и духовной искушенности индивидуумов; массовое производство его невозможно. Все католические богословы отлично сознавали эту истину, и Церковь действовала соответственно с самых первых дней. Монашеские ордена — и, прежде всего, те, к которым принадлежал сам отец Жозеф, — были живой демонстрацией традиционной доктрины действия. Эта доктрина утверждала, что добро выше среднего качества и в количествах выше среднего может быть реализовано только в малом — посвятившими себя этому и специально подготовленными индивидуумами. В своей работе реформатора и духовного наставника отец Жозеф всегда исходил из этого принципа. Искусству умной молитвы он обучал только отдельных людей и маленькие группы. Кальварианский устав предписывался как образ жизни лишь немногим из монахинь Фонтевро — орден в целом был слишком велик, чтобы реализовать то специфическое духовное добро, ради которого проводилась реформа. И все же, несмотря на свое теоретическое и экспериментальное знание того, что массовое производство добра в духовно не пре-

ображенном обществе невозможно, отец Жозеф занялся международной политикой в убеждении, что не только выполняет волю Божию, но и что война, которую он всеми силами пытался продлить и расширить, принесет большие и длительные материальные и духовные блага. Он знал, что бесполезно заставлять добрых женщин Фонтевро быть более добродетельными и духовными, чем они того хотят; но при этом верил, что активное французское вмешательство в Тридцатилетнюю войну приведет к «новому Золотому веку». Эта странная непоследовательность была, как мы уже не раз говорили, по большей части, порождением воли — воли, которую, казалось отцу Жозефу, он сумел подчинить Божьей воле, хотя во многих отношениях она оставалась непреобразованной волей естественного человека. Отчасти, однако, эта непоследовательность объяснялась интеллектуальными причинами, а именно тем, что он воспринял некую теорию Провидения, широко распространенную в Церкви и не согласовывавшуюся с очерченными выше теориями действия и добра. Согласно этой теории, вся история провиденциальна, и ее нескончаемый список преступлений и безумств есть выражение божественной воли. Поскольку самые выдающиеся преступления и безумства в истории совершаются по приказу правительств, эти правительства и государства, которыми они управляют, — также воплощения Божьей воли. Приняв эту провиденциальную теорию истории и государства за истину, отец Жозеф имел все основания считать, что Тридцатилетняя война — дело хорошее, что политика, благодаря которой распространилось людоедство и всеобщей стала практика пыток и смертоубийства, вполне согласна с Божьей волей, если только она выгодна Франции. Последнее было необходимым условием, ибо как политик, верящий в провиденциальность истории, он с полным правом мог считать, что Бог осуществляет свои *gesta per Francos*, хотя как политический реформатор и духовный руководи-

тель отлично понимал, что дела Божьи исполняются не массой франков, но одним франком здесь, другим — там, порой даже британцем, таким как Бенет Фитч, или испанкой, например, св. Терезой.

Мистическую философию можно суммировать в одной фразе: «Чем больше твари, тем меньше Бога». Широкомасштабная деятельность духовно не преображенных мужчин и женщин почти целиком тварна; поэтому она почти полностью исключает Бога. Если история — выражение божественной воли, то такова она лишь в отрицательном смысле. Преступления и безумства больших человеческих сообществ имеют отношение к Богу лишь постольку, поскольку являются актами непослушания Его воле, и лишь в этом смысле сами они и несчастья, ими вызванные, могут справедливо рассматриваться как провиденциальные. Отец Жозеф оправдывал затеянные им кампании апелляцией к Богу Битв. Но Бога Битв нет; есть только высшая реальность, выражающая себя в определенной природе вещей, чья гармония нарушается такими событиями, как битвы, с последствиями более или менее губительными для всех, прямо или косвенно участвовавших в нарушении. Это подводит нас к сути великого парадокса политики — к тому факту, что политическое действие необходимо и в то же время не способно удовлетворить нужды, которыми оно вызвано.

Без политики могут обойтись только статические и изолированные общества, чей образ жизни определяется незыблемой традицией. В нестабильных, неизолированных, технически прогрессирующих обществах, таких, как наше, широкомасштабная политическая деятельность неизбежна. Но даже когда она осуществляется с благими намерениями (а очень часто это не так), политическое действие всегда обречено на частичное или даже полное самоопровержение. Подлинная природа человеческих инструментов, с помощью которых осуществляется политическое действие, и человеческого материала, над

которым оно совершается, — верная гарантия того, что такое действие не принесет результатов, которых от него ожидали. Это обобщение можно проиллюстрировать бесконечным числом исторических примеров. Возьмем хотя бы результаты двух реформ, на которые благонамеренными людьми возлагались колоссальные надежды, — всеобщее образование и общественная собственность на средства производства. Всеобщее образование оказалось инструментом всеобъемлющей регламентации и милитаризации и подвергло миллионы людей, дотоле не затронутых, воздействию организованной лжи и соблазну нескончаемых, оболванивающих и растлевающих отвлечений. Общественная собственность на средства производства была введена широкомасштабно только в России, и угнетения эта реформа не ликвидировала, а заменила один его вид другим — власть денег сменилась властью бюрократии, тирания богатых — тиранией полиции и партии.

Вот уже несколько тысяч лет люди пробуют разные методы улучшения качества человеческих инструментов и человеческого материала. Выяснилось, что такими чисто гуманистическими методами, как улучшение социальных и экономических условий, и разнообразными методами тренировки характера, можно добиться многого. Среди мужчин и женщин определенного типа поразительные результаты могут быть достигнуты посредством обращения и катарсиса. Но хотя эти методы несколько более эффективны, чем чисто гуманистические, действуют они отнюдь не всякий раз и не обеспечивают радикального и постоянного преобразования личности, которое должно происходить в очень больших масштабах, если политическому действию суждено когда-либо принести благоприятные результаты. Для радикального и необратимого преобразования личности найден был лишь один метод — метод мистиков. Это трудный метод, требующий от тех, кто к нему прибегает, гораздо больше

терпения, решимости, сознательности и самоотречения, чем в большинстве своем готовы проявить люди, — за исключением разве что периодов кризиса, когда они временно способны пойти на величайшие жертвы. Но, к несчастью, улучшение мира не достигается жертвами в моменты кризиса, оно зависит от усилий, совершаемых постоянно и раз за разом, в скучные, невоодушевляющие времена между кризисами, ибо из них по большей части и состоит жизнь. Из-за общего нежелания делать такие усилия в не критические времена очень немногие люди готовы в каждый данный момент истории прибегнуть к методу мистиков. Раз так, любое политическое действие, пусть даже предпринятое из лучших побуждений и прекрасно спланированное, может принести лишь малую долю предполагаемого улучшения, и ожидать большего было бы глупо.

История каждой страны развивается волнообразно. Во впадинах волн мы наблюдаем более или менее полную анархию; на гребнях же — не более или менее полную Утопию, а, в лучшем случае, относительно гуманное, частично свободное и справедливое общество, которое неизменно несет в себе семена будущего упадка. По-видимому, крупным организациям гораздо легче пасть, чем подняться. Мы вполне можем надеяться на то, что вновь достигнем верхнего предела, но если значительно большее число людей, чем прежде, не готово прибегнуть к единственному методу, способному преобразить личность, то не стоит ожидать, что мы заметно этот предел превзойдем. В начале главы мы задались вопросом: что могут сделать для людей политики, действуя в политической сфере без помощи созерцателей. Ответ, по-видимому, будет: немного. От политических реформ нельзя ожидать общего улучшения до тех пор, пока большое число индивидуумов не приступит к преобразованию своей личности единственным действенным способом — способом созерцания. Если же количество мисти-

ческой, теоцентрической закваски в общей массе человечества значительно сократится, политики могут обнаружить, что общества, которыми они управляют, невозможно поднять даже до того весьма скромного уровня, которого они достигали в прошлом.

Однако политики могут способствовать тому, чтобы социальная среда сделалась благоприятной для созерцателей. Или вернее будет выразить это в негативной форме и сказать, что они могут воздержаться от определенных действий, определенных мер, особо в этом смысле вредных.

Наименее совместимой с теоцентрической религией представляется такая политическая деятельность, которая направлена на увеличение особого рода социальной эффективности — эффективности, потребной для ведения крупномасштабной войны или создания военной угрозы. Чтобы достигнуть такой эффективности, политики всякий раз стремятся к того или иного рода тоталитаризму. Действуя подобно ученому, который может совладать со сложными проблемами реальной жизни, лишь произвольно упростив их в экспериментальных целях, политик в стремлении к военной эффективности произвольно упрощает подведомственное общество. Но если ученый упрощает путем анализа и изоляции, политик может упростить лишь посредством принуждения, прокрустовского процесса обруbanия и растягивания с целью подогнать живой социальный организм под некий удобопонятный и управляемый механический образец. Добиваясь новой эффективности государства — военной, Ришелье взялся упрощать французское общество. Сложность последнего была во многом хаотической, и политика упрощения, осуществляемая осмотрительно и с помощью желательных средств, была бы вполне оправданной. Но политику Ришелье нельзя назвать осмотрительной, и, будучи продолжена после его смерти, она привела к тоталитаризму Людовика XIV — тоталитаризму, по идее та-

кому же законченному, как те, что мы можем видеть в современном мире, и не ставшему таким же лишь по причине скверных средств коммуникации и слабости организационных систем, имевшихся в распоряжении тайной полиции Великого монарха. Тиранический дух был очень бодр, но техническая плоть, к счастью для Франции, — немощна. В эпоху телефонов, дактилоскопии, танков и пулеметов задача тоталитарного правительства сильно упростилась.

Тоталитарные политики требуют послушания и конформизма во всех сферах жизни, включая, разумеется, и религиозную. Здесь их цель — использовать религию как инструмент социальной консолидации, военный усилитель. По этой причине они признают только одну разновидность религии — чисто антропоцентрическую, единообразную и националистическую. Теоцентрическая религия, исповедующая поклонение Богу ради него самого, в тоталитарном государстве неприемлема. Все современные диктаторы — в России, Турции, Италии, Германии — либо не поощряли, либо активно преследовали всякую религиозную организацию, чьи члены поклонялись Богу, а не обожествленному государству местного политического главара. Людовик XIV был, что называется, добрым католиком; но его отношение к религии было специфически тоталитарным. Ему нужно было религиозное единство, поэтому он отменил Нантский эдикт и преследовал гугенотов. Ему нужна была единообразная националистическая религия; поэтому он поссорился с папой и настаивал на своем духовном верховенстве во Франции. Нужно было поклонение государству и поклонение королю; поэтому он всячески ущемлял тех, кто учил теоцентрической религии, учил поклоняться только Богу и ради него самого. Как говорилось в одной из предыдущих глав, упадок мистицизма в конце XVII века вызван отчасти пагубной сверхортодоксальностью Берюлля и его школы, а отчасти — систематическими гоне-

ниями на мистиков со стороны служителей церкви, которые могли бы сказать вместе с Боссюэ, что они поклоняются Богу под именами Короля, Иисуса Христа и Церкви. Атака на квиетизм лишь частично была тем, чем себя объявляла, — карательной экспедицией против некоторых, довольно глупых еретических взглядов и некоторых нежелательных практик. Что существеннее, она была завуалированным нападением на сам мистицизм. Спорные писания Николя, тесно сотрудничавшего с Боссюэ, ясно показывают, что настоящим врагом была спиритуалистическая религия как таковая. К несчастью для Николя, Церковь одобрила доктрины и практики прежних мистиков, поэтому действовать приходилось осторожно, но осторожность эта вполне уживалась с основательным антимистическим насилием. Сознательно или бессознательно, Николь и другие враги созерцания и теоцентрической религии вели тоталитарную игру.

Доиндустриальное тоталитарное государство, такое, какое проектировал Ришелье и осуществил на практике Людовик XIV, не может сравниться по эффективности с индустриальным государством, которое обладает современным оружием, средствами коммуникации и организационными методами. С другой стороны, оно и не нуждается в такой эффективности. Национальная индустриальная система настолько сложна, что может функционировать исправно и конкурировать с другими национальными системами только тогда, когда управляется во всех своих подразделениях централизованной государственной властью. Если бы даже намерения властей в разных централизованных государствах были мирными — чего на самом деле нет, — индустриализм по самой своей природе стремился бы превратить их в тоталитарные правительства. А когда помимо индустриальной эффективности нужна еще и военная, тоталитаризм становится неизбежным. Технологический прогресс, национализм и война, по-видимому, гарантируют, что в

ближайшем будущем мир будет принадлежать различным формам тоталитаризма. Но мир, благоприятствующий тоталитаризму, по всей вероятности, будет очень неблагоприятен для мистицизма и теоцентрической религии. А мир, неблагоприятный для мистицизма и теоцентрической религии, — это мир, где все меньше и меньше применения будет находить единственный надежный метод трансформации личности и все меньше и меньше людей будут обладать непосредственным опытным знанием реальности, которое только и может противостоять ложной доктрине тоталитарного антропоцентризма и пагубным идеям и практикам националистического псевдомистицизма. В таком мире мала вероятность того, что любая политическая реформа, задуманная даже с самыми благими намерениями, даст ожидаемый результат.

Высота нравственной нормы обратно пропорциональна численности людей, на которых она распространяется. Это не значит, что отдельные люди и маленькие группы всегда ведут себя хорошо. Но они, по крайней мере, *могут* вести себя значительно нравственнее и рациональнее, чем большие группы. Ибо с увеличением численности личные отношения между членами группы и между ее членами и членами других групп становятся затруднительными и, в конце концов, для подавляющего большинства индивидуумов — невозможными. Прямое знакомство уступает место воображению, личная привязанность и непосредственное, неразмышляющее сочувствие — поведению, мотивируемому рассудочной и абстрактной благожелательностью. Но у большинства мужчин и женщин рассудок, сочувственное воображение и абстрактное суждение о вещах развиты весьма слабо. Это — одна из причин, почему этические нормы, существующие в больших группах, между большими группами, между правителями и управляемыми в большой группе, как правило, ниже, чем в случае малых групп. Искусство

того, что можно было бы назвать «политикой добра», в отличие от державной политики, — это искусство организации в большом масштабе без ущерба для этических ценностей, существующих только у индивидуумов и малых групп. Конкретнее — это искусство сочетать децентрализацию правления и индустрии, местную и функциональную автономию и малый размер административных единиц с общей эффективностью, гарантирующей слаженную работу федерального целого. Политику добра ни разу не опробовали ни в одном большом обществе, и, скорее всего, подобная попытка сможет привести лишь к частичному успеху, пока большинство людей не способны или не желают преобразовать свою жизнь единственным способом, который доказал свою действенность. Но, хотя попытки заменить державную политику политикой добра, возможно, никогда не увенчаются полным успехом, методы политики добра совместно с индивидуальным усвоением теоцентрической теории и практики созерцания могут явиться тем средством, благодаря которому человеческие сообщества станут более благоприятными для жизни, чем были до сих пор. Пока эти методы не используют, нам следует ожидать, что бесконечно будут продолжаться до унылости знакомые шатания от крайнего зла к половинчатому, саморазрушающемуся благу — шатания, из которых и состоит история всех цивилизованных обществ. В мире, населенном теми, кого богословы называют нераскаявшимися, природными людьми, церковь и государство вряд ли когда-нибудь станут лучше, чем те лучшие государства и церкви, свидетельства о которых оставила нам история. Общество никогда существенно не улучшится, пока большинство его членов не захотят стать теоцентрическими святыми. А пока — те немногие теоцентрические святые, что присутствуют на земле в каждый данный момент истории, способны в небольшой степени смягчить и умерить действие ядов, вырабатываемых самим обществом в про-

цессе политической и экономической деятельности. По евангельскому слову, теоцентрические святые — соль, предохраняющая социальный мир от необратимого упадка.

Эта антисептическая, противоядная функция теоцентриков осуществляется разными способами. Прежде всего, чрезвычайно благотворен и важен сам факт их существования. В потенциале знание Бога и единение с Ним даны каждому, но у большинства, как говорит Экхарт, «они покрыты тридцатью или сорока кожами или шкурами, толстыми и жесткими, как у вола или у медведя». Однако под всей этой кожей и несмотря на ее крепость, остается живым божественное сверхличное, которое есть основа и первоисточник нашего бытия, — остается живым и способно отзываться на сияющее проявление того же первоисточника в теоцентрическом святом. «Ветхий человек в кожаных одеждах» встречается с обновленным человеком, который смог сбросить панцирь из тридцати или сорока воловьих шкур и идет по миру — нагая душа, переставшая быть непрозрачной для света, который внутри нее. Из этой встречи ветхий человек, наверно, выйдет с глубоким впечатлением от странности увиденного и с ностальгическим чувством, что мир был бы лучшим местом, будь в нем поменьше кожи. Вновь и вновь по ходу истории встречи с нагим и прозрачным духом — даже чтение о таких духах — отвращали кожаных людей, правящих братьями, от злоупотребления своей властью. Именно уважением к теоцентрическим святым объясняется то странное лицемерие, с помощью которого пытаются завуалировать жестокую суть политических акций. Преамбулы договоров составляются в утонченнейшем фарисейском вкусе, и, чем более зловец замысел политика, тем благороднее, как правило, и возвышеннее его язык. Ханжество всегда тошнотворно; но прежде чем осуждать политическое лицемерие, вспомним, что это — дань, которую кожаные

люди платят Божьим людям, и что, изображая кого-то лучшего, чем он сам, человек и впрямь бывает вынужден избрать образ действий, заметно менее порочный, чем тот, что был бы нормален и естествен для откровенного циника.

Теоцентрический святой производит впечатление не только тем, *что* он есть, но и тем, что он делает и говорит. Его действия и взаимоотношения с миром отмечены бескорыстием и безмятежностью, неизменной правдивостью и полным отсутствием страха. Эти качества — производные доктрины, которую он исповедует, и проявления их в его жизни неимоверно подкрепляют эту доктрину и наделяют его не принудительной — но оттого не менее прочной — властью над собратьями. Суть этой власти в том, что она — чисто духовная и моральная и не нуждается ни в каких обычных социальных подпорках в виде полномочий, общественного положения или богатства. Именно тут, разумеется, и совершил отец Жозеф свою самую серьезную, роковую ошибку. Если бы даже его мистицизм оказался совместимым с его государственной политикой (каковым он не оказался), отец Жозеф все равно совершил бы ошибку, став помощником Ришелье, ибо, заняв это положение, он автоматически лишил себя возможности осуществлять истинно духовную власть, отрезал себе путь к тому, чтобы стать апостолом мистицизма.

Правда, он еще мог быть полезен своим кальварианкам как учитель созерцания — но лишь потому, что входил в их монастырь не как министр иностранных дел Франции, а просто как духовный руководитель. Вне монастыря он всегда оставался Серым Преосвященством. Разговаривая с ним, люди не могли не помнить, что он — человек, с которым связаны большие надежды и страхи; между ними и этим монахом, который стал политиком, уже не могло быть прямого контакта, контакта души с обнаженной душой. Для них его власть была мирской, не духовной. Кро-

ме того, они помнили, что этот человек организовал секретную службу, инструктировал шпионов, перехитрил императора в Регенсбурге, изо всех сил старался продлить войну, — и, помня об этом, естественно, могли усомниться в качестве его религии. Дерево познается по его плодам, и если *таковы* плоды созерцательной молитвы и жизни в единении с Богом, — тогда с какой стати этим людям отказываться от вина и женщин, тем более, что раз в неделю им облегчит душу церковь, раз в квартал — исповедь, а на Рождество и Пасху — причастие.

Индийцы считают погибелью для члена одной касты взять на себя функции, принадлежащие другой. Так, если купцы вторгаются на территорию кшатриев и становятся правителями, общество поражают все болезни капитализма; а когда кшатрии делают то, что имеет право делать только теоцентрический брамин, когда они берутся устанавливать закон в духовной области, тогда является тоталитаризм с его идолопоклонством, с обоже-ствлением нации, партии, местного политического начальника. Не менее губительные последствия возникают тогда, когда брамины берутся за политику или бизнес, ибо тогда они теряют свою духовную зоркость и власть, и общество, которое они призваны просвещать, остается в полной темноте, лишенное всякой связи с божественной реальностью, а потому становится легкой добычей проповедников ложных доктрин. Отец Жозеф — яркий пример этого последнего вида смешения каст. Отказавшись от провидчества ради правления, он постепенно, вопреки всем своим усилиям, утратил мистическое видение, которое придавало ему духовный авторитет, — но, к сожалению, не раньше, чем поддержал этим авторитетом множество акций самого сомнительного свойства. (Ришелье был хороший психолог — мы помним, что затевая «мошенничество, он всякий раз использует благочестивых людей».) В очень короткое время отец Жозеф растерял остатки духовного авторитета,

и, как уже было сказано, общество стало взирать на него с ужасом, видя в нем человека, способного на любое предательство и преступление.

Иезуиты, ориентированные на политику, практиковали то же губительное смешение каст и приобрели такую же плохую репутацию, как отец Жозеф. Люди ошибались, принимая этих монахов, в общем добродетельных и движимых благими побуждениями, за сказочных чудовищ; но, осуждая основные принципы их работы в миру, они были глубоко правы. Дело провидца — видеть; а если он занят деятельностью, затмевающей Бога, из-за чего видеть становится невозможно, то он не оправдывает доверия, которым его молчаливо облекли ближние. Мистиков и теоцентриков отнюдь не всегда обожают и не обязательно слушают. Предвзятость современников, неприязнь к необычному могут сделать невидимыми добродетели этих маргинальных мужчин и женщин, могут родить ненависть к ним как к врагам общества. Но если они покинут свою периферию, станут бороться за место и власть внутри общественного тела, они непременно вызовут всеобщую ненависть и будут презираемы за измену своему провидческому призванию.

Быть провидцем и быть зрителем — не одно и то же. Когда созерцатель подготовил себя к тому, чтобы стать, по выражению Лаллемана, «человеком многой молитвы», он займется мирским трудом без риска отвлечься от созерцания реальности и с надеждой принести ощутимую пользу. История свидетельствует, что деятельность многих великих теоцентриков была необычайно активной и благотворной.

Работа теоцентриков всегда маргинальна, размах ее вначале крайне мал, а когда она разворачивается, организация, получившаяся в результате, непременно подразделяется на ячейки, достаточно малые для того, чтобы внутри них сохранялась общность духовного опыта, единообразие этического и рационального поведения.

Первая задача теоцентриков заключается в том, чтобы каждый желающий имел возможность разделить их переживание высшей реальности. Группы, организуемые ими, создаются в первую очередь для богослужения ради самого Бога. Назначение их — распространять разные методы (не всегда равноценные) преобразования «естественного человека», учить распознаванию сверхличной реальности внутри кожного чехла самости. Многие теоцентрики готовы этим ограничиться. У них есть опыт переживания реальности и они передают его ближайшим ученикам или извещают о нем в книге, которую прочтет более широкий круг людей, разделенных большими расстояниями в пространстве и во времени. Или же, действуя более систематически, они собирают маленькие группы, учреждают самовоспроизводящийся орган созерцателей, живущих по уставу. Постольку, поскольку можно ожидать, что они в состоянии поддерживать или даже увеличивать число теоцентриков и провидцев в данном сообществе, эта деятельность имеет определенное социальное значение. Но многие теоцентрики этим не довольствуются, а начинают использовать свои организации для прямого наступления на самые тернистые участки общественной жизни. Наступление ведется с периферии, а не из центра, и всегда (по крайней мере, на начальных стадиях) с санкции чисто духовных авторитетов, а не государственной власти. Иногда это — наступление на экономические пороки общества, как в случае бенедиктинцев, взявшихся возрождать сельское хозяйство и осушать болота. Иногда атакуемое социальное зло — неграмотность, и борются с ним разными средствами просвещения. Бенедиктинцы и здесь были пролагателями путей. (Стоит заметить, что рождением своим бенедиктинский орден обязан причуде одного молодого человека: вместо того, чтобы поступить разумно, как все, — поучиться в римских школах и стать администратором у готских императоров, — он удалился в холмы и три года прожил в пещере. Став «человеком многих мо-

литвы», он вернулся, основал монастыри и составил устав, приспособленный для нужд долговечного ордена трудолюбивых созерцателей. В последующие века орден цивилизовал всю северо-западную Европу, ввел или возродил самые лучшие агротехнические приемы того времени, обеспечил единственные доступные тогда средства образования, сохранил и популяризировал сокровища древней литературы. Для многих поколений бенедиктинство было главным противоядием против варварства. Европа в неоплатном долгу перед молодым человеком, который покинул Рим ради норы в холмах над Субиако потому, что больше желал познать Бога, нежели преуспевать в мире или даже «творить в нем добро».)

Работу в области образования вели многие теоцентрические организации, помимо ордена бенедиктинцев, — но слишком часто, к сожалению, в жестких рамках политизированной, поддерживаемой государством и поддерживающей государство Церкви. Позже функцию всеобщего обучения государство взяло на себя — и эта роль подвергает правительства особому искушению, перед которым, в конечном счете, ни одно из них не могло устоять. В этом мы убеждаемся сегодня, когда школьная система почти во всех странах используется как инструмент регламентации, милитаризации и националистической пропаганды. В государстве, проводящем политику добра, а не державную политику, образование оставалось бы общественной заботой, оплачивалось бы из налогов, но было бы возвращено на определенных условиях в частные руки. При таком устройстве школы вряд ли сильно улучшились бы по сравнению с нынешними; но, во всяком случае, их изъяны стали бы разнообразными, а перед особенно оригинальными учителями и теми, кто наделен провидческим даром, открылись бы возможности, в которых им ныне отказано.

Еще одна область, где с большой пользой потрудились эти маргинальные люди, — филантропия. Можно

вспомнить совершенно поразительную работу, проделанную современником отца Жозефа святым Венсаном де Полем, великим теоцентриком XVII века и благодетелем французского народа. Скромная и незначительная вначале, но постепенно увеличивавшаяся в объеме, проводимая исключительно под духовным контролем и на периферии общества, работа Венсана среди бедных в какой-то степени умеряла страдания, причиняемые войной и обслуживающей войну разорительной фискальной политикой. Имея в своем распоряжении все ресурсы и силы государства, Ришелье и отец Жозеф, причиняли, разумеется, гораздо больше вреда, чем мог принести пользы св. Венсан и его маленький отряд теоцентриков. Противоядия хватало лишь на то, чтобы нейтрализовать небольшую часть яда.

Так же обстояло дело с другим великим человеком XVII века, Джорджем Фоксом. Родившийся в то самое время, когда Ришелье возглавил государственный совет, а отец Жозеф окончательно отдал себя политике, Фокс начал свое служение за год до Вестфальского мира. За последующие двадцать лет Общество друзей постепенно приобрело законченную форму. Убежденный маргинал — будучи приглашен Кромвелем, он отказался даже есть за его столом, чтобы себя не скомпрометировать, — Фокс до конца оставался апостолом внутреннего света, и успех не развратил его. Основанное им общество переживало подъемы и спады, времена духовного застоя и спячки и периоды духовного оживления; но всегда квакеры придерживались непреклонного фоксовского теоцентризма и наряду с этим — его убеждения, что если добро должно оставаться чистым и беспримесным, творить его надо на периферии общества — отдельным людям и достаточно маленьким организациям, способным вести нравственную, рациональную и духовную жизнь. Вот почему объем полезной и благотворительной работы, выполненной Обществом друзей за двести семьдесят пять лет его су-

ществования, несоизмеримо велик по сравнению с его численностью. И здесь противоядия хватало лишь на то, чтобы нейтрализовать малую часть токсинов, выработанных в политическом теле государственными деятелями, финансистами, промышленниками, церковниками и неприметными миллионами в низу общества. Но хотя закваска теоцентризма способна противодействовать яду лишь частично, до сих пор именно она спасала цивилизованный мир от полного саморазрушения. Надежда отца Жозефа привести всю нацию напрямик к Царствию Небесному на земле иллюзорна, покуда человеческие инструменты и материал политической деятельности остаются непреобразованными. Место ему было среди тех, кто готовит противоядие, а не тех, кто варит отраву.

Глава 11

Финал

В мае 1638 года отца Жозефа разбил удар, и какое-то время он пролежал частично парализованный и с отнявшимся языком. Однако покой скоро восстановил его здоровье — ненадежное здоровье пожилого человека, жившего в постоянном напряжении, под гнетом ответственности и непомерных трудов. Летом он вернулся к работе министра; но понимая, что конец близок, переложил большую ее часть на других, чтобы высвободить себе время для «хорошего сообщества». В последние месяцы жизни он часто бывал у своих духовных дочерей, кальварианок, в их монастыре в Маре. Он трудился там не покладая рук: проповедовал, читал лекции на религиозные и философские темы, давал духовные советы тем, кто в них нуждался. В это время он любил повторять, что «ему важнее духовная помощь последней кальварианке, нежели все царства земные». Можно только пожалеть, что он не всегда так думал.

В последний год жизни отца Жозефа дела у французских армий шли не блестяще. Конде потерпел бесславную неудачу в северной Испании. В Италии французским и савойским войскам пришлось отступить перед испанцами. Наступление в Нидерландах захлебнулось. Хорошие новости приходили только из Эльзаса. В этой голодной и наполовину вымершей провинции Бернгард Саксен-Вей-

марский, разбив одну за другой армии Де Веерта, Гетца и Карла Лотарингского, теперь, осенью 1638 года, осадил Брейзах — крепость, господствовавшую над испанскими коммуникациями между Италией и Нидерландами. Разъезжая между монастырем в Маре, Рюэлем и Кардинальским дворцом, отец Жозеф следил за перипетиями далекой кампании с тревожным интересом, который, вопреки всем рассуждениям о «царствах земных», нисколько не уступал его заботе о совершенстве монахинь. Несмотря на удар и близость смерти, он оставался министром иностранных дел, официальным преемником Ришелье и — вместе с кардиналом — творцом той политики, за которую Бернгард и его свирепые авантюристы сражались под Брейзахом.

В субботу 11 декабря отец Жозеф перебрался из кельи, служившей ему кабинетом, в келью монастыря в Маре, отведенную ему как духовному наставнику кальварианок. За три дня он хотел прочесть три больших лекции о том упрощенном варианте духовных упражнений Бенета Фитча, который преподавался кальварианкам. Субботняя и воскресная лекции прошли благополучно и не слишком его утомили. Но посреди третьей лекции, начавшейся в шесть утра в понедельник, 13 декабря, отца Жозефа остановил внезапный приступ рвоты. Он ненадолго уединился, но не позволил монахиням разойтись, и когда приступ прошел, возобновил беседу, продлившуюся в общей сложности два с половиной часа. Он чувствовал страшную слабость, и ему все время казалось, что его голос не доходит до задних рядов. Он то и дело останавливался и спрашивал, всем ли слышно. Монахини отвечали, что всем, и отвечали правду — преодолевая свою слабость чудовищным усилием воли, он говорил громче обычного.

Закончив лекцию, отец Жозеф ушел к себе и остаток дня провел в молитве, прервавшись только для встречи со священником — монастырским духовником. Чувствуя, что конец близок, он исповедался за всю жизнь.

Вечером он вышел из кельи и побеседовал с аббатиссой и старшими монахинями, ее помощницами. Речь зашла о любимом некогда предмете отца Жозефа — крестовых походах. Одна из монахинь сказала, что Святую землю освободят очень скоро: ведь отцу Жозефа это было обещано в откровении. Монах ответил, что она ошибается. Ему никогда не было откровения о скором освобождении Святой земли. Единственное, что он получил в видениях и восхищениях, — это божественное указание «сделать все, что я могу, для вызволения Иисуса из плена».

На следующее утро в семь часов отец Жозеф отслужил мессу в монастырской часовне, а потом имел последнюю беседу с аббатиссой и ее помощницами. Он говорил с ними об их обязанностях и о том духовном совершенстве, о том постоянном единении с Богом, достижению которого они посвятили свою жизнь. Когда он стал уходить, слова прощания с обеих сторон произносились с особой торжественностью, с необыденным волнением.

Из Маре отец Жозеф отправился в Рюэль, где у него была назначена встреча с кардиналом. Он говорил с кардиналом и в этот вечер, и на следующий день. В четверг, 16 декабря, он встал, как обычно, до рассвета и после молитв и медитаций приступил к текущим делам. Только что пришло большое письмо от капуцинских миссионеров в Абиссинии. Отец Жозеф выслушал его с живейшим интересом и сразу же продиктовал ответ. В десять он вышел из своей комнаты, отслужил мессу и, побеседовав с несколькими людьми, уселся обедать. Он поел с аппетитом и чувствовал себя явно лучше, чем в предыдущие дни. После обеда к нему явился папский нунций, кардинал Бики, с которым отец Жозеф долго говорил о вопросах церковной политики — возможно, и об обещанной ему красной шапке, обещанной до того твердо, что известие о его назначении ожидалось со дня на день. По окончании беседы, отец Жозеф церемонно проводил

нунция до парадного входа. На обратном пути он прошел через большой зал, который готовили к вечернему спектаклю. Здесь он наткнулся на Ришелье, вышедшего из своих покоев проверить, как подвигаются работы. Кардинал был в хорошем настроении и в шутку пригласил старого друга на вечернее представление, уверяя, что тут нет греха: пьеса написана на серьезнейшую тему и в высшей степени назидательна. В том же ключе отец Жозеф ответил, что он, к сожалению, уже обещал «заняться декламацией с молитвословом», и, распрощавшись с кардиналом, ушел к себе. Он прочел часы, какое-то время провел в молитве, затем сел ужинать. За ужином его секретарь, отец Анжелюс де Мортань, читал ему из хроники крестовых походов.

Эти странные рассказы о героизме и жестокости, о набожности и алчности, о простодушии и самом циничном лицемерии оказались последним, что донеслось к отцу Жозефу из мира политики. Когда он встал из-за стола, его разбил новый удар. Потерявшего речь и почти полностью парализованного, его уложили на кровать. Слуги побежали за священником и врачами кардинала.

На сцене большого зала актеры декламировали александрийские стихи, обращаясь к темноте, где сидели кардинал и его придворные. Внезапно по залу прошел легкий шелест: начальник караула вел монаха, имевшего неотложное сообщение для его преосвященства. Ришелье сердито нахмурился и хотел было шикнуть на непрошенных пришельцев; но услышав, что шепчет монах, чуть не вскрикнул от боли и вскочил с места. Актеры смолкли на полуслове. Не успев закрыть рот, они стояли перед вдруг озарившимся огнями залом и смотрели, как сквозь строй почтительно кланяющихся и приседающих зрителей из зала стремительно уходит кардинал.

Убитый новостью, Ришелье поднялся в комнату монаха и, сев рядом с узкой кроватью, взял его за руку — безжизненная рука больного не ответила на пожатие. «Моп

арруи, — думал кардинал, — ou est mon arroui?» Пришли врачи, отворили больному кровь. Затем настала очередь священника. Все преклонили колени; отца Жозефа соборовали.

Отец Жозеф пережил ночь, и утром его состояние слегка улучшилось. Известие о втором ударе пришло в Париж — благоразумный секретарь немедленно составил и подал королю на подпись письмо папе, сообщавшее Его Святейшеству о печальном событии и просившее не назначать отца Жозефа кардиналом. Его Христианнейшее Величество мог ходатайствовать лишь об ограниченном числе назначений в Священную коллегия; поэтому шапка, неосторожно дарованная умирающему, обернулась бы для французской монархии чистым убытком.

А из капуцинского монастыря на улице Сент-Оноре в Рюэль примчались три собрата отца Жозефу по ордену: Паскаль д'Аббевиль, блюститель монастыря, парижский провинциал капуцинов и сам генерал ордена — итальянец, оказавшийся в этот момент во Франции. Их провели в комнату монаха, и генерал спросил по-итальянски: «Ты узнаешь меня?» В знак утвердительного ответа отец Жозеф сумел пожать ему руку. Генерал сказал, что, согласно правилам ордена, получить полное отпущение грехов можно лишь изъявив свое раскаяние. Огромным усилием воли отец Жозеф приподнял правую руку и несколько раз слабо постучал себя в грудь. Затем, после долгой передышки, осенил себя крестом. Его глаза наполнились слезами. Отпущение было дано. Генерал и провинциал уехали, отец Паскаль остался с умирающим до самого конца.

Позже явился еще более высокопоставленный и совершенно неожиданный гость — ни много ни мало, сам Гастон Орлеанский. За последние пятнадцать лет Гастон регулярно возглавлял и предавал заговоры против короля, и в нескольких подобных случаях отец Жозеф выступал в роли посредника между королем и его ничтожным

младшим братом. В результате этих встреч Гастон стал питать к монаху большую симпатию и глубокое уважение. За его визитом к умирающему стояло искреннее чувство.

Вечером пришел священник, четырьмя днями ранее в Маре принявший у отца Жозефа общую исповедь. Присев у постели, он сказал своему исповеднику, что для него настало время отложить все попечения о тварном и обратиться помыслы к Богу — к Богу, перед которым ему так скоро придется дать отчет во всех своих делах. Когда священник заговорил о раскаянии, у монаха на глазах снова выступили слезы, и внезапно, к изумлению врачей, подумавших даже, что больной пошел на поправку, он обрел голос. «Дать отчет», — прошептал он, повторяя слова своего духовника.

«Да, — ответил тот, — тебе придется дать отчет, ибо Бог — твой судия и взвесит тебя на весах».

Плача, отец Жозеф повторял все те же два слова. «Дать отчет, — твердил он, — дать отчет».

Решив, что теперь смогут спасти пациента, врачи удвоили старания. Ему отворили жилы, выпустили много крови; но это привело совсем не к тому, на что рассчитывали врачи. Подвижность конечностей, начавшая было восстанавливаться в течение дня, ночью снова стала исчезать.

Отец Анжелюс, которого еще юношей привел в Церковь отец Жозеф и который почти двадцать лет был его неизменным спутником, встал на колени около кровати и терпеливо, как учат детей, помогал умирающему сделать несколько последних, слабых покаянных жестов, слабых знаков любви к Богу и надежды на божественное милосердие. Он вложил в руки отцу Жозефу распятие — и тот два раза сумел поднести его к губам. Несмотря на быстро распространявшийся паралич, речь еще сохранялась — ровно настолько, чтобы он мог повторять все те же слова: «Дать отчет, дать отчет».

К полуночи руки уже не удерживали распятие. Увидев, что конец совсем близок, отец Анжелюс попросил друга дать ему благословение. Какое-то время коченеющее тело оставалось недвижно; затем палец правой руки медленно приподнялся над простыней — через несколько секунд опустился и больше уже не шевелился. Предсмертная агония продолжалась всю ночь, и сердце перестало биться лишь ранним утром субботы, 18 декабря.

В промежутке между смертью монаха и его похоронами Шарля де Кондрена, преемника Берюлля на посту генерала Оратории и одного из самых прекрасных религиозных персонажей эпохи, спросили, не согласится ли он сказать надгробное слово. Высокой особе, передавшей предложение, Кондрен ответил, что совесть не позволяет ему хвалить человека, который служил орудием страстей Ришелье и которого ненавидит вся Франция.

Тело отца Жозефа было захоронено в церкви капуцинов, у ступеней алтаря — рядом с могилой великого дворянина-монаха, принявшего его в орден, — Анжа де Жуайеза. Через несколько дней весь Париж хохотал над проделкой анонимного шутника. На плите, покрывшей останки человека, которого его посмертный сосед назвал когда-то «совершенным капуцином», неведомая рука мелом вывела двестише:

Passant, n'est-ce pas chose etrange
Qu'un demon soit pres d'un ange?*

Написать на человека эпиграмму всегда проще, чем понять его.

* Прохожий, не странно ли, что бес покоится рядом с ангелом? (франц.) Анж (имя Жуайеза) по-французски значит «ангел».

Приложение

Посмертная судьба отца Жозефа до того невероятна, что ей стоило бы посвятить отдельное исследование. В первые десять лет после его смерти длинную и подробную биографию Серого кардинала написал некий Лепре-Бален — друг отца Анжелюса де Мортаня, имевший доступ ко всем необходимым документам в архиве капуцинов и ко всему собранию государственных бумаг отца Жозефа. Из последних он составил сборник под названием «Дополнение к истории Франции». По неизвестной причине и биография, и «Дополнение» так и не были изданы. Рукопись первой хранилась в архиве кальварианок, откуда перешла во владение парижских капуцинов. Рукопись второго пропала на двести пятьдесят лет, и только около 1890 года ее обнаружил Гюстав Фаньез в библиотеке Британского музея. Как она попала в Англию, неясно; достоверные сведения о её судьбе относятся уже к началу девятнадцатого века, когда из собрания графа Бриджуотера она перешла в руки Тома Мура.

К тому времени единственными изданными биографиями отца Жозефа были три книжки, выпущенные в начале восемнадцатого века удивительным персонажем — аббатом Ришаром. Священник без прихода, стра-

давший от острого безденежья, Ришар присмотрел себе должность каноника при соборе Парижской Богоматери. Распоряжался этой должностью некий г-н дю Трамбле, приходившийся внуком младшему брату отца Жозефа, Шарлю. Чтобы к нему подольститься, Ришар взялся за составление панегирической биографии его двоюродного деда. Получив доступ к рукописи «Жизнеописания» Лепре-Балена, он быстро сочинил небольшую биографию — в рамках своего жанра довольно точную. Ее издали, и аббат ожидал вознаграждения. Оно не явилось. Взбешенный Ришар решил отомстить. В текст хвалебной биографии он вставил ряд новых пассажей, в которых отец Жозеф обвинялся во всевозможных преступлениях — от убийств до симонии. Новый вариант вышел анонимно под притягательным названием «Le Veritable Pere Joseph»*. Незачем говорить, что «подлинный» отец Жозеф расходился намного лучше, чем отец Жозеф tout court**. Но выплаты книготорговцев были смехотворно малы по сравнению с лакомым доходом каноника. Аббата озарила гениальная идея. Он снова схватил перо и настрочил страстное опровержение собственной клеветы. Опровержение было издано, вызвало у публики определенный интерес, но семейство дю Трамбле осталось равнодушно и на этот раз. Преподобный Ришар скончался в нищете.

Более полутора веков историки ограничивались тем, что складывали лесть, клевету и опровержение Ришара и полученную сумму делили на три. Итоговое частное считалось истинным изображением отца Жозефа.

В середине девятнадцатого века отцом Жозефом заинтересовался г-н Пеллетье, эрудированный архивариус. Он много лет собирал материалы к новой и правдивой би-

* Подлинный отец Жозеф (франц.)

** Попросту (франц.)

ографии. Гигантская предварительная работа была практически завершена, когда Наполеон III начал войну с Пруссией. В 1871 году, во время Парижской коммуны, здание, где г-н Пеллетье хранил груды своих записей, сгорело дотла. Казалось уже, что какая-то высшая сила не хочет, чтобы мир узнал об отце Жозефе.

Это впечатление, нужно признаться, не рассеялось даже в 1894 году, когда Гюстав Фаньез издал свой огромный труд «Le Pere Joseph et Richelieu»*. Хотя Фаньез провел обширные изыскания, хотя ему посчастливилось обнаружить «Дополнение» Лепре-Балена, его книга отнюдь не проясняет дело. На свой предмет она проливает не свет, а «зримый мрак». «Le Pere Joseph et Richelieu» — это тысяча двести страниц самых разных исторических документов, хаотично расположенных и не снабженных указателями. Это не биография (Фаньез занимался политической историей и вряд ли даже думал об отце Жозефе как о живом человеке); это собрание сырых материалов к биографии, и в этом качестве книга, увы, составляет обязательное чтение для всякого, кто интересуется Серым кардиналом.

Когда Фаньез издал свою книгу, молодой ученый клирик, аббат (впоследствии каноник) Дедувр только начал свои — оказавшиеся пожизненными — занятия отцом Жозефом. Дедувр (он умер около 1929 года) преподавал латынь в католическом университете на западе Франции. Эту должность он совмещал с обязанностями раздатчика милостыни при Конгрегации кальварианок, в архивах которой хранились неизданные рукописи ее основателя — всевозможные документы общим объемом в три или четыре миллиона слов. С 1638 года до наших дней на них даже краешком глаза не взглянул ни один ученый — за исключением Дедувра.

* Отец Жозеф и Ришелье (франц.)

Отношения между двумя исследователями отца Жозефа сердечными не назовешь. Фаньез полагал, что ему должна принадлежать абсолютная монополия на серых кардиналов. Чувство собственника было таким острым, что в течение многих лет он скрывал местонахождение драгоценного «Дополнения» Лепре-Балена, на которое случайно наткнулся в Британском музее. Сливки с Лепре-Балена он уже снял в книге «Le Pere Joseph et Richelieu»; но он поклялся, что другим историкам оттуда не достанется ни капли даже молока. На все запросы он отвечал категорическим отказом. Легко вообразить его ярость, когда молодой Дедувр самостоятельно отыскал «Дополнение» и сообщил об этом всему ученому миру! Через несколько лет аббат нанес новую обиду. Фаньез утверждал, что «Туркиада» безвозвратно утеряна. Дедувр методом чисто рациональной индукции пришел к выводу, что поэма цела и хранится в Библиотеке Барберини в Риме. На открытку с запросом библиотекарь ответил, что поэма действительно там. Подчиняясь научному этикету, Фаньез поздравил соперника с триумфом; но его истинные чувства излились в свирепой рецензии на очередную статью аббата.

До сих пор вся история словно вышла из-под пера Бальзака — автора «Турского священника». Но теперь начинается чистейший Анатолий Франс. Аббат занимался отцом Жозефом около сорока лет и за эти годы напечатал целых двадцать статей и монографий о своем герое. Но статьи эти публиковались в приходских журналах и провинциальных католических «Записках»; монографии выходили тиражом в двести-триста экземпляров у сельских печатников в захолустных субпрефектурах. Ко дню смерти автора из двадцати публикаций лишь четыре попали в Национальную Библиотеку. Наверно, даже лорд Актон — менее яркий пример учености не ради читательской пользы, а ради самой учености.

В конце жизни каноник Дедувр решил переработать свои записи и статьи в полноценную биографию отца Жозефа. Вряд ли нужно говорить, что он умер задолго до завершения труда. Если бы мы писали роман, то здесь бы и надо было его закончить — изящным кратким эпилогом, в котором описывалось бы постепенное изничтожение многолетних трудов покойного ученого: клочками детских лет отца Жозефа мыши выстилают себе норы; духовные наставления кальварианкам пошли на туалетную бумагу; в Регенсбургский сейм торговец требухой заворачивает свой товар. И так далее. Но история редко обладает законченностью вымысла. В 1932 году два тома, которые Дедувр успел дописать, вышли в свет. Биография отца Жозефа, очень подробная, в них доведена до осады Ла-Рошели. Но силы, так долго следившие за непроглядностью мрака вокруг имени капуцина, позаботились о том, чтобы даже и это, неполное, снятие покровов просветило минимальное число читателей. Подобно монографиям и статьям Дедувра, его незаконченная книга вышла в провинции и очень маленьким тиражом. Даже среди профессиональных историков мало кто ее читал или хотя бы о ней слышал. Однако эту книгу стоит прочесть; пусть ее и не назовешь великой биографией, ей удастся создать у читателя представление о ее загадочном герое. Чего никак не скажешь о «Le Pere Joseph et Richelieu» Фаньеза.

В основу настоящей книги положены, в первую очередь, две тысячи страниц Фаньеза и Дедувра. Многие подробности были опущены как лишние самостоятельного интереса и, главное, не связанные с центральной темой книги — с историей человека, пытавшегося примирить политику и мистическую религию. Так, я ничего не сказал об отношениях отца Жозефа с радикальными галликанцами того времени; о его столкновении с Сен-Сираном — поразительным, трогательным, нелепым лжесвятым Пор-

Рояля; о его борьбе с предшественниками квиетистов, иллюминатами. Точно так же я считал излишним распространяться о сохранившихся в документах деталях переговоров и депеш отца Жозефа. Сами по себе эти протоколы дипломатического торга и крючкотворства интересны не больше, чем стенографическая запись спора двух крестьян о достоинствах и цене запаленной лошади. Единственное их историческое значение — это их результат и катастрофические последствия.

В вопросах религиозной истории того времени я опирался на первые пять томов «*Histoire du sentiment religieux en France*»* Бремона. Эта книга — одновременно и историческое повествование, и критический комментарий, и собранная из практически недоступных источников антология — входит в число ценнейших гуманитарных работ нашего века. Если человеку интересна психология людей, какие они есть и какими могли бы стать, если бы захотели, то несколько томов Бремона послужат ему незаменимым первоисточником. Столь же незаменимы они для тех, кому интересен менее обширный предмет — Франция семнадцатого века.

Лишь немногие из существенных религиозных сочинений нашего периода были переизданы, а ранние издания большинства из них трудно найти даже в лучших библиотеках. Я считаю большой удачей, что мне попал в руки вышедший в семнадцатом веке итальянский перевод «Правил совершенства» Бенета Фитча. Крайне интересная сама по себе, эта книга имеет и огромное историческое значение; поскольку именно из нее, как я попытался показать, Берюль и его последователи вывели принципы своего персоналистского псевдо-мистицизма, а отец Жозеф научился той технике «активного уничтожения», посредством которой рассчитывал обезвредить свою политику.

* История религиозного чувства во Франции (франц.)

Наша книга не претендует на сколько-нибудь подробное изображение политических и социальных условий, в которых проходила жизнь отца Жозефа. Исторические события и обстоятельства описывались максимально кратко и лишь постольку, поскольку они имели прямое отношение к главной теме.

В заключение я хотел бы выразить признательность за неоценимую помощь, оказанную мне директором и сотрудниками библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Оглавление

5	<i>Олдос Хаксли. Эссе И. Берлина</i>
19	Глава 1. По дороге в Рим
32	Глава 2. Детство и юность
69	Глава 3. Религиозный фон
109	Глава 4. Проповедник
124	Глава 5. На подступах к политике
158	Глава 6. Сотрудники
175	Глава 7. Ла-Рошель
195	Глава 8. Сейм в Регенсбурге
227	Глава 9. Нет ничего опаснее успеха
269	Глава 10. Политика и религия
300	Глава 11. Финал
307	<i>Приложение</i>

Олдос Хаксли
СЕРОЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО
ЭТЮД О РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКЕ

Серия «Культура политика философия»

Художественное оформление серии *Ф. Домогацкого*

Ответственный за выпуск *О. Разуменко*

Редактор *Г. Амелин*

Техническое редактирование
и компьютерная верстка *О. Козак*

ЛР № 00972 от 14.02.2000 г.
Подписано в печать 17.07.2000. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.
Печ. л. 10. Тираж 3000 экз. Заказ № 330.

Московская школа политических исследований.
121854, ГСП-2, Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22.
e-mail: msps@co.ru
<http://www.msps.ru>

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 6
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
109088, Москва, Южнопортовая ул., 24



Вышли в свет:

Эрнест Геллнер.

Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники

Диана Пинто.

Меж двух миров. Европейская культура и американская демократия

Роберт Патнэм.

Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии

Пьер Розанваллон.

Новый социальный вопрос. Переосмысливая государство всеобщего благосостояния

Яцек Ростовский.

Макроэкономическая нестабильность в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы

Альваро Хиль-Роблес.

Парламентский контроль за администрацией (институт омбудсмана)

Карло Жан, Паоло Савона.

Геоэкономика. Господство экономического пространства

Алексей Салмин.

Современная демократия

Ричард Нойштадт.

Президентская власть и нынешние президенты

Франсуа Фюре.

Прошлое одной иллюзии

Сергей Васильев.

Экономика и власть. Статьи, выступления, интервью

Ральф Дарендорф.

Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции в Европе

Олоф Петерсон.

Шведская система правления и политика

Роберт Скидельски.

Дорога от рабства. Об экономических и политических последствиях краха коммунизма

Ричард Нойштадт, Эрнест Мэн.

Современные размышления. О пользе истории для тех, кто принимает решения

Владимир Мау.

Экономическая реформа: сквозь призму конституции и политики

Гарольд Дж. Берман.

Вера и закон: примирение права и религии

Гуннар Веттерберг.

Новое общество. О возможностях общественного сектора

Владимир Рыжков.

Четвертая республика. Очерк политической истории современной России

Ричард Пайпс.

Собственность и свобода

Кристофер Коукер.

Сумерки Запада

Готовятся к изданию:

Юрий Левада.

От мнений к пониманию

Михаэль Мертес.

Немецкие вопросы — европейские ответы

Юрий Сенокосов.

Власть как проблема

Серия “*Культура Политика Философия*”

В 2000 году Московская школа политических исследований начинает издание новой серии книг. В течение года в этой серии выйдут в свет:

Мераб Мамардашвили.

Эстетика мышления

Олдос Хаксли.

Серое Преосвященство: этюд о религии и политике

Семен Франк.

Культура и политика

Мераб Мамардашвили.

Современная философия. XX век

Жан Монне.

Мемуары

ISBN 5-93895-004-X



9 785938 950047 >

Дополнительную информацию
можно получить:
121854, ГСП-2, Москва,
Большая Никитская ул., 44-2, комн. 22
e-mail: mmps@co.ru
[http: //www.mmps.ru](http://www.mmps.ru)
tel.: (095) 924-90-92